

ISSN 0132-0637

1
Октябрь

1999

Октябрь

1 1999

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

1

1999

ЯНВАРЬ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Анатолий НАЙМАН.
Любовный интерес. Роман Фрагмент Романа 3
- Дмитрий ПОЛИЩУК.
Новые стихи 53
- Евгений ПОПОВ.
Три песни о перестройке. С прологом, эпилогом и
эпиграфом 56
- Олег ПАВЛОВ.
Эпилогия. Вольный рассказ 74
- Галерея*
- Чувство и речь.** К 80-летию Александра Володина.
Сергей ЮРСКИЙ. **Попытка монолога.* На шаре тес-**
неньком столпились мы... Беседа с А. Володиным. 87
- *Александр ВОЛОДИН. **Стихи разных лет** 87
- Загадки Альбиона.** Вступление и перевод с английского
Л. Володарской 107

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

- Юрий БУРТИН.
Три Ленина. Нэп в свете теории конвергенции. Окон- 127
чание

Александр ВЯЛЬЦЕВ. Русский формат в конце века	154
Северное измерение Петр АЛЕШКОВСКИЙ. Раз картошка, два картошка	160

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Борис ХАЗАНОВ. Дневник сочинителя	176
Мелочи жизни Павел БАСИНСКИЙ. Выйти из круга	189
В несколько строк Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ	191

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Инна БРЯНСКАЯ	<i>публицистика</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Василь Быков, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Анатолий Курчаткин, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Олег Павлов, Людмила Сараскина, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.
Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 1999. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

*Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России
и ряда стран СНГ 4346 экземпляров журнала.*

Технический редактор Т. С. Трошина.

Сдано в набор 27.11.98. Подписано к печати 23.12.98. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 9380 экз. Заказ № 3261. Цена 17 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Анатолий НАЙМАН

Любовный интерес

РОМАН ФРАГМЕНТ РОМАНА

Дело было в церкви, в паузе между «святая святым» и самим причастием. Перерыв для светского, хотя и воздержного, общения: «здравствуйте», троекратные лобызания, детей по головке потрепать. Время не скажете сколько? Костистый старик с палкой. Сейчас, говорю, очки надену, не больно-то светло.— Вам сколько лет, что очки? — Шестьдесят два.— А мне? — (Ему, вижу, что под восемьдесят, но чтобы не промахнуться и не обидеть:) — За семьдесят.— Девяносто четыре! Я с девятьсот третьего года! — Ваше как имя-отчество? — Александр Павлович.— (Приобнимаю:) — Молодец, Александр Павлович.— (Он расхныкивается:) — Ноги плохо ходят, весь день болят.— Александр Павлович, ну вы сами подумайте, где сейчас ноги почти всех, кто родился в девятьсот третьем! (Такое наглое утешение.)

Да, многое, соглашается, сейчас переменялось. Какая раньше дисциплина была и как о трудящихся заботились! Ладно, Бог с тобой, Александр Палыч. Через неделю, уже в деревне, где у меня домишко, рассказываю соседке для ее воодушевления — ей восемьдесят, и был легкий удар. Дисциплина, подтверждает, была и о трудящихся забота. Племянница с подружкой поймали, после войны уже, тетку нищую: подбирала упавшие после жатки колоски. Взмолилась: матушки, отпустите! Матушки, я вас не видела, вы меня не видели! Для детей ведь — как вы! И видно, что не на платье шелковое. А те — комсомолки, притащили в контору. Бригадир позвонил, пришел грузовик с милиционером, увезли бабу на десять годов. Племянница, сорок лет прошло, нет-нет а скажет: «Не из-за того ли у меня в жизни криво всё и косо?». Из-за того, отвечаю, очень даже из-за того.

Между тем тот Александр Павлович в церкви продолжает знакомство: — А, простите, вас как по имени-отчеству? — Анатолий Генрихович.— Вот как? Отчество не так чтобы частое. Но я знал одного Генриха; по работе; дело, правда, было в Ленинграде. Ваш отец с какого года? — Мой отец с девятьсот второго и всю жизнь прожил, действительно, в Ленинграде.— (Старик страшно вдохновляется:) — Это он. Я теперь вижу: его черты! Его портрет.

Зажигается паникадио, начинается причащение, он от меня уже не отходит, держит за рукав: «вылитый Генрих», «копия» и все прочее. После церкви отвожу его домой: «нет, уж зайдем, Толя». Квартира в сталинском доме, две комнаты, запустение, запах, что-то недоодеенное на столе, засохшее на клеенке, незастеленная кровать. Достал из шкафа альбом, полистал другой, третий, протягивает мне: «Не он?». Фотография метров с пяти: мужская компания, всем по двадцать пять — тридцать, лето, в одних рубашках, крепкие, худые, все улыбаются. Темноватая, но вроде он. У меня есть похожая, но на ней, кроме него, только двое, а здесь группа. А это я, показывает Александр Павлович.

И чего мне теперь с вами делать, Александр Павлович? Мне про то время неинтересно, а точнее сказать, я про то время не хочу знать больше, чем знаю. И про отца не хочу тоже — я еще не во всё, что про него знаю, вдумался, далеко не во всё. И вряд ли уже вдумуюсь. Это мы в Челябинске, говорит Александр Павлович, на строительстве Челябинского тракторного, это Петр, это Андрей, это Марк...

И что они?..

Как «что»?..

Ну не апостолы же от двенадцати и от семидесяти?..

Да ничего. Петр, Андрей, Марк, Генрих, твой отец. Я. Челябинск. Жили в общежитии, одной компанией, комната как раз на пятерых, работали помногу, без выходных. Что еще? Я, когда спал, храпел, и Петр, а Марк, посередине между нами, нет — просыпался, дергал одеяла. Генрих был приветливый, дружеский, не храпел, но и не обижался...

Толстовец, говорю, им нельзя. Вы знали, что он был толстовец?..

Откуда! Не шути, Толя...

Ничего он не знал. Помнил и до смерти будет помнить, кто Петр, кто Андрей, где кто спал. Была дисциплина, но было весело. Кино, баня, патефон. А может, и не так всё элементарно, не так по-пещерному было, но мне, во всяком случае, так удобнее, на вглядывание нет сил. На интерес к нему — нет сил. И если было у них, как было у меня, положим, с Амираном и Эрлом, и с Пранасом, когда мы тоже — правда, короткий срок — в общежитии жили, и в таком же, наверное, возрасте, и тоже одной компанией держались, то мне довольно того, что я знаю про Амирана, Эрлома, Пранаса, и опять, получается, мне Петр, Андрей, Марк ни к чему. Были у них застолья с чачей, с коньяком «Варцихе», с лавашем и сыром сулугуни? Если да, то ничего нового мы друг другу не скажем; если нет, то не о чем и говорить.

Этих застолий, самых беззаботных, самых по виду безоглядных — как и вообще той *радости жизни*, которой Амиран и Эрлом знали вкус и цену в такой мере, как мне и никому, кто не грузин, почувствовать и понять не удавалось, — непременным условием была серьезность. Серьезность, с какой наливали, проносили тост, шутили и пели, обеспечивала уровень этой радости, ту ее высоту и совершенство, из-за которых и ради которых ее можно сделать смыслом жизни. Эта серьезность была в достаточной степени намеренной, не вполне *серьезной*, зато и анекдоты, песни, хохот, бессмыслица оказывались не вовсе несерьезными. Когда меня мутило с похмелья, Эрлом, худой, в очках, с жирафьей грацией, выговаривал как диагноз, известный одному мудрому Кавказу: «У Анатолия — бчень — высокая культура — пития. Его организм — не отдаст — вина». Акцент, едва заметно встряхивая гнездо, в которое слово вляжалось, как яйцо, сдвигал слова относительно друг друга ровно настолько, чтобы русская речь постоянно была выразительна — даже когда говорились пустяки.

Они получали радость — свою, себе — от радости того, кому эту радость доставляли. Никогда не выказывали озабоченности или боли, как будто ничего такого у них нет вообще, не свойственно, но поступали так не для того, чтобы оградить себя — как те же американцы — от забот и скорбей других, а чтобы не уменьшить у других радости или хотя бы не прибавить печали. Пирами, чувством чести, манерами, иронией они учили почитать молодость как добродетель, независимую от возраста, как средневековую романскую *джовенс*, *джовинеццу*. Мы узнали друг друга в те полтора года, которые провели на Сценарных Курсах, в столичной праздности, ласкаемые весельем и безответственностью, занимаясь *кино*: просмотром и вариациями на его тему — приятным *ничем*. Я придумал сценарий «Такое хорошее лицо» — о внешнем обаянии: как оно на свой лад ориентирует мир, жизнь, повседневность. Придумал, даже не написал, ходил рассказывал — когда спрашивали, — как надо снимать. Амиран стал говорить про все, что попадалось на глаза — на его прекрасные, умные, улыбающиеся серые глаза: какое хорошее солнцо, какое хорошее улицо — и солнце, майское, и улица, Герцена, действительно, были в эту минуту хороши.

Пранас приехал из Вильнюса, полный, элегантный, похожий на Орсона Уэллса из «Третьего человека». В нем была витальность и тоже вкус к жизни, отменный вкус. Но то, что Амиран и Эрлом — сами еще не зная что — могли *получить*, только проживая свою судьбу, встречая каждый новый день как своего рода авантюру, для Пранаса было чем-то вроде неисчерпаемой, заготовленной

человечеством впрок казны, из которой каждый, при выполнении необходимых условий, мог воспользоваться тем или другим сокровищем. Содержимое ее сундуков было известно заранее, поскольку сведено в десять, в сто тысяч замечательных европейских книжек, большую часть которых он прочел, а остальные должен был прочесть в оставшееся время. Сокровища были совершенно те же, какие доставались и не читавшим, разница была, как между жарким, изготовленным из самолично зарезанной курицы и из купленной в магазине потрошенной — он это понимал и он предпочитал с ошипыванием не возиться. Я принадлежал *Молодости*, но я принадлежал и *Европе*. За теми застольями, которые он с нами разделял, порхали шуточки насчет запеканки *морку апкяпасса* и котлеток *целелинай*, на превосходстве которых перед *чурчхелой* и *чанахами* он настаивал с национальной гордостью — и с неотразимым личным шармом.

Согласитесь, что, такими ли были Мельхиор, Гаспар, Валтасар, я имею в виду Петр, Андрей, Марк, а если другими, то чем отличались,— тому, кто жил между Амираном, Эрломом, Пранасом, кто, каждое утро видя их, расплывался в улыбке,— знать ни к чему, лишнее...

Толя, а правда, Генрих был толстовец? Был-был, была колония толстовская в Тайнинке под Москвой, году в двадцать каком-то, пахали, сеяли, оспрашивались. Сам Чертков Владимир Григорьевич приезжал: хвалил, вдохновлял. Отца призвали в армию, он отказался — толстовец, непотворение злу насилием. Его в Бутырку, воду там возил на лошади, полтора года. Всю жизнь Толстого читал, разные издания покупал. Метод его усвоил глядеть на жизнь, на людей, на вещи: в мундире-то генерал — генерал, а в бане? А может, не усвоил, а сродные оказались натуры, и он свой под его только слегка подогнал, подрегулировал. А теперь вы расскажите.

Нечего ему было рассказывать, и слава Богу. Показал еще фотографии: покойной жены, покойного сына, дочери, сестры, двух братьев, матери 1875 года рождения — все покойные. Подсылали к нему женщины, ухаживать, а с прицелом на квартиру; приставали бандиты, заставляли написать доверенность, грозили убить — а он им: какая мне теперь разница? В церковь стал ходить. Оказалось, «Отче наш», «Богородице Дево», «Царю небесный», «Верую» с до революции наизусть помнит. Но, как тогда не знал, что это такое, так и сейчас. «Ныне отпускаеши», «Достойно есть» — всё понимаю, Толя, с детства, а что такое, не знаю.

Не знаю и, честно сказать, не люблю. Обожаю, в восторг прихожу, но это не то. Отче наш иже еси на небесех, чего ж тут не понять? Конечно, да святится, да придет, потому что ведь воистину сокровище благих и жизни подателю, это точно, это само собой. Что единственного Сына послал и он согласился, свет во откровение — восхищаюсь до без остатка. Рожденна, несотворенна, единсушна — понимаю и обожаю, при Понтийстем Пилате, соборную-апостольскую — не просто верую, а вижу и предан каждой каплей крови, и даже, что чаю дадут, как одна маленькая девчущечка своей кукле сказала, только в воскресенье мертвых, готов с умилением плакать. А любви нет. И что в таком случае все это такое — не-зна-ю. Девяносто четыре года прожил, скоро девяносто пять, и что ни вспомню начиная с господи-вседержителю, хоть жену, хоть молодость, хоть работу, хоть санаторий для ветеранов на реке Клязьме, всё помню — как кино смотрю. А любовь — уже не соображу, помню или не помню. И что оно такое, что оно значит и тогда и всегда значило и зачем было, не знаю, а не зная, опять — никак не полюблю. Расскажи мне, Толя, про это что-нибудь, что ты знаешь, а я нет.

Будет вам, Александр Павлович, не травите мое бедное сердце. Кое-что знаю и, что знаю, почти всё люблю. Но это ведь *кое-что*, горсть органической плазмы и вокруг узорца метафизических линий, которые если в одно собрать, то еще полгорсти наберется. А остального, что означает — *всего*, за вычетом полтора горстей, как и вы, не знаю и любви не имею. Мы, люди,— как евреи: племя жестоковыйное. Через деревню паренек на мотоцикле проехал, замок на моей избе вырвал с мясом, приемничек дохлый всего и ухватил, а дверь разбита —

сосед из-за забора: не волнуйся, приду сделаю, наличник прибью, а заодно стояк к срубку скобкой притяну. Сделал, притянул: Генрихыч — триста. Тогда еще в старых деньгах, убойней звучало: триста *тысяч*. Я отдал, но ведь теперь, когда еду в Переславль, его заказа на зубровку уже не беру: скобка за скобку, а зубр за зубр.

Мне чужого незнания не нужно и безлюбья тоже, своих накопил с добром. Рассказывать — надо, что в горсти, долго разглядывать, и пристально и иноприродный серпантин из второй полугорсти обратно выпустить и уследить, как ленты, летя, переплетаются и куда падают. Надо подумать, надо подумать. Сто утр встаешь и волочешь себя в ванную бриться, и одно отвлечение к жизни, немощь и беспросветная тоска на тебя из зеркала смотрят, а на сто первое взглянешь на тошнотворный этот портрет и изумишься: чего я рожу-то такую скорчил? — и рассмеешься. Надо подумать, почему.

Я отца уже лет двадцать в себе узнаю, когда мимо зеркала прохожу, если забываю или не знаю, что там зеркало, и себя вижу случайно. Вообще-то я, считалось, мамин сын, ее породы. Тем более отец по складу никак не голявкинский «мой добрый папа» был, ничего общего. Это, правда, любишь — не любишь не объясняет, можно и от злодейского бати не отлипнуть, и ангельского тятеньку не терпеть. И вообще откуда я тогда знал, *люблю* ли? Не просто ли доволен, рад, привык? Наверное, через бессознательное и неформулируемое сравнение: маму, скажем, больше, девочку Музу во втором классе — по-другому, и с каждой минутой опыт нарастает, все полней, мощней, а с юности — лавиной. Вот, кстати, кого я любил, к кому качество любви было, как ни к кому из друзей-приятелей, это Голявкина. Не так, как Иосифа, конечно, как Женю, как Диму, но Дима, Женя, Иосиф были каждый день, одно время каждый час, а с Голявкиным хорошо если за жизнь двадцать пять раз видались, из них раз пять один на один и не торопясь.

Одновременно с нами художники появились. Это у всех так бывает: художники, поэты, композиторы — всегда мертвые или старые. Бурлаки ходят по Волге, три мужика рыбу ловят, вернее, уже отловили, рассказывают, женщина в шляпе едет в карете, потом какой-то Налбандян, этот вообще, *вашишэ*, грязное небо рисует и на нем чистый самолет, в деревню письмо с фронта принесли, на крыльце пол с дырой. Там дюжина человек, да здесь пятеро, крестный ход — тысяча, в самолете, если полный, сто пятьдесят, тысяча портретов по одному на каждом — множество людей, луг, лес, где они могут гулять, гроза, под которую попасть, море, в котором плавать. Остальные в Эрмитаже, а Эрмитаж — это сундук размером с царский дворец, и в него сложено искусство.

Вдур паренек такой же, как ты, только лицо другое, а говорит — про что и ты говоришь, а про что ты не говоришь, и он не говорит. Он рисует картины, тебе в голову не приходило, что они будут такие, но только взглянул, и тебе в голову не приходит усомниться, что так и надо их рисовать, и именно эти. Так появляются художники, так же — поэты. Потом прозаики, потом композиторы. Художники Миша, Гага, Лева, но лучше всех Олег. Смотришь, что они нарисовали, и это забавно, другое лихо, третье изысканно, а четвертое все смотрел бы и смотрел. И каждому хочется на плечо руку положить, сказать короткое, звонкое и смешное, не расставаться, слушать, как болтает, смотреть, как одет, как ходит, садится, тебя слушает.

С осени в Театральном на живописно-декоративном оказывается Артур. В черном бархатном пиджаке, длинные нечищенные ногти, из Ростова. Ему под тридцать, на его зачислении настоял Акимов, у него есть письмо от Брака и письмо от Дали, Акимов и Юнгер ходят с ним в гости. Он молчалив, молчаливый армянин со спокойным взглядом. Когда его спрашивают, в каком стиле он пишет, он перекладывает бокал с вином из левой руки в правую, а левой достает из пиджака фотографию лесного озера под Мюнхеном — желтые сосновые стволы, семикилометровая, рассказывает он, опушка вдоль берега, и по ней, по стволам, он проведет линию, желтую, но более интенсивную, просто линию, ки-

стью, от руки, как на мольберте. Со ствола перебегающую на ствол, длиной в семь километров. Он получил официальное письмо от баварского департамента лесного хозяйства, предоставляющее опушку в его распоряжение, и договор от мюнхенского кондитерского магната, имеющего виллу на озере, который покупает у него эту линию за порядочные деньги. Есть ли у него семья? Да, через неделю он расписывается с одной ленинградкой. Ленинградка оказывается Лариской, мы ее знаем, невыразительная бессловесная девица. Через неделю я встречаю их на Невском, она в черной в белый горошек узкой жакетке, узкой черной юбке, он купил ей красный берет и яркокрасной помадой нарисовал рот, она не отрываясь смотрит на него, и у нее шевелятся губы.

Потом приезжают еще двое, он и она, из столицы, они курят анашу, они выпивают по три бутылки за вечер, по четыре, они пьют одеколон, хвойный экстракт, растворитель, их картины два на три метра, три на пять, они ташисты, как в Польше, как в Америке, оба гнут пальцами пятак, откусывают край стакана, оба дерутся жестоко, между собой, со всеми, сразу разбивают лицо в кровь, бьют в зубы, в нос, в живот, его избивают зверски, ее сбивают с ног, связывают, на завтра всё цело, всё сначала, с ними удача, в комнате, где они, на улице вокруг них — облако счастья, они целуют тебя, ты обнимаешь их за плечи, и вот выясняется: он гомосексуал, она лесбиянка, профессионалы любви, профессионалы удачи — и в живописи профессионалы.

И тогда возникает Голявкин. Его зовут Витя, и, когда с ним разговаривают, называют Витя, а за глаза — Голявкин. Это он говорит *вашшэ*. В его картинах чистый цвет, равновесие ласточкиного полета, море, песок, дети, собаки, все делают всё, но не как мы, или бурлаки, или крестный ход в Курской губернии умеют, а как умеет искусство: море купает, а не люди купаются, песок желтый, потому что вода и солнце, собаки лезут к детям, потому что те их нарисовали. Он сам нарисован: большая круглая голова и при этом плоское лицо, поперечина узкого рта, маленькие веселые глаза, волосы торчком. Похож — многие похожи, но он больше других — на портреты Олега, на селекционные его башки и шеи. У Олеговых — агрессивная бесчувственность класса-гегемона, Леже, доведенный до штампованности членов Политбюро, но и голявкинское пристальное холодное внимание, и его чистый румянец. Я ехал с похорон, автобус остановился в пробке на мосту, сбоку открылась территория завода, на стене висел плакат «Слава трудящимся!» с физиономией трудящегося, написанный самодеятельным художником. Кровь с молоком на голубом фоне, словно скопированная с Олега, но без его вглядывания в новую породу, а фотографически одобрительно. Из ворот выходила дневная смена с обескислороженными пятнами лиц.

Голявкин толстый, мощный, быстрый, коротко хохочет, приехал из Баку, чемпион по боксу, пьет, когда и сколько влезет, *нормальный человек*. Он художник, артист, поэтому купил на барахолке шинель венгерского пехотинца с оловянными пуговицами, но она не сходится на нем и потрескивает в плечах. Ему снится сон: комната, стул, на стуле его пиджак, на лацкане звезда Героя Советского Союза. Он говорит: «Куплю, вашшэ, избу, утром выйду на крыльцо: кышш — и курицы во все стороны!».

Все стали говорить «вашшэ», придумывать похожее на крыльцо и кыш, искать по комиссионкам пальтеца из дешевых сукон нестандартного цвета. Все хотели сочинять такую прозу, как он. Потому что в дополнение к живописи или в предвосхищение ее он с самого начала писал рассказы вроде снов с пиджаком и курицами, вроде картин с детьми на пляже. Флажки, флажки, кругом флажки, на заборе сидит мальчик и ест флажок — в таком роде. Он так говорил, видел — и писал. Литературные доки производили его от обэриутов, дадаистов, находили логическое завершение раннего Зощенки и, конечно, реакцию на абсурд официального стиля. Он получал удовольствие от этой заинтересованности, повсеместного говорения о нем, обсуждения его персоны со стороны. Зощенковские рассказы он, конечно, читал, детские стихи Хармса и «Столбцы» тоже, а из остального можно говорить с уверенностью

только об «Истории рассказчика историй» Шервуда Андерсона, которую мясяцами таскал в кармане.

Трех-, семистрочные новеллки, перепечатываемые под копирку, заучиваемые наизусть, передаваемые друг другу, как свежие стихи или анекдоты, получили наименование «взрослых» — их не публиковали. Публиковали Голявкина «детского»: «Рисунки на асфальте», «Тетрадки под дождем», «Арфа и бокс». «Я сейчас книжку пишу, хочу ей дать такое название *ашшэ* странное — «Арфа и бокс». Электричка, летний день, мы едем из Комарова — он, Аксенов и я, солнце с нашей стороны вагона, печет, мы выпивши, и нас развозит. «Так сейчас не называют, — говорит Аксенов, — старомодный фасон». — «"...и бокс"», — повторяет Голявкин, хохотнув с серьезными глазами и имитируя удар ему в челюсть. «И арфа, — говорю я Голявкину, — или я сейчас выйду». Он знает, о чем речь.

За полгода до того приехал из Москвы маэстро советской поэзии, ровесник нам, позвонил, попросил познакомить с Голявкиным. Встретились у Академии художеств, которую Голявкин уже не то кончил, не то его выгнали. На экзамене по анатомии спросили, сколько в черепе костей, — с челюстью две; а сколько во рту зубов — сто, и в деканате решают, как с ним быть. Декабрь, оттепель, тут как тут знакомые скульпторы: пошли к нам в мастерскую. Опять скучноватая бестолковая гулянка, огромное пустое помещение, электрический свет. Между прочим вижу: взял столичный гость Голявкина под колени, взвалил вертикально на себя, тащит и выкрикивает: «Я несу Голявкина! Я несу Голявкина!» — а тот заливается ха-ха-ха. Наконец выходим на свежий воздух, ловим такси, поэт впереди, мы сзади: тебе куда, Витя? А мне вот сюда, вот где мы сейчас, мне сюда, остановите-ка машину. Эй, говорит московской штучке — и перчатками по физии. И мне: «А не будет носить Голявкина. Пока, Толя». — «Зверь ты, Голявкин! Чудовище!» — «Не ругайся, Толя. Я же его не просил меня поднимать и сам не поднимал».

Мне этот спортсмен из Москвы был скорее симпатичен... Вот, Александр Павлович девяноста четырех лет, видите — и разговор уже негожий до стыда, и словарь совсем никудышный. Симпатия-антипатия — это ведь по линии нервных систем; «скорее» — с чего бы такое превосходство! Что «спортсмен», как раз не в обиду: крепкий, костистый, мог бы и попробовать сдачи дать. Но не дал, а уронил лицо в ладони... Ладно: *он мне нравился* — так на грамм лучше. Мысль потаскать Голявкина — не Бог весть что, дурацкий знак расположения, избыток пьяного восторга, однако же расположения, в первую очередь, и восторга. Он хотел хорошего и не хотел плохого, всю жизнь, но он такой уродился, что не мог не объявить — сперва хотя бы себе, но потом обязательно публично, — что он, как, кому, зачем. Не просто подхватить в ошалении этот центнер, а — «я несу Голявкина!». Всегда хотел хорошего, но так как всегда и всем, и никому никогда плохого, то очень скоро стало выходить, что чего он хочет, то и есть хорошее.

При таком горении в душе и упоенности своей исключительной ролью в человечестве, он тяготел к категориям самым высоким и крупным: *народ, правда, молодежь, знамя, честь*. Куда деваться, он был на них воспитан, а принадлежали они тогда, как и право употреблять их, комсомолу и партии, разумеется, достойнейшей части того и другой — на которую он то ли искренне ориентировался, то ли внушил себе ориентироваться. Ничего у него не *случалось*, всё — *совершалось*, ни разу ни одному человеку, ни возлюбленной, ни другу, не посмотрел он в глаза как *кому-то*, конкретному, индивидуальному, именно этому — только как примеру для притчи, для морали, выразителю идеи, представителю некоего множества. Никого не любил, только *всех*. И его *все*, и никто в отдельности.

В самолете, над океаном, он появился из отсека первого класса, уже шестидесятилетний, стал разглядывать нас, *всех*, увидел меня, увел к себе. Пил шампанское, много уже выпил. Я попросил принести воды, и только поставили передо мной стакан, как он, потянувшись за своим, смахнул мой на себя и на пол.

Пил и все время повторял: «Что я им сделал плохого?». Перечислял того, этого, эту — каждый сказал о нем что-то с неприязнью, некоторые с ненавистью, каждый обидно, некоторые оскорбительно. За глаза, а ему передали; на публичном выступлении, в журнале, по радио. «А я его отбивал у КГБ, а я ее защищал в Политбюро, опубликовал письмо в газете, дал хвалебную рецензию, посвятил стихотворение, посылал деньги». Вспомнил историю с Голявкиным — «Что я ему сделал плохого?».

Мы висели в двадцати тысячах футов над морской пучиной такой же глубины, в двух тысячах миль от двух ближайших материков, помочь было нельзя, ответить нечего. Его вопрос, тем более обвинения, не пробуждали во мне жалости, как не пробуждало ее пятно от пролитой воды на его брюках, но, как нежность к этой воде, капля которой еще дрожала на поверхности столика, я чувствовал к нему теплоту и признательность за то, что он мог сказать так наивно, что сохранил с детства этот трогательный всхлип — даже если в первый раз произнес его на пробу и ему понравилось повторять, да хоть бы и выбрал сознательно — за то, что понравилось и выбрал именно это.

Невозможно вообразить большего антипода Голявкину. Четвертая книга в «Детской литературе» у Голявкина вышла «Мой добрый папа» — такая же детская, как Диккенс, которого тоже там издавали. Я моего отца сначала не очень любил, больше боялся, но мало-помалу стал любить все сильнее, а по-настоящему полюбил как раз ко времени голявкинской книжки. Я ее прочел, захлопнул, посмотрел еще раз на обложку, прочитал с удовольствием вслух: «Мой добрый папа», — и оказалось, что это уже я о своем говорю. Я подумал, что в семь лет, когда жестоко заболел, температура сорок, в голове боль на крик, подозревают менингит, порошок не проглотить из-за рвоты, суббота — «скорую» не вызвать, да и какая «скорая» в Свердловске во время войны, — и отец всю ночь пронесил меня на руках, по черному коридорчику коммуналки на черную кухню и обратно, а это была единственная ночь в неделю, когда он мог выспаться, а то всё в десять вечера с завода, в шесть утра на завод, — я подумал, что да, мой добрый папа. И, следовательно, если я могу так сказать, то никто, ни великий маэстро, ни пьяный дурень, не должен носить меня на руках, да еще вопя, что носит, иначе я уже не смогу так сказать про моих маму и папу, а оттого что не скажу, уже не смогу их так любить.

Так что, Александр Павлович, не из-за того, что в *историю* могло войти та-скание Голявкина, и никакого символического в нем не обнаружить смысла, ни прищочного, и также не для истории Голявкин оттянул ему поперек лица зимними перчатками, и уж никак не потому что зверь и чудовище, а ровно наоборот — чтобы в публичное, балаганное ничто, помимо которого народному поэту и в голову не приходило, что может быть выражено хоть расположение, хоть нерасположение, хоть восторг, хоть что, не превращать кровное, дорогое, любимое. Чтобы отбить у него отца, который сам уже не мог за себя постоять, потому что умер. Оскорблена была честь, и не его одного, а любого нормального человека, потому для акта ее восстановления и случилась под рукой не, скажем, монтировка, а дуэльная перчатка, и сам жест вышел стопроцентно офицерский. А так как мы, люди, — племя жестоковыйное, то уточню, что хлестнуто было по глазам и смывали оскорбление вполне реальные, хотя и рефлекторные, слезы.

А не слащавый этот *мой добрый папа*: «добрый», «папуля»? Да ничего доброго, смешной очень человек, непутевый, не великого ума, просто — добрый. Все на свете — смешные и не больно толковые и так ли, сяк ли глуповатые, даже, страшно сказать, немислимый Платон и неопровержимый Соломон, все такие, но почти нет добрых. Героев больше, хотя тоже считающиеся. А чтобы добрый и герой, то, если не в сказке, так только у *кого-то, кому-то* попался — не тебе, не у тебя. Вот папа у Вити Голявкина. Голявкин — писатель ранга Венедикта Ерофеева, то есть вне списков. Только у Ерофеева готика: шалаш, да каменный; никак, да только так; что написано пером, не вырубишь топором. А у Голявкина пьяных нет, трезвые, а закона не выведешь, и что читаешь, то, впе-

чатление, что и до этой минуты знал, что это знаешь, а что слышишь — к примеру, историю про две кости черепа и сто зубов,— кажется, что в какой-то, не вспомнить какой, не в голявкинской ли, *верной* книге читал.

Какова судьба Петра, Андрея и Марка с фотографии, вы не знаете?..

Нет, связь с ними тогда же потерял. Доходили слухи, якобы Петр загремел на Кольму, якобы Андрей на него донес, а точно не знаю...

Наверно, потому же не знали, и что мой отец толстовец: связи быстро терялись. Покажите-ка еще раз *фотку*, как в те годы говорили. Видите, как он стоит — как струнка, прямо в объектив глядит, улыбается, но кусту, птичке, свету, фотоаппарату, а сам что-то думает и рот хорошо закрыт, чтобы ни с Петром, о чем думает, не делиться, ни, подавно, Андрею не пришло на ум поинтересоваться. У меня все-таки другая его фотография: в такой же рубашке, такая же стрижка, но там он на бревне сидит с двумя такими же в обнимку — больше похоже на Тайнинку, на время коммуны, не Челябинский тракторный.

У них *лица* коммунаров, понимаете? Мне, что у коммунаров особые лица, однажды в школе открылось. Учительница рассказывала о Парижской Коммуне и пустила по рядам картинку: несколько человек на баррикадах. Оказалось, репродукция Делакруа, но ей все равно было, что Французская революция, что Коммуна. А может, кто-то советский с Делакруа скатал — одним словом, баррикады. Честно говоря, и мне было все равно, потому что среди этих самых санкюлотов я увидел лицо Мити Вагнера — в каком-то колпачке, но его. Я вмиг поднял глаза на него живого, он сидел, уставившись куда-то за окно, и почесывал ноздрю, большим пальцем внутри, указательным снаружи, но ведь и коммунары так мог в свободное от боев время.

Я не удивился, потому что с самого начала чувствовал что-то в этом духе, только не знал что. Я к нему подошел в конце пятого класса и сказал: «Может быть, будем дружить?» — и мы пожали друг другу руки. Это было назавтра после облавы на Михайловской площади, его единственного поймали, привели с милицией в школу и теперь должны были исключить. Накануне ботаничка всему классу «а» поставила двойки, потому что велела принести на урок цветок левкоя и никто не принес. Мы ее боялись смертным страхом, она была пугающе некрасивая, длинная, худая, яростно злая. Когда мы рассматривали через выданные ею лупы вакуоли помидора, а потом оказалось, что одну вернули с трещиной, она стала неистово бить кулаком по столу, крича: «Вы мне за лупу ответите! Я с вас за лупу шкуру спущу!» И хотя все отреагировали на *залупу*, ничье лицо даже не дернулось в похабном смешке, потому что у нее вдруг сделалось кровоизлияние в глаз, он стал багровым до черноты, а она продолжала кричать и стучать.

Кто-то сказал, что в сквере на Михайловской площади несколько грядок левкоев, и мы всем классом на большой перемене туда побежали. Площадь Искусств она тогда официально называлась, а сквер — Малый Михайловский сад. Мы только подходили, а в четырех концах сада уже встали сторожихи со свистками во рту. Почти бегом мы приблизились к самой пышной грядке, Митя первый дернул цветок на высоком стебле, за которым поднялся фонтан земли, свистки залились, мы похватили что попало под руку и пустились наутек. И в этот момент из стоявшего неприметно у театра оперы и балета фургона через заднюю дверь стали выскакивать и бросились к нам средних лет мужчины в пиджаках. Потом кто-то объяснял, что в Русский музей должен был приехать Неру, и первый десант Министерство безопасности выслало загодя. Мой догнал меня на углу площади и Ракова, я обернулся, увидел над собой его спокойное жестокое лицо, замер, но перед тем, как схватить, он поглядел в сторону Филармонии и мощными тихими скачками помчался туда. Там между двумя такими же метался, не выпуская цветка, Митя, но вот они навалились на него.

Нас вызывали по одному к директору, многие выходили, вытирая глаза, Митя, с заплаканным глазом, — едва заметно улыбаясь. Цветы оказались флоксами. Из школы его не выгнали. Его отец был морской военврач первого ранга, и это, наверное, сыграло свою роль, но Митя так держался не потому, что

предполагал, что ему сойдет с рук. Я потом стал бывать у них: большая квартира на Ракова, в ней жили еще четыре незамужних сестры матери, мать в молодости была балерина, ее звали Мери, они были грузинки. Отец даже дома, даже в сумрачный день носил дымчатые очки. Митя рассказывал, что отец из немцев, первый Вагнер будто бы приехал в Россию вместе со знаменитым Эйлером накануне смерти Екатерины Первой. Когда началась война, отца, как всех немцев, арестовали, но выпустили, потому что он был хирург экстра-класса. И потому что он, помимо Морской военно-медицинской, уже работал в спецбольнице НКВД.

Я был влюблен в него, хотя и трепетал. Он брал нас, на трофейном «опелькадете», на дачу в Колтушах: огромный двухэтажный дом в огромном густом саду. В гараже был самодельный тир, мы с Митей стреляли из духового ружья, а он смотрел и хмыкал и вставлял в мундштук сигарету. Однажды взял на настоящую охоту, на уток, на зорьке, всё честь честью, ружье было, правда, только у него, и после каждого выстрела он нам подмигивал сквозь свои дымчатые очки, спаниель Дориан убежал и прибежал, дважды с птицей в зубах. Он шутил, тратя на это минимум усилий, например, просто обращаясь ко мне на «вы» и по имени-отчеству: «Вы бы следили за гульфиком, Анатолий Генрихович». В кабинете у него висел литографический портрет Бисмарка, он говорил, что настоящая его фамилия Бисмут, но так как пруссаки не верили, что такой металл действительно существует, думали, алхимический элемент, то заменили на Бисмарка, однако стали прибавлять «железный». За столом рассказывал истории про каких-то петербургских дам, постоянно попадавших в двусмысленное положение, Митина мать старалась рукой закрыть ему рот, четыре сестры хором запрещали: «Devant les enfants!» — и он отвечал, копируя их возмущение: «Вот именно что *диван!*». Выпив коньячку, запевал «налей полней стаканы, кто врет, что мы, брат, пьяны, мы выпьем еще на дорогу, а Мери нам грогу нальет» — «Шотландскую застольную», которую каждые три дня пел по радио артист Ефрем Флакс. Мой отец тоже любил ее затынуть.

У нас тоже была отдельная квартира, в квартале от них, но в подвале и одна комната с кухней. Было сыро, всегда темно, отец и мать приходили с работы в шесть, в семь, чтение глав из книги «Овод» начиналось в полпятого, а там тюрьма, крысы, мрак, несчастная любовь, низкое предательство, смертельное ранение, я сжимался в комок на стуле возле печки, передача кончалась, вступал Флакс, Кострица, «Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню мою», а я боялся пошевелиться, встать зажечь электричество, пойти пописать — потому что с кухни, в которой не было окон, слышалась беготня тех самых крыс. У Мити был рай, Вагнеры жили *роскошно*: когда они втроем пришли к нам познакомиться с моими родителями, я это ощутил в сто раз резче, чем когда бывал у них. И, конечно, меня тянуло туда — «к богатым», это верно, но лучше сказать, это тоже верно, потому что неизмеримо сильнее меня тянуло к Мите.

Это правда: у нас связи быстро теряются, потому что охотно. У вас, Александр Павлович, у меня тоже. Уж очень жизнь жестокая, и круговая порука, так что чем больше в ней с тобой связано, тем тревожней, а нет связей — не так страшно. Митя говорил, что в школе учится, не раздумывая зачем, и английским с учительницей занимается так же, идет — и идет, маме и тетушкам спокойно, отцу нет хлопот. И в Медицинском отучится так же, а вот работать — это едва ли. Будет просто жить, сегодня — здесь и так, завтра — там и этак. Будет переезжать с места на место, переходить от одних людей к другим. Потому что люди — самое интересное, да почему самое? — единственное. Чем больше узнаешь людей, тем подлинней жизнь, то есть великолепней. Бояться их нельзя. Вот твои отец и мать про себя ничего моим не рассказывали, боялись, и мои это понимали, не спрашивали, и в результате — как не встречались. Мои бы заговорили, мои не боятся, потому что у немцев и у грузин не было крепостного права. У них всякое было, но рабства не было. А в России — триста лет татары, и только кончилось, сразу сами себе татары. Может, новгородцы другие: какая-никакая республика, контора Ганзейского союза.

Из школы мы всегда ходили вместе, было по пути, иногда втроем, с Мирошей Ильгизовым. Мироша был сын дворничихи в Митином доме, Митя его на день рождения приглашал, и тот приходил, а так — редко, потому что другим интересовался. Мироша обожал хитрить: когда — преследуя выгоду, многоступенчато меняя вещицу на вещицу, так что, начав с карандаша, мог прийти к ручным часам; а когда и безо всякой. Любимым развлечением у него было на улице зимой на ходу занять меня или Митю минутным дурацким, но обязательно захватывающим, сюжетом, и он так его вел, чтобы мы смотрели ему в лицо, то есть пятились, а он тем временем подводил нас к сугробу, в который мы и валились. Однажды он заболел, Митя занес ему домашнее задание, открыла мать и крикнула кому-то в глубь квартиры: «К Мирфатыху». В конце последней четверти меня сняли с уроков заполнять табеля, я заглянул в конец классного журнала: Мирфатых подтвердился. Не так проста была семья, в которой ребенка записывали по-татарски Повелителем.

В конце седьмого класса вечером ко мне прибежал Мироша и выпалил: «У Вагнера отца убили, тебя зовет». Я сорвался с места, высочил на улицу, помчался, как будто быстрого хотя сколько-то отвечала немислимости сказанного и только в ней мог оставаться выход из катастрофы. Позвонил, дверь сразу открылась, незнакомый человек с прямоугольным лицом и каменным взглядом больно схватил меня за плечо, но в конце коридора я увидел Митю, непонятно какой силой вывернулся, мы бросились друг к другу, прижались, я заплакал, изо всех сил подавляя рыдание, а у него просто потекли слезы, по ясному лицу, потекли и текли. Всю ночь до утра мы просидели вдвоем в кабинете отца на диване, держась за руки. Время от времени заглядывали мать и тетки, все в одинаковой черной одежде, в одинаково повязанных на голове, низко на лоб, черных платках. Слышалось движение в других комнатах, иногда доносился звук короткого приглушенного разговора. Митя сказал, что прилетели мужчины из Тбилиси, родня.

В середине ночи в дверях появилась мать, за ее спиной стояла наша химичка Фаина. Увидеть школьную учительницу в случайных обстоятельствах, в частной обстановке — всегда легкий шок, изумление, особенно такую, как эта и в школе-то не очень уместная фигура. Ходил слух, что она жена директора Русского музея. Стройная, элегантная, с туго забранными назад черными волосами, яркими губами, прямым носом, с отрешенным выражением лица, равнодушная к знаниям учеников, пристрастная к качествам их характера, к их настроенности. «Ну же, — могла она закричать на уроке, — чем ты высадишь из раствора кальция, алюминия и железа барий, только барий?! Ты? Ты? О, несмысленные животные! Ну?! Любим хлоридом, правильно, пять, и пять в году!». Она подошла к нам и поцеловала в голову Митю, потом меня. Проговорила, взяв Митю за подбородок: «Я знала цену твоему отцу». Мать сказала, что можно перекусить, мы помотали головами, они ушли.

Вдруг Митя сказал, что отца выбросили из поезда, по дороге в Москву, под утро. Я спросил, кто. Он поднес палец к губам. Думают на амнистированных, сказал он. Тогда к семидесятилетию Сталина выпускали мелких уголовников. Потом мы слышали пение. Это грузины, сказал Митя. Бесконечно скорбное, только мужские голоса, негромко и неостановимо. Горе вызывало не заунывность, а ровную певческую силу, но такую пронзительно горькую, что я опять заплакал. Часов в шесть утра мы прошли мимо неподвижного человека в прихожей, вышли на улицу, пересекли Манежную площадь и сели в Собачьем садике на скамейку. Это госбезопасность, сказал Митя. В дверях тоже, но я сейчас про тех, которые убили. Амнистированные в мягком вагоне «Красной стрелы» — кто этому поверит? Его пригласили сделать показательные операции в Америке. Бисмарк над столом — это крамола, «опель-кадет» — крамола: начальник Академии ездит на дачу в «Победё», а до того — в «опель-олимпиа».

Он подобрал прутик и стал рисовать на земле. Спецбольница НКВД — отца еще до войны назначили туда главным хирургом — щит с двумя скрещенными мечами. Горизонтальная линия к кораблику под андреевским флагом: Мор-

ская военно-медицинская академия. Перпендикуляр вверх: Америка — профиль орла; вниз — контур автомобильчика. На пересечении — лицо в заштрихованных очках. Над щитом — Vi, химический знак висмута, справа от орла — собачка, спаниель Дориан, вниз от кораблика — паровозик с вагонами, влево от машины — операционный стол, на нем тело. Четыре быстрых коротких линии: от щита к висмуту, от орла к собаке, от корабля к поезду, от автомобиля к столу — свастика. Что-то стирается, перечерчивается, закругляется — серп и молот. И уже исчеркано часто-часто прутиком влево-вправо: чистое пятно свежей земли.

До этого мы просиживали здесь часами, на этой скамейке или на той, что у гипсовой статуи, вот так, вода веточкой, щепкой, рантом башмака, пальцем — что-то иллюстрируя, доказывая, а чаще бессмысленно. Смотри, приговаривал Митя, генеалогическое древо Капетингов — хотя можно Меровингов, Гогенцоллернов, Рюриковичей, результат один. У всех, кроме Романовых. Вот Гуго Великий, вот Гуго Капет, Людовик Ленивый, Генрих с Анной Ярославной, Людовик Толстый, вот Святой с одиннадцатью отпрысками. И никакое получается не древо, как видишь, а организм, как в анатомическом атласе. Роберт Храбрый — мозжечок, Рудольф Бургундский — надгортанник, Гуго — сердечная сумка, Генрих с Анной — надпочечники, Карл Простой и Лотарь — каролингская киста, Людовик Святой — крестец, а под ним две плюсны, одна пяти-, одна шестипалая. У Романовых, действительно, дерево, точнее, если взглядеться в ветви, анчар. Он доставал задачник, передавал мне *трость писца* и просил решить алгебру, геометрию, физику; с особенно подробными объяснениями — химию. «Хочу быть отличником у Фаины». Провозили младенцев в коляске, девочки играли в вышибалу от стенки, а я покрывал аллею трапециями, радикалами, многоленами, и Митя, обнимая меня за плечи, восхищался: «Мы Пифагоры».

А вы не проголодались, Александр Палыч? — а то я очень...

Да у меня, Толя, все есть...

Кухонный шкафчик был набит крупами в прозрачных полиэтиленовых пакетах, холодильник пуст: открытые шпроты, завявший сельдерей. Сальные кастрюли, тарелки, ложки. Я вышел, купил пельмени, хлеб-масло, моющую жидкость, пакет сметаны. Когда вернулся, он ходил в майке и трусах: длинные «семейные» трусы периода строительства социализма. Ноги болят — он потер сизо-голубые ляжки с темными пятнами от ушибов последних сорока лет. Стройные, худые, идеально, должно быть, соразмерные телу, когда он был юношей. А потом грудь раздалась, плечи, живот, и пошло колыхаться на двух спицах, и загар к ним уже сорок лет не пристает...

Ноги как в молодости — они для старости не годятся, а торс стариковский в самый раз. А трусов этого фасона, знаешь, еще сколько осталось — всех не сносить. Правильно говорят, мало человек за жизнь снашивает вещей, не больше полшкафа. У меня и галош две пары без употребления стоят, одна ненадеванная.

Круговой порукой была жестко связана вся жизнь, вся — вот вам и дисциплина! Не выучил наизусть оду Пушкина «Вольность» — пусть мать придет в школу: мать напустится, или расплчется — найдет, как тебя заставить. Четверка в четверти по поведению — сообщим отцу на работу. А там знают, что делать: на общем собрании поднять вопрос, нарочно он воспитывает из сына несоветского человека или просто не справляется, объявить выговор с предупреждением. «Опять забыл дома мешок для галош» — в дневнике красными чернилами. «Ты что, не можешь раз навсегда привязать мешок к вешалке на пальто? — (Маме:) — Пришей ему намертво к подкладке». В школу надо было идти только в галошах, в раздевалке класть в мешок, сдавать на вешалку вместе с пальто — такова дисциплина. Пальто сперва длинное, на вырост, пальцев из рукава не видно, шикарное пальто с воротником рыже-бело-черного меха — говорят, барашек, а как намокнет, потягивает псиной. На следующую зиму уже вроде куртки, руки торчат и, главное, тесно — куда тут мешок, хоть и пустой, всунуть? И, по Фрейду, *вытеснением*, «забываешь» про него и идешь в галошах по Площади Искусств, по Невскому проспекту, красивейшему в Европе от Пирене-

ев до Урала, с болтающейся снаружи, на тесемке через пестрые кудри горжетки, пыльной килой.

После пятого урока раздевалка превращалась в кони-люди, в картину Пуссена «Битва». Потоки полутора десятка классов скатывались туда одновременно, и в этом месиве между копытами и дротами надо было найти свое пальто, не выпустить из руки портфель, достать из мешка галоши, удержать их, удержаться, надевая, на ногах и притом не попадаться на глаза учителям, чтобы не заработать походя замечания, и старшекласников — чтобы подзатыльник. Особенно одного, из девятого, когда я был в четвертом, класса, хромого, который хоть раз в неделю находил меня в толпе, больно брал за шею, заглядывал в лицо и говорил: «Опять мешки под глазами, опять *этим* занимался?» — и ребром ладони «давал макароны». И всегда находился кто-нибудь, кто не услуживал за второй галошей, ее моментально начинали пинать друг другу и об стенку, а владелец бросался ее ловить. Однажды такая одиночка, но бесхозная, никто на нее не претендовал, попалась под ногу Мити, и он так мощно ударил, что она пролетела через полраздевалки и лопнула по борту до подошвы. Через минуту выяснилось, что это его собственная, и с тех пор он вообще перестал их носить: ходил в ботинках, каждый раз, как дежурные его задерживали, писал на имя директора «запрос», где такое правило записано, и в конце концов его велено было оставить в покое.

Клумба круговой поруки искореняет стебель, в котором есть угроза повредить форме круга, выдаться цветом или ростом, или размахом листьев, стесняющим соседей, оттесняющим их к краю и через них кого-то за край. Но в редчайших случаях убыточнее, чем оставить, оказывается выдернуть, из-за зияющей посередке дыры или никак не принимающейся на ее месте вялой рассады, и тогда культурное растениеводство с кривой усмешкой прибегает к запасной философии: «себе дороже» и «молодо — зелено». Возмужает, переберется, станет, как мы, пусть торчит — а тем временем не спускают с возмутителя дисциплины непримиримых глаз, и момента, когда с ним удобнее можно будет разделаться, не пропустят. Тем более что у отца Мити были *товарищи*, которые и пригладеть умели, и избавиться.

Я с ними сталкивался у Мити и до похорон отца, и на похоронах, в толпе подобных им, но безликих, как бы их теней, узнавал, и, признаюсь, они мне все нравились. Сильные, большие, веселые, в белых рубахах, пахнущие чистотой, как после купания, — заезжали за Митиными отцом и матерью в многоместном, легком, могучем ЗИСе, летом со снятым верхом, корзины с вином и провизией перебрасывали в багажник, пересаживались теснее и уносились по Толмачева налево к цирку, а потом, я знал, по Литейному, на Лесной, на Верхневыборгское шоссе и по перешейку куда-нибудь к Ста Озерам. Они были вызывающе не похожи на важных, всегда угрюмых, с мертвящим взглядом, жильцов соседнего с Манежем особняка за высокой каменной оградой, который почти официально назывался «дом восьми генералов». Эти лучше, сказал Митя тем утром после гибели отца, показав плечом в сторону Манежа, за которым сейчас спали генералы. Старперы, отвоевали, музей. А к этим (в сторону своего дома), Толя, не подходи близко, не давай им тебе улыбнуться, они как отец Катерины в «Страшной мести», поглядят тебя по голове, посадят на колени, прокатят на карусели, поцелуют на прощание в щеку, и ты, благодарный, поцелуешь в ответ — и ничего уже после этого у тебя не получится из того, что всегда получалось, и папу и маму никогда не сможешь так поцеловать, как прежде.

В отрочестве любить сверстников не только хочется, а и так легко, и даже напрашивается — любить их отроческие лица, чистых, как боттичеллиевские профили, очертаний, идеально соразмерные друг другу покатым лоб, прямой, чуть вверх, нос, упругие, верхняя две трети нижней, губы, изошренно вылепленное фарфоровое ухо, ушко — это в профиль; овал лица — овальный, густоту и блеск волос, румянец, начинающийся с белизны виска и набирающий рдяность к центру щеки — в фас. Не девочка, не мальчик, не грек, не еврей, не скиф, ни раб, ни свободный — ангел на рублевской фреске в Успенском влади-

мирском соборе и на множестве итальянских картин. Облик той притягательности, которую только имитировать могли больные портретисты вроде Висконти в ликах кинотролков, самым существом и каждой черточкой искажающих ее. В годы, ближайшие к поре нашего с Митей влечения друг к другу, с пронзительной ясностью видел этот облик Сэллинджер — как и то, что сохранить видение возможно, только убежав из мира позднейшего опыта. Такой способ выжить он и выбрал, но зато оставил враждебный этой чистоте и притягательности, глумящийся над ними, заражающий их своим вирусом мир — без себя.

Я понятно говорю, Александр Павлович? Чего ж, Толя, не понять? Кроме иностранных имен, все понятно. Проще сказать, не Содом-Гоморра, а, к примеру, Герцен-Огарев, не так ли? Вот, вот, вот!

Похороны были пышные, гражданская панихида в Академии, Пискаревское кладбище с военным салютом взвода автоматчиков. Как выглядел человек в гробу, не помню, помню, что совсем был непохож, без очков. В актовом зале Академии я вдруг увидел своего отца: когда стали прощаться, он положил на гору цветов свои ромашки. Уже дома у Вагнеров, когда начались поминки, ко мне подошла Митина мать и сказала: «Передай родителям, что я этого не забуду». Фаина поманила меня и Митю рукой и забрала к себе домой.

Квартира была в здании театра, окнами частью на Русский музей, частью на канал. В комнатах и коридоре густо висели картины и рисунки, стояла старинная мебель, красота такая, что мне показалось, что даже пахло красиво. Я потом еще раз был в этой квартире, с Митей и Митиной матерью, когда через несколько дней после смерти мужа Фаина покончила самоубийством, по слухам, отравилась. Ее уже похоронили, из морга, квартира считалась опечатанной, но какие-то люди пришли с нами и открыли: мать хотела проститься — она несколько раз произносила это слово, так и не сказав, с чем, просто проститься. Тогда я разглядел, что висел на стенах, и сейчас могу приблизительно перечислить Лебедева, Тырсу, Чекрыгина, Филонова, Татлина, почти всех мирискусников, весь знаменитый авангард, всё по большей части, как объяснил Митя, дареное, поэтому, например, и Стерлигов, и Конашевич.

Но в тот, первый приход ничего я не разглядывал и не запомнил, потому что главным впечатлением, когда Фаина накрыла на стол, усадила нас и крикнула в коридор: «Костя!» — было появление ни больше ни меньше, как хромого из школьной раздевалки, донимавшего меня с ухмылкой расспросами про *это*. Он изменился — два года прошло: молодой человек, *студент* — и на этот раз широко улыбался, а только все равно взял за шею и сказал: «Опять мешки под глазами?» Он играл, но я по старой памяти вырвался. «Какое-нибудь из школьных идиотств? — спросила Фаина, не требуя ответа ни от него, ни от меня. — Не дразни его». — «Просто кое-кто сексуально озабочен», — выпалил я, и он покраснел. И я жарко покраснел, до глухоты в ушах: «кое-кто» и «сексуально озабочен» — так говорили взрослые, и я повторил прежде всего потому, что мы здесь были *взрослые*. «Да, — проговорил он, — я озабочен. Этически, и политически, и сексуально тоже». «Он *всем* озабочен, — сказала Фаина. — Человечески». «Онтологически», — полупошутил, полупоправил он, чтобы последнее слово было за ним.

Он вырос, хромал сильнее, начал лысеть надо лбом, и у него появились круги под глазами вроде моих. Учился в Технологическом, рассказывал что-то об институтских нравах, смешное и тоскливое, о студенческом хоре, который занял первое место на городском конкурсе, и все солисты — бас, два баритона, два тенора и четыре сопрано — были немедленно взятые в аспирантуру на кафедру стекла и цемента. «Ты сегодня разговаривался, — одобрительно сказала Фаина — и нам с Митей: — Обычно говорю я, он больше хмыкает». «Что говорить тому, кто первый всё сказал тебе?.. — ответил он. — Вам неинтересно рассказывать, вы всё знаете, а они — как я, когда тогда пришел к вам в кабинет... Вы сейчас в каком?» — спросил он нас. «Будем в восьмом». «А, тогда я раньше, я был в шестом».

Ничего, кроме этого, не прозвучало за столом хоть как-то касающегося отношений между ними, ни намек на объяснение, почему он здесь, на каких правах. Митя знал только, что он прописан у тетки и какое-то время живет у нее, какое-то у Фаины. Когда я поступил в Технологический, мы столкнулись с ним в дверях в один из первых дней сентября. Он, как выяснилось, только этим летом кончил, должен был, по моим расчетам, годом раньше, но после третьего курса — после смерти Фаины — ушел в академический отпуск, работал на заводе. Теперь получил место в НИИ, у них был совместный проект с нашим институтом, и той осенью мы часто виделись. Больше на бегу, но всегда успевали пальцем обвести вокруг собственных глаз и ткнуть в другого. Несколько раз сговаривались встретиться в конце дня и тогда вместе шли до его дома на Пушкинской. Он ни разу меня не пригласил к себе, но я этот дом знал, бывал в нем.

В конце девятого класса я влюбился в Роксану из 217-й, пылко, или, как сейчас бы, увы, сказал, банально пылко, а в те дни знал наизусть ее расписание уроков, раз-два в неделю приходил, с ее разрешения, к дверям школы, два-три караулил в подъезде напротив и догонял как бы случайно, а еще выглядывал ее из Митино окна в надежде, что пойдет не по Невскому, а по Ракова. Митя тогда, в девятом классе, познакомился с Лизой, полячкой из Львова, студенткой Театрального института, уже игравшей в БДТ, которая казалась много старше его, хотя была только на три года, и, странный эффект, рядом с ней он тоже выглядел старше своих лет, взрослым. С самого начала они вели себя естественно, спокойно, но не *специально*, как мне казалось, «как супруги», а, как я через много лет понял, как брат с сестрой. Они смотрели на мои просиживания на подоконнике со снисходительным сочувствием, однажды Лиза заметила Роксану первая и сказала самой себе: «Ты посмотри, какая *выходка!*» — имея в виду стройную поступь моей возлюбленной.

Я провожал ее до дому, несколько раз был приглашен, сидел за чаем и после чая с мамой, ввязавшей на спицах, папой в настоящем и потому несколько театральном шлафроке и старшей сестрой, явственно похожей на младшую, но как будто не в фокусе: *идеальная*, как мне представлялось, фигура Роксаны была в ней мягко искажена общей вытянутостью, неуклюжестью, худобой, четкость форм младшей смазалась, яркость черт притушилась. Едва я открывал рот, папа начинал одобрительно кивать, мама ровно улыбаться, а она с нежной тревогой переводить взгляд с одного на другого, что-то коротко беззвучно шептать и на какие-то слова тоже коротко и ласково, но несогласно встряхивать головой.

После лета, которое я провел у тетушки в Латвии, а они на Иссык-Куле, мы с Роксаной продолжали наши прогулки, но, по ее просьбе, реже, через три дня на четвертый, через четыре на пятый, и я уже не был зван в гости, пока в одно из провожаний не наткнулись на папу, который попросил ее идти домой, а меня спросил, что я думаю делать дальше, потому что Роксана *помолвлена*, в конце школы выходит замуж и наши встречи, хоть и невинную, а бросают тень на ее нынешнее положение. *Выходит замуж* — в сравнении с подвижной, взволнованной нежностью, которой я ее окружал, о ней думал, ее ждал, с ней говорил — было чуть ли не *в публичный дом*, в каком-то смысле даже хуже, потому что там хоть драма, а здесь *пошлость*. Я был подавлен, на пустом месте заболел, живот, затылок, шея, ежевечерняя температура, и так всю первую четверть до седьмого ноября, когда пошел с классом на демонстрацию, продрог, выпил первый в жизни стакан водки, попал на какую-то вечеринку, между подкатами тошноты целовался с крупной спокойной девочкой и на завтра проснулся здоров.

В третий уже раз стоя с Костей у подъезда Роксаны, я наконец обронил как бы невзначай, что вот это, значит, и есть дом, где, наверно, живет, как я от кого-то слышал, его тетя, а я полтора года назад почти каждый день провожал сюда девочку из соседней школы... «Нет, — сказал он, — тетя в другом месте, а здесь жена». И опять ничего больше, завершение темы, которую обсуждали перед тем, и ни звука об этом. Мы уже попрощались и парадная дверь за ним хлопнулась, когда меня вдруг обожгло, я вбежал внутрь и сказал: «Твою жену не

Роксана зовут?» Там просторная овальная парадная, слева и справа несколько колонн, три полукруглых ступени вверх во всю ширину помещения, площадка, над ней железная люстра с одной горящей лампочкой, и только потом плавной спиралью поднимающаяся лестница. Я стоял посередине овала, он посередине лестницы и оттуда сверху ответил: «Нет, не Роксана». В тот же миг я почувствовал, что это как сцена, на которую я смотрю как зритель, и что так это мне и запомнится, уже запомнилось, и он подтвердил: «Какой-то прямо Ростан».

Те несколько наших с ним прогулок были типично, фирменно ленинградские: мы шли обязательно против ветра, против дождика или мокрого снега, немного внаклонку, выставляя время от времени плечо, и безостановочно говорили. Если он от своего прихрамывания особенно уставал, мы садились на трамвай в начале Звенигородской или Марата, проезжали в зависимости от продвижения к нам кондуктора остановку-две. Обычно я бурно и довольно сумбурно что-то объяснял: свою позицию, собирающуюся сплошь из оценок того, что находилось вне меня, множество своих наблюдений, их противоречивость — а он говорил, что думает или знает по этому поводу, но чаще опровергал подхваченными на заводе мудростями, которые, придурковато усмехаясь, произносил без видимой связи с предметом. «Два Жидяева подрались», — отозвался он на мою пылкую речь о несовместимости творческой природы и служебной роли искусства, однако, уловив, что я вот-вот обижусь, прибавил какую-то ссылку на Талмуд. Талмуд, пояснил он, прекрасное чтение, когда приходишь домой после восьми часов стояния у станка и еще часа в автобусе, а *два жидяева* — это он, которого за непростое лицо, естественно, определили в евреи, и слесарь по фамилии Жидяев: Костя запустил станок, забыв снять ключ, которым зажимал в кулачки болванку, ключ пролетел полцепа и расшиб горку уже выточенных Жидяевым деталей, тот бросился на него с кулаками, они сцепились, начальник смены спросил у наблюдавших, что случилось, и получил этот исчерпывающий ответ.

В последний раз — его командировка в наш институт закончилась, а подавляющее большинство тогдашних встреч и дружб устраивалось удобными обстоятельствами — он перебил меня в самом начале очередного монолога и сказал, что хочет предложить мне то, к чему пришел за восемь лет размышлений, начиная с пятого класса и кончая — он постучал по циферблату часов — вот этой минутой. Никак не в поучение, потому что «шумит, как улей, родной завод, а мне-то *ули, упись* он в рот», а чтоб самостоятельно обдумал.

В шестом классе, когда американцы взорвали атомную бомбу в Японии, на следующий день он пришел в кабинет химии. Химии в шестом не преподают, и, что найдет там Фаину, он не предполагал, а пришел, потому что бомба и химия состояли для него в той же связи, что пожар и ноль-один. Он постучал, открыл дверь — и к нему повернулись лица учительницы и нескольких десятиклассников, сидевших перед ней. Она сказала ему: посиди — и вернулась к тому, о чем они говорили прежде. Они говорили о взрыве атомной бомбы. Десятиклассники, казавшиеся ему такими же окончательно взрослыми, как учительница, спрашивали о горшке, который, по тайному слову хозяина, стал варить кашу, которую хозяин не знал слова, как остановить. Все они еще не отошли от только что кончившейся четырехлетней войны, с гибелью и разрушением свыклись, говорили — то самое, что хотел говорить Костя, — обдуманно и спокойно, и тень взволнованности и растерянности пробегала только по словам об их принадлежности к человеческой расе, неизбежной вовлеченности в ее самоуничтожение, о несвободе и роке.

Учительница не ободряла, напротив, говорила о неодолимости приближающегося конца времен, о бомбе как очевидном его симптоме и признаке, но и о защитном механизме *материи как таковой* — первое услышанное им ученое выражение — равно как и самой сложной и потому самой хрупкой ее природы, человеческой. Она прибавила, что множество достойных людей ждут или по крайней мере хотели бы ждать завершения времен без скорби и даже с радостью, многие яростно ему сопротивляются и стремятся бесконечно отдалить, большинство же живут, как могут.

Он все понимал, о чем она говорила, но часто отвлекался на висевшую над доской большую таблицу Менделеева. Когда стали расходиться, учительница подозвала его, спросила, что у него за дело, он ответил, что вот это самое, Хиросима. Спросила, где был во время войны. Здесь, в Ленинграде. С... кем, сказала осторожно. С тетей, мама умерла, отец пропал в самом начале. Ты был ранен — показав на ногу. Отморозил. Приходи, когда захочешь. А вы могли бы объяснить мне *систему элементов Менделеева*? Через полчаса он понял, хотя еще не мог сказать так, как говорит сейчас, что в мире есть великая гармония с абстрактным неразрушимым узором в основании, благодаря которому и в бомбе есть красота. И потом, задумываясь над чем-то, на любим, над чем задумывался, он вертел эту вещь так и этак и сам вертелся вокруг нее в сжигавшем его мозги желании понять, как она и как на нее спроецированы все остальные, непременно *все*, и отыскать в ней или через нее ту же, что в этом самом первом зоре, универсальность.

И вот что, по прошествии восьми лет, он может мне доложить, вот какое состояние дел представить. Есть Бог, есть мир, есть человек. Они состоят в отношениях, порядок которых наилучшим, по его убеждению, образом передан Ветхим и Новым Заветами, к которым он рекомендует мне обратиться как можно скорее, если я до сих пор этого не сделал. Система этих отношений всему находит место и всё объясняет в мире, человеку и Боге так же непреложно, как таблица Менделеева в мире элементов. Однако в системе, именно из-за того, что связи учтены и объяснены во всей, без исключений, полноте и исчерпанности, есть один минус, который, в общем, сводит ее на нет. Это не пресловутое наличие зла, боли и смерти, противостоящее добру, счастливому покою и жизни, а принципиальная невозможность включить в систему некоторые — и весьма существенные — вещи. Свободу — без поправок и разъяснений, какова она должна быть и что значить. Не причиняющее никому вреда неследование правилам системы, как то: неподдерживание глупого разговора, хотя бы собеседник и был им заинтересован, название вещей их именами, то есть тупого и пошлого человека тупым и пошлым, подлости подлостью и так далее.

В основании этого противостояния и подрыва системы лежит, по его и не только его догадке, такая неоспоримая и каждому в той или другой степени знакомая вещь, каковой является эрос. Приравнивание его к похоти, скотству или разврату, тем более к инстинкту продолжения рода — просто передергивание карт, он ни то, ни другое, он есть он и ничего больше. Вот это, чем занимаются до кругов под глазами. Единственное, что система может найти против него, — это что в то время, которым властвует, он не дает думать о Боге. Ибо забвение Бога превращает самую жизнь в существование белковых тел, как справедливо заметил один поверхностный философ. Однако Бог-то сам и допустил эрос. Сведёние же этого противоречия — как и всех других — к цепи происшедших когда-то событий, к Адаму и Еве, к Деннице и истории Иова как торговле дьявола с Богом, к Вавилону и проч. и проч. означает, он должен признаться, торжество мифа. Он в него верит, но это не значит, что так и есть, — а ведь формула «я верю, но это не значит, что так и есть» и составляет определение мифа.

Что касается следствий, то, разумеется, во всех, кого он, не колеблясь, называет тупым или пошлым, хотя и не любит как человека, присутствует Бог. Но Бог не может быть тупым и пошлым, и поэтому он не оскорбляет Его — точно так же, как Бог не может быть злом, и, называя зло злом, никто не касается Бога. Тем более что Бог и сам дает ему образец отношения к человечеству, когда говорит, что только остаток спасется, семь тысяч из целого народа, а на остальных пусть упадет слепота и горбатость. Это Его, Бога, дело, а его, Кости, — только держать в голове, чему Бог его учит, даже если Костя не входит в число семи тысяч и вместе с остальной массой подлежит истязанию и гибели. А теперь до свидания, Толя. До свидания, Костя, буду думать — до скорого, надеюсь. Да едва ли, мы ведь с тобой от случая к случаю

друг на друга налетаем. А тогда скажи прямо сейчас: как ты у Фаины оказался дома? Зашел или взяла тебя к ним жить? Или брала на время? Почему? А? Да вот по этому самому, Толя.

Как это вам, Александр Павлович, а? Приходило на ум? Я, Толя, извиняюсь, только сперва: что такое эрос? Потому что слово читал и чувствую, но больше догадываюсь, и вполне вероятно, что неверно, и уж точно, что частично. *Эрос*? А это серый волк, оборачивается то добрым мблодцем, то красной дэвицей, хотя возможно, а по-моему, так наверняка, это добрый молодец и красная девица, которые на время, а точнее — выпадая из времени, оборачиваются серым волком с горящими глазами и дымной пастью, и тогда лес ни при чем и до небес нипочем, потому что один он: волк, эрос. Вы представьте себе: мне семь лет с половиной, война, мы в эвакуации, в Свердловске, в школу тогда шли с семи, я пишу, читаю, считаю, меня берут сразу во второй класс — зачисляю, но реальных мест нет, все переполнено. Маме говорят: отведите его пока в школу вон на горке, она чисто женская, там меньше народу.

Я эту школу знал, заметил еще раньше, потому что напротив жили Лауферы, и мы туда часто ходили в гости — родители с ними дружили. И я — нет-нет и остановлюсь у окна, когда конец второй смены и множество, множество изливается на улицу девочек, и девушек, снег, лампочка над дверью, два фонаря на столбах, и визжат, перекрикиваются, носятся, и всё их больше, толпа, и одни только девочки, девушки и несколько учительниц, одни женщины. Медленно стекают с горки, реже уже выходят оставшиеся, по-двое, по-трое, эти посерьезнее, о чем-то, наклоня друг к дружке головы, говорят, то и дело на ушко. А Лауферы в это время накрывают на стол, Марта Адольфовна и Оскар Морицевич, лампа под абажуром со стеклярусом — в их район с шести до девяти подается электричество, — белейшая скатерть, маленькие чашки с пастушком и пастушковой барельефом, серебряные ложечки — и с кухни вносится торт. Картофельный торт на сахарине, даже с кремом, заваренным на горсти отрубей, но соблазнительней всего — лепестки вареной моркови, скрученные ракушкой, и посередине, разрезанная по спирали, как роза, вареная свекла. Коммунисты, бежавшие от Гитлера, венцы, не их было учить, что такое *эрзац*. Ни про один торт в жизни я не говорил того, что про ихний, когда между отцом и матерью шел под горку домой: «Какой чудесный!»

Толя, Лауферы?! Погоди, да я же их...

Умоляю, Александр Павлович, не знали вы их, не знали. Не хватало только, чтобы еще и их. Не ищите фотографий, умоляю. Других каких-то знали...

Погоди: из Вены, австрийцы, от Гитлера, в Свердловске...

Да, да, да, но другие какие-то. Эти были архитекторы.

Они! Преподавали в строительном. Он еще пел...

Преподавал. Пел, тенорком. Мой отец баритоном запевал «Нелюдимо наше море», Оскар Морицевич подтягивал. Потом уже он «Вер райтет зо шпет дурх нахт унд винд», а отец — «Кто скачет, кто мчится под холодной мглой». Он, но не тот. Лауфер, а ваш, может, Тауфер.

В общем, идем мы с мамой в школу на горку. Я все время чувствую, что меня *ведут*, подсознательно — что я предопределен в жертву. На горке есть места только в старших классах, и меня определяют — *пока* — в десятый. Маленького, худенького, с мешками под глазами — в десятый класс женской школы! Я как цепенею от ужаса: огромные, спокойные, парами, уральские телушки двигаются вокруг, с нависающими грудями, тяжелыми ягодицами, коленями, косами. В то же время от них исходит теплый, кислотатый, дразнящий ноздри дух теста и еще не знакомого мной непосредственно, извлекаемого из прапамяти овина, закута, новорожденного ягненка, пробуждая ощущение сродное голоду. Не того реального, в котором мы тогда жили, грубого и болезненного, а сопровождаемого неотвязной мыслью о сладком утолении. По несколько раз в день я принимаюсь плакать — как затравленное животное, но те же слезы и греют мне сердце непонятым, чарующим, ласкающим жаром.

Когда через неделю я попадаю наконец в свой класс, в нормальной смешанной школе, я готов любить без разбору всех: в первый раз я — вместе с *другими*, со *всеми*. Половина были девочки, просто девочки: такие же как мальчики, только девочки. Я влюбился в одну, ее звали Муза, с бело-голубыми глазами и бело-желтыми волосами, хотя точно также мог влюбиться и в такого же мальчика. С соседкой по парте мы не поделили чего-то, и она сказала мне «жид»; еще не зная, что это, я сцепился с ней, инстинктивно — но это не испортило моей любви ко *всем*, которая включала и ее. Так вот, я думаю, что мой ужас перед десятиклассницами и одновременно уют, испускаемый ими, которым я мечтал окутаться как можно плотнее, и были — в нерасторжимой смеси — приближением к эросу. Как и то, наверное, что я влюбился все-таки в девочку, а не в ее брата-близнеца Дениса, еще красивее ее.

Ну а теперь: так приходило вам на ум что-нибудь вроде того, что Косте?

Приходило не приходило, а как будто я что-то такое знаю и, возможно, давно. И Костю твоего, думаю, понимаю. Дисциплина, всякий просит дисциплины...

А вы, к примеру, не из дисциплины пельмени неохотно едите? — так сейчас не пост, давайте я сметаны положу...

Никогда, Толя, признаюсь, не постился. За еду — никого нет в аду. Как говорят: в среду и пяток — сухоядение, в остальные дни — тайноядение. Я ем, что есть и чем угощают, поста от непоста не отличаю. А ты, вижу, отличаешь. Кто медную монету от золотой отличает, тот считается сребролюбец, так ведь? Так что ты, выходит, чревоугодник, а я нет. Шучу. Ты шутишь, и я шучу. Но со смыслом. Дисциплина значит, что в армии надо вставать по команде, а дома — как будильник себе поставишь, а на пенсии — когда проснешься. *Все* правила соблюдать — не дисциплина, а путаница. О Боге думай отдельно, а постные ли пельмени — отдельно. В деревне живи, как в деревне, в сортир на двор ходи, а в городе в ватерклозет. Сосед, который дверь латал, содрал с тебя лишнего, если по ценнику, но в деревне другая дисциплина, в ценник не заглядывают...

Согласен, Александр Павлович, что так и есть, и двумя руками подписываюсь, но не согласен, что должно быть. Мой сосед, который дверь латал, говорит мне: «Ты, Толя, раньше с нами по-соседски шутил, теперь «здрасьте» и мимо». А хочешь, отвечаю, я тебе сейчас главную шутку расскажу? Вон гляди на дверь. Знаешь, сколько с меня взяли? По-старому — триста тысяч! — «И ты отдал?». И рассказывает историю. Лексей Лексеич, у которого он дом купил, едет лет двадцать назад через ручей на велосипеде, вон там, из леса, и видит из кустов дымок. Соскочил, подошел поближе: «Ты, что ли, Михеев?» — «Не ошибся». — «Самогон гонишь?» — «Тебе зачем знать, попробовать хочешь?» Михей, между прочим, в твоём доме, Толя, жил. Лексей Лексеич на велосипед и в контору. Приезжает милиционер, тоже на велосипеде. А у Михея три трехлитровых банки, теплых, на лавке в ряд стоят и еще полведра. Милиционер говорит: «Ты что, спрятать не мог? Теперь по доказу в тюрьму пойдешь». И на два года в кашинскую. *По доказу*, Толя, потому что банки на виду оставил, а не *по доносу*. Здесь прейскурант другой.

То есть вашими, Александр Павлович, словами. Я ему говорю: а совесть? И оба смеемся, я, правда, без души — как в городе сказали бы, светски. Положим, зубровку ему, когда попросит, ладно уж, из Переславля захвачу, однако шутить с ним все-таки не буду. В *этом* году не буду, на следующий не зарекаюсь. Шутить надо, когда в сердце если не умиление, то хотя бы пусто. Прейскурант повсюду разный, одна и та же вещь не одно и то же стоит, но я везде одинаковый, и жизнь — моя и вся — она, сами знаете, целая, неразложимая, неразводимая по зонам. Без того, чтоб *всё* в ней было одно, *всё* сошло, жить не получается, по крайней мере у меня. У Кости. Хотя в том его возрасте, в *студенческом*, великолепно я жил в кусках, в осколках, в дюжине разных уровней, как в водевиле с быстрыми переодеваниями. Иногда задумывался, когда, перебегая из кельи в казарму, зацеплялся высунувшейся рясой за гвоздь, но на живую нитку тут же сметывал, и дальше.

В середине первого курса я тесно сошелся с Вадимом, по той же схеме, что когда-то с Митей. Мы сдавали лыжные нормы, в Автове, вдоль мачт высоковольтной линии. Десять километров, оттепельный снег, никаких мазей в помине. Вадим прибежал первым, ошеломив всех не первенством, а тем, что именно *прибежал*, обычным бегом, но по снегу и с привязанными к ногам лыжами. Оказалось, до этого ни разу на лыжах не стоял, не пришлось, родился и жил в Кисловодске, у матери, да и у отца в Горловке зим не было. Отец был перс — из Таджикистана, но записан в паспорте редкостно «перс», мать — украинка. Разошлись, когда Вадим был в допамятном возрасте, и никогда ему в голову не приходило, что это драма, и неудобства не чувствовал, считал, что так и должно быть. В его лице, зная о смеси кровей, можно было высмотреть скуластость, раскосость глаз, смуглоту, но все смягченное, так что физкультурник, нахваливая его, напирал на то, что «Вадик настоящий русский парень с волей к победе». С волей к победе, с жесткими черными прямыми волосами и матовой кожей.

От него исходила абсолютная уверенность в том, что все преодолимо, лыжи, экзаменационные сессии, грипп, что безвыходных положений нет, а есть барьеры. На летние каникулы он предложил мне ехать с ним к его родителям. В Курске мы вышли на привокзальную площадь, потом, опаздывая, выскочили из туннеля с другой стороны поезда, в оцепление, нас похватили, но он вырвался с энергией, настолько превосходящей необходимую, что и меня зарядил без труда пересилить милицейскую хватку. Мы повисли на поручнях соседних вагонов, едва доставая носками до нижних, ушедших под двери ступеней, на повороте он показал мне жестом, мол, одну минуту, сейчас, и, действительно, через минуту изнутри вместе с проводником открыл мою дверь.

В Горловке нас встречали на вокзале его друзья, все по местной моде коротко стриженные с чубиками, и началась двухнедельная гулянка, водка — по домам, где закусывалась салом, и по ресторанам — рубленой капустой в уксусе. Утром собирались на асфальтированной баскетбольной площадке, и даже мяч был, и даже играли в двадцать одно: бросок от штрафной линии — три очка, после отскока от земли — два, от щита — одно, но через десять минут из чьей-то хозяйственной сумки доставалась бутылка, зеленый лук, буханка хлеба, броски становились все точнее, чувства друг к другу все горячее, пока спорт не становился неуместным. Я выигрывал чаще Вадима, это смущало и смешило его, он был сильнее, ловче, напористее, целеустремленней, но здесь требовалась меткость и, что важнее, обеспечивающее меткость чутье, то есть какое-никакое искусство, не заменяемое ни силой, ни напором. Опять Толька! — он хлопал мячом об землю, так что тот взлетал выше щита, — несправедливо! Искусство — троянский конь человечества!

Мы все время куда-то ездили, в «москвичах» и на трамвае. Трамвай был с опущенными окнами, мы садились в него, вывешивая на улицу ноги, вагон мотало и било на крутых поворотах, и мы что-то орали друг другу. Во мне, сколько себя помню, жило убеждение, что будет, как должно быть, и поэтому пусть же будет — убеждение глубокой, необдумываемой, дурацкой веры, ничего общего с фатализмом. Жара, трамвай без окон, крутой спуск, резкий поворот — не станет же судьба меня специально в это вставлять, чтобы угробить, когда настолько проще заразить дифтерией, уморить голодом, заморозить, сбить машиной. А если чтобы все-таки угробить, то ведь славно — под знойным солнцем, в красной раме открытого окна, в ветре и звоне, на крутом повороте, на стремительном спуске. С годами это убеждение слабело, эта вера улетучивалась, пока не сменилась верой не свободного смирения, а страха и подчинения, чаще волевого, реже охотного.

Отец Вадима на Донбасс приехал — так же как в середине 20-х перешел с отрядом басмачей из Ирана в Таджикистан — идейно: тогда — помогать бедным против богатых, сейчас — добывать для народа уголь. Но однажды, по случаю свадьбы друга, разделав барана, сразу был переведен из шахты в магазин, в мясной отдел, сперва на время, и так и остался мясником. Быть при еде — всегда и повсюду, а в Советском Союзе в особенности, значит быть с богатыми против

бедных, об угле тоже было забыто, обе идеи его провалились. Он говорил по-русски с экспрессией косноязычного и малограмотного человека, врачу, которому пожаловался на боли в спине к концу рабочего дня, а тот спросил, какой у него стул, ответил с достоинством: «Я работаю стоя». Его жена жарила огромные бифштексы во всю тарелку — точно такие же, как в Кисловодске мать Вадима, повараха санатория, и внешне и манерами и характером они были похожи друг на друга, так что развод и вторую женитьбу я представлял условными вроде сцены комедии масок.

В Кисловодске мы с Вадимом с утра уезжали на озеро, втискивались вместе с толпой молодежи, исключительно мужской, в разбитый автобус без дверей и долго волоклись сравнительно короткое расстояние. Молодежь была наполовину азербайджанцы, наполовину армяне, между собой они не общались, но все время громко по-русски шутили — для всех. «Жопёр, — кричали шоферу, который за перегородкой и из-за рева мотора их не слышал, — где твоих лошадиных сил?» — и остальное в этом духе, лишь бы сказать «жопёр». В озере почти не плавали, барахтались на мелководье, намеренно уродливо, опять чтобы рассмешить. На берегу была толкучка, все казались стройными, все низкорослыми, длиннорукими, тонкокостыми, никто не садился, стояли группами или группами передвигались бесцельно — под белым палящим неподвижным солнцем: легкие безлистые деревца, без усилий выдергиваемые из земли, кустарник бездельников в дантовском круге, айд безделья. Возле считанных, непонятно откуда взявшихся женщин клубились спирали, ближе к центру претенденты с большими шансами, дальше — приподнимающиеся на носки, чтобы что-то увидеть, орущие, как в автобусе, дико возбужденные — жуть безделья.

Под вечер шли в парк, играли в волейбол, бродили по аллеям, мы с Вадимом говорили, в основном, про то, что сию минуту попадалось на глаза, но постоянно были вдвоем — этого хватало, чтобы чувствовать дружбу, это и была дружба. Женщин гуляло уже как обычно, девушки держались напряженно, смотрели мимо или насквозь. Когда темнело и зажигались фонари, танцплощадка брала на себя функцию озера, танцевало несколько пар, вокруг густо стояли компаниями молодые темные мужчины в белых рубашках, чем дальше от центра, тем разреженней, но везде. Однажды мы побежали на крики, и со всех сторон побежали, оказалось, азербайджанца пырнули ножом, то ли свои, то ли чужие, армянин, окруженный сгрудившимися товарищами, кричал: «Инч данак?!», к нему рвались товарищи пострадавшего, у тех и у других правая рука была в кармане, левая согнута в локте и выставлена вперед, те и другие испускали глухое, явственно слышимое урчание, одни бормоча «данак», другие «бейбут», а в кусты отползал, держась за бок, парень, им никто не занимался, поворачивали голову на миг и сразу обратно, чтобы не пропустить начала резни, в которую, впрочем, всерьез не верилось. Подлетел газик, из него посыпались милиционеры, все бросились врассыпную.

Назавтра и несколько следующих дней я порывался виденное обсудить с Вадимом, но ничего осмысленного у меня не выговаривалось, а он и вообще не понимал, о чем тут рассуждать. Он взял в библиотеке «Героя нашего времени», до того пропущенного лишь через школьную идеологическую призму, и, наново прочитав, сказал, что если бы кто и заинтересовал его, попади он в ту компанию, то не только, разумеется, не Грушницкий, но и не Печорин, а сам Лермонтов, потому что вот кто ни в малой степени не занят собой и своими представлениями о вещах и людях, а смотрит на них почти так непосредственно, как смотрит объектив фотоаппарата, поставленного снимать рост растений. И что попади в наше время из того хоть Пушкин — самый реактивный и готовый войти в любые обстоятельства, — даже он так и останется Пушкиным, попавшим в наше время, а Лермонтов, переоденьте его и чуть-чуть измените фамилию, на какую-нибудь Вермутов, и вон он идет по улице. Кстати сказать, мать назвала Вадима Вадимом, чтобы что-нибудь сделать в честь Михаила Юрьевича, — Кисловодск, погиб поэт, Демон и Тамара, — хотя первоисточника никогда не читала, просто знала, что есть такая поэма.

Я к тому времени уже имел первое понятие о складывании слов и заметил, что сочинять — и, стало быть, думать, ибо сочиняешь, одновременно или даже с четвертьсекундным опережением сочиняемое *думая*, — так, чтобы выглядело как записи показаний фотоаппарата, выйдет вдвойне изощреннее, чем следуя собственным представлениям и замыслу, потому что сперва переводишь рост растения с языка травы на свой, а потом свой перевод обратно на язык растений. Вадим ответил: «Мудрёно. Если писать, как думаешь, то как думаешь, так и пишешь. Видишь желтеющую ниву и пишешь «желтеющая нива». Лермонтов тем от всех и отличается, что у него *идей* о творчестве, о месте поэта, о роли человека не было. Или были, но в десятую очередь. Как у Шуберта: «примером служит нам вода примером» — не идея, а то, что он в восторге от графской дочки».

Когда много позже Митя и Костя по отдельности спрашивали меня, что я находил в Вадиме, что так тесно и долго с ним дружил, я рассказывал про Лермонтова. Митя сразу сказал, что он, очень возможно, и прав, если иметь в виду шотландские, то бишь кельтские лермантские корни, ибо от джентльмена, что бритта, что скотта, непременно требовалось умение ездить верхом, стрелять из лука, слушать собеседника и — писать. Косте, которому я передал и это Митино соображение, передал как шутку, отозвался: «И требуется». Он переписывался с английским коллегой, потомственным лордом, так вот, его письма и письма того же Байрона как будто вышли из одной писательской конторы.

И еще одно я им рассказал, только одно, ничего больше не мог найти такого, что объясняло два года нашей безоблачной и еще год начавшей подергиваться легкими облачками дружбы. Да и это объясняло не слишком-то убедительно. На третьем курсе Вадим однажды подошел ко мне на перемене, попросил не уходить после занятий, не дождавшись его, и, так подготовив к особости предстоящего разговора, объявил, едва мы свернули на Загородный, звонко и нервно, как «знаете, я выхожу замуж», — что решил вступить в партию. Это было для меня — и я думал, для него тоже — как объявить о переходе в канибалы, в этом роде. Так это было для меня, но при этом вступающий был Вадим. Я сказал: «После *доклада?*» По факультетам уже прочли доклад Хрущева на двадцатом съезде, про пытки и лагеря, массовое истребление, паранойю Сталина, про то, как Берия помочился в лицо поставленному на колени Алеше Сванидзе.

Он, жестко улыбнувшись, отчеканил: «Как говорили при царе — ради Бога, без громких слов! Ну, плохо лагеря и террор, ужасно лагеря и террор. Да всё на земле плохо и ужасно, и христианство, и сотворение мира, как они в конце концов случились, — а Иисус хорош, а замысел хорош. Вообрази, что это не Ленин-Сталин сказали: «Власть рабочим и крестьянам!», «Коммунизм — наше будущее!», «Миру — мир!» — а Христос». — «Он бы так не сказал». — «А мне и нужен кто-то, кто так бы не сказал, не запятанный, не реальный — Сократ, Заратустра, Джордано Бруно, пустынный, про которого, кроме этих мудростей, ничего не известно. Отец хотел реализации идеала, а рубит свинину и свиной зарабатывает, и не худо, но идеал остался, причём и в отце остался, мне его обвинить не в чем. Я собираюсь жить, а не думать, а когда думать, то о том, как жить, а не о том, как я живу».

Тогда всё очень быстро менялось, в один момент, от недели к неделе уходило на тридцать градусов, на девяносто, на сто восемьдесят — как потом, по прошествии полжизни, через треть столетия, в перестройку и гласность. Выбрали новый комитет комсомола, факультетский, за ним всеинститутский, с живыми глазами, с нормальным смехом и без скрежетания зубами — как *мы*. Вадим стал заместителем секретаря. Необъяснимо повысилась, на семь десятых балла, успеваемость, футбольная команда вышла в высшую лигу, хор выступил в Белграде, и никто не остался. Дело шло по нарастающей до самой венгерской революции, потом Центральный Комитетдохнул, завыл и пошел ледяным ветром выжигать душу. Из Смольного скомандовали переизбрать бюро комитета, сперва главных. На ночном собрании все члены комитета проголосовали против при воздержавшемся Вадиме. Его и секретаря *вызвали, поговорили*, тому разрешили уйти «по собственной просьбе», секретарем стал Вадим. Оба ходили по ин-

ституту с темными лицами, Вадим на занятиях теперь не появлялся, стал «освобожденным». На полминуты остановился, встретив меня в коридоре, быстро сказал: «Ты прекрасно знаешь, что я на это пошел не ради карьеры. Это оптимальный вариант и для него, и для дела. Я не худший, чем он, секретарь. И не жди, что я буду рвать на себе волосы: на переживания у меня нет времени, а и было бы, не вижу, о чем переживать».

Узнаёте, Александр Павлович? Не узнать, Толя, нельзя. И не потому, что ты думаешь: дескать, два сапога пара. А как слепой, которого Иисус исцелил: видишь ли что? — туманно, людей как деревья — а откуда он знал, слепой, как деревья выглядят? Знал. Деревья и на Марсе деревья, и такие, как твой Вадим, тоже — невозможно не узнать. Жизни нужен порядок, а их, порядков, на выбор — раз-два обчелся, и оба третьего сорта. И мы ведь не без головы в активисты пошли, не сразу и даже, наоборот, сразу-то *не* пошли. Когда Сталин над Лениным клятву давал, я, как и ты, институт кончил, свой, строительный. А Генрих? Политехнический, правильно. Петр — лесотехнический, тогда еще академию, Андрей и Марк — путейский. Все инженеры, а не комсомольцы-добровольцы, как в песне. И я вовсе не за Сталина был, мой отец его иначе, как чистильщик сапог, не называл. Тогда никого еще за просто так не сажали: он чистильщик, сказал отец на собрании, когда к нему молодые и ранние приступили, а я наборщик, что тут такого? Он мальчиком в типографию пришел, типографские были интеллигенцией среди рабочих, разницу, и что тут такого, каждый понимал, и в двадцать восьмом подмели папашу за связь с эсерами.

Я, что такое любовь, сейчас уже не скажу, потому что сейчас мне всё примерно одинаково, всё вроде, люблю и без всего могу обойтись. Но память кое-какая осталась, скажем, о том, как мне нравилось в молодые годы мое собственное тело, восторгало иногда совершенством своим, умелостью, пригодностью запросто исполнить желаемое. И сейчас нравится и до нежного чувства доводит, но уже из-за признательности ему всей оставшейся душой за долгую, изо всех сил работу и из-за жгучей жалости, что изнашивается, ноги не ходят, глаза не видят, почки не сопротивляются. И та любовь с этой нынешней, так сознаю, что одной природы. Только тогда любил много всего, с каким-то шальным разбором, это почему-то да, это почему-то нет, а сейчас — *всё*, вообще без разбора...

Так-то, может, и так, Александр Павлович, но в стариковское «люблю» много чего намешано. И равнодушие — как сами говорите: могу любить, могу не любить, в общем, всё равно. И безвыходность: поздно уже не любить. И печаль — расставаться с местом, к которому привык, как после отпуска на Клязьме...

Да нет: когда сравниваю, то хотя чувство отупело, смерзлось, нынешнее «люблю» гораздо, уверяю тебя, Толик, ближе к молодому, чем к тому, какое распоряжалось мной полвека между тем и этим. И отца я любил-не любил, как ты посмотришь, не знаю, но самому этому слову счет веду только от отца...

А я от бабушки к дедушкой. Но главное — счет чему? Детское «люблю», юное, теперешнее и это полстолетнее промежуточное — их же не по чему сравнивать. Пилат говорит: «Что есть истина?» Смотрит на пророка, а вообще-то на Бога, слышит от него: «Я истину говорю», — и спрашивает: «Что есть истина?». Не потому, что он такой противный, Понтий Пилат, неверующий и циничный и для него истины не существует, а — нет, для него — для мальчика истина было одно, для отрока — другое, но опять истина, для мужа — еще другое. Его слова можно понять и так, что один ты, господи-сусе, знаешь истину, но я-то не ты. То же самое и любовь. Я бабушку с дедушкой увидел только перед войной, они в Риге жили. Вторых у меня не было: дед раньше умер, а бабка, хоть и за стеной жила, но тянуло от нее мраком и холодом. И, конечно, я этих полюбил: добрые, теплые, и диван у них мягкий, и кресла.

Это ближе к старикам, если любишь кого-то, то получаешь от своей любви удовольствие и радости все равно, любят тебя или нет. А почти всю жизнь, с детства и до зрелости, любишь страшно эгоистически, не замечая, как тебя-то любят и что, в первую очередь, именно и любят тебя. А тебе одно только видно: что *ты* любишь, *ты*, а что тебя — само собой, как хорошая погода. Погода тог-

да стояла прекрасная, две недели я: «бабушка-дедушка, дедушка-бабушка», — потом началась война, мы с мамой чудом уехали, а их сперва в гетто, со всеми тетушками-дядюшками, которых я тоже под одну любовь с ними полюбил, и восьмого декабря расстреляли. Расстреляли и расстреляли, мне, когда пришло известие, да еще не точное, исполнилось семь лет: были — и не стало, да и были милолетно, а расстрел — абстракция.

Потом, лет с семнадцати, — нет, реальность. Но с семнадцати жизнь начинается, а всё, что до, — раз навсегда назначенные предварительные условия: мама, папа, школа, Ленинград, ботинки с галошами и — без дедушки, без бабушки. Остался один бабушкин брат, лысый, пухлый, ласковый: мамин дядя, *дэйка* — как напоминание. Потом — немцы; немцы их расстреляли. Но я к *немцам* мстительных чувств не испытываю, больше того: я их — *прощаю*. Я их, почему бы не сказать, в каком-то смысле люблю — потому что *прощаю* же. Я. Не бабушка с дедушкой, не родная дочь, а я — продолжительностью в две недели их обожаемый игрушечный внучок. Бабушку с дедушкой, конечно, люблю по-другому, люблю все сильней и острей — и как бы возвышенной на фоне полуидейной, но и полулюдской все-таки, любви к немцам.

Потом мне пятьдесят с чем-то — примерно сколько было им. Я на целый год в Англии, в Оксфорде, у меня ключ от маленького парка, от парка побольше, пропуск в сад Колледжа Магдалины и на луг Колледжа Крайст-Черч, и все эти аллеи, цветники и поляны напоминают не то чтобы Ригу, которую я, уже назевая взрослым, освоил, а то мое предвоенное впечатление от нее. И к этой густой, в солнечных пятнах зелени присоединяется неожиданно проявившаяся английская родня, внуки бабушкиной сестры, эмигрировавшей в начале века. И мой троюродный кузен Натаниел — вылитый дэйка, да и все они *похожи*: на расстрелянных тетушек, дядюшек, родных, двоюродных. Мы время от времени видимся, пьем чай, гуляем, и вот если это *в них* — в Натаниела и каждого из остальных, — в их пиджаки, рубашки, кожу и головы ввозможиваются шипящие пули, то это совсем другое дело, и никаких немцев я не *прощаю* и не только не люблю, а не могу про них думать.

И, наконец, месяц назад лечу в Иерусалим, в первый раз в жизни. И пока получаю визу и билет авиакомпании «Трансаэро», заказываю такси до Шереметьева-1 и вообще подгоняю расписание жизни под срок отлета, мысль, дикая, но неотразимая, заходит в сознание, что я там их всех убитых встречу. Самолет снижается, и, едва показалась на горизонте линия берега, что-то толкает меня в сердце, что так и есть, а если реально и не встречу, то по особому стечению обстоятельств: не в то время приехал, не найти адресов — в этом роде. В один из дней качу автобусом в Тель-Авив, дохожу до Яффы. У арабов накануне был праздник, жертвоприношения — Авраамом Исаака, Ибрахимом Исхака, теперь ритуального барашка. Сейчас они сидели семьями на каменном берегу над морем и жарили шашлыки и кур на вертеле. И тут я ловлю *мгновение* дедушки-бабушки и всех их! Яффа пыльная, шумная, тесная. Армянская, арабская. В рыбной лавке, черной, если заглянуть с солнца, во льду лежит еще дышащая рыба, в мясной — румяная телятина, жемчужные цыплята, и все-таки садятся мухи и вытекает на тротуар липкая струйка, желтая из рыбной, красная из мясной. Жарко, влажно, дышится тяжело. Почему в двадцать пятом году бабушка, приехав с тремя дочерьми, включая мою мать, вслед за дедом, уже открывшим здесь небольшое дело, и заставила его через несколько месяцев вернуться в Ригу. В этот зной попав, эту речь услышав, грязь увидев, камни, вонь, песок, увезла всех обратно в Европу, пусть лимитрофную, но прохладную и чистую. Вечером, вернувшись в Иерусалим, звоню восьмидесятилетней подруге своей матери, рассказываю. Да, говорит та, твоя мама всю жизнь повторяла: «Что она думала, когда их вели на расстрел?» Только ты спутал, они приехали тогда не в Яффу — в Хайфу.

Ну, и какая мне разница? То, что для них составляло существо жизни, повседневной, а какая еще она бывает? — для меня неважная деталь. Потому что сейчас, в дни, до которых мы с вами дожили, никаких родственных зависимостей

больше нет, твои дедушки-прадедушки никому не интересны, разве что одному тебе, и то как домашняя экзотика, точка приложения сентиментальности. Ты от них не приходишь, ты даже от собственных родителей приходишь, главным образом, биологически, как пес, уже в полгода полузнающий свою мать. Семьи разбомблены, родословные невыносимы, как пересказ сна — но какой-то сверкнувший срезанным краем осколок вдруг дает знать, какого состава твой сплав. Например, в ту меру, в какую я еврей — не по паспорту, не по крови, а по Авраамову потомству, — это только из них: ни из мамы-папы — *ленинградцев*, ни из вторых дедушки-бабушки — *отсутствовавших*, я евреем не получаюсь, только из этих, расстрелянных. Так *когда* я их любил? *И как?* А вы своего отца? *Когда?* *И как?..*

Очень любил его, а когда — не могу тебе сказать. Как ты своих — не помню. Но очень — никого, кроме, может, одного человека, так не любил, мать сейчас по одним фотографиям вспоминаю, а отец... Не обращай, Толик, внимания, у стариков глаза на мокром месте. Да это и не из-за него одного, а вместе с твоими. Не обращай внимания...

Почему! Хотите, и я с вами от всего сердца всхлипну? У меня хоть к отцу и не так, не сразу любовь почувствовал... Да брось ты, Толя, рассушивать, родителей любят безо всяких фокусов, не любить их противостоит, и Фрейд твой преподобный мелок, когда объясняет всё через нелюбовь к ним, понял? Не ждал, что советский итээр про Фрейда скажет? А я, когда отца в Саратов — а потом под Архангельск, а потом к самому Архангелу — послали, в него заглянул. Тогда его «фрейд» произносили, и одно короткое время читать рекомендовалось, чуть ли не как Маркса-Энгельса...

И знаете, Александр Павлович, почему? Потому что при старой любви не построишь нового общества, любовь от любого *общества*, сами знаете, отвлекает. А Фрейд мой преподобный написал всё, что только можно представить, про *подражание любви*. Жуткие коллизии, драма на драме, но получается, что можно их *знать*, а не проживать и мучиться. Взял прочел — и убежден, что *знаешь*: эту женщину, *любую*, *всех*, как она будет *это* делать, почему, докуда дойдет ее удовольствие — никогда наслаждение! — почему и до чего дойдет мое, и так далее до — логически — что же такое любовь. Оргазмы, садизмы, фригидности, оральности — это такие овощи в зеленой лавке, из которых делают салат любви. Потому что всё, что в любви сверх того, этим оперировать не получается. А тут — полная ясность, причем для каждого, для всего земного шара. Как у вашего первоверховного Маркса: труд — капитал, прибавочная стоимость. И в конце концов земной шар исключительно рад-доволен, что понятию любви — заметьте: не самой, а «понятию» — великолепно удовлетворяет набор клиторов, эрогенных зон, анальных технологий, в которых каждому можно спокойно и холодно покопаться...

Но все-таки с учащенным дыханием...

Нередко да, с учащенным. А для той части, которая, земной шар видит, в «понятие» не помещается и которую его тянет называть поэтому «запредельной», или по-старому «страстью», у него есть блаженный Ницше. Тут — *Последнее*: смех над тем, что кто-то плачет, вызов смерти, бунт против замысла. Читаешь и автоматически подтягиваешь ко всему этому *свой* опыт тоски, унылости, капризности, заносчивости, «нет, весь я не умру» и прочее — как ребенок, который думает, что высшая математика это арифметика, только с миллиардами и триллионами. Так что мы, не прошедшие в свое время ни через Зигмунда, ни через Фридриха, потому что не было компании о них поговорить, а компании не сложилось, потому что велено было вместо них углубиться в Карла и в четвертую главу «Истории партии», не знаем этого ничего, а что знаем, до того дошли своим умишком, и, может, жаль, что не знаем, может, имеет смысл знать хотя бы для экономии времени — но зато и не знаем, чего не надо знать, чтобы не ходить по земле надменным верблюдом, рабом иллюзии, будто это реальность проживания, а не реальность всего лишь чтения...

Так ли, сяк ли, Толик, по счастью или по несчастью, а только Фройд у нас не отломилось, прожили *до*, вернее *при*, но *без* и запросто могли любить, кто хочет, папу, кто хочет, маму. И вот тебе арифметическая задачка — извини, что твой мозги трачу на такую простоту: тебе двадцать пять, и у тебя впереди еще сорок-пятьдесят; советской власти восемь, впереди, кажется, что тысяча. Вопрос: что делать? Людей — если по-старому — нет, а и встретишь — на два-три сорта ниже, чем такие же по-старому. Любовь устроишь, какую дадут, семью, какая выйдет, образования не получишь, карьеру сам не вытянешь. Людей нет — есть народ. Деревенский, белозубый, костистый, тягловый и тебе не чужой. Что скажешь, сделают. Не, как сейчас велят выражаться, под ключ, за собой не приберут, но сделают. А не скажешь, такого нашарашат, что гаси огни в топке. Тебе говорят: хочешь *дело делать*? хочешь *ими* дело делать? — слушайся нас. Не хочешь, сойди с дороги, дорога узкая, желающих много. Вопрос задачки: как быть? И, положим, талантов в тебе особых не заметно, но голова и руки на месте. А? Так едем на Челябинский тракторный или не едем? Я, ты, Генрих, Петр, Андрей, Марк. Вадим. Оптимальный вариант, я считаю.

В молодости дружить — так же естественно, как неестественно не дружить. Вадим у меня, я у Вадима на два года заполнили вакансии друга, еще год можно было без натяжки в этой дружбе не сомневаться. Дружба была ясная, честная, заинтересованная — в отличие от четырех-пяти других того же градуса и той же индивидуальной необязательности, но мутных, чересчур веселых, чересчур компанейских. Они были полны постоянной взвинченности, постоянного сговаривания о том, что делать завтра, летом, через час, поисков денег, чтобы немедленно выпить, внезапных поездок туда, потом тотчас обратно, телефонных звонков, бубновых и трэфовых дам из одних и тех же колод. Мы были преданы друг другу преданностью гуляк, гульба была первее дружбы. Мы все время виделись, нам было уютно друг с другом, но нас друг к другу не тянуло.

Мы были связаны видимостью самых крепких, тайных уз. Подруга одного становилась подругой другого, интимный друг оставлял свою пассиву ради ее наперсницы, все знали про всех всё, и антураж не менялся. Не менялись даже имена, в кругу десяти человек трое было Юр, столько же Ир. В середине дня раздавался звонок в дверь, Юра говорил: «Поехали», — я выходил на улицу, он сажал меня на заднее сиденье своего мотоцикла, мы мчались в Ольгино, в Лахту, в Лисий Нос, без шлемов, без защитных очков, различая дорогу как в тумане, ветер смазывал волосы сухим салом. Вдруг сворачивали в лес, начинали, почти не снижая скорости, скакать по корням и кочкам, мотоцикл вырывался из рук, нас выбрасывало из сидений, ударяло об ствол, об камень, боком, спиной, локтем, мы думали, что разбились, поломали кости, может быть, даже погибли, но, полежав, постоनाव, приподнимались, хромали к мотоциклу, ехали в город, по домам, и через час по телефону рассказывали друг другу об обнаруженных садинах и гематомах.

Дружбы — вольные или невольные зеркала, в которых, видя свое изображение так близко, дружащие делают постоянно — чаще бессознательно — выводы о самих себе и, соответственно, поправки, и это ведет в конце концов ко все большему сосредоточению на себе, все большему отходу от другого, от друга. «Он не я» может стать чуть не главным пунктом дружбы, и пристрастное, требовательное и наконец критическое отношение к другому именно поэтому таково. В это же самое время можно войти в дружбу с кем-то никем, пустым и негодим, к кому — а так как он случайный представитель мира, то ко всему миру — требований нет никаких. Кровосмешение, в которое мы бездумно окунались, смерть, с которой бездумно ходили в обнимку, сцепляли нас друг с другом, как молодых крепких зверей, но та часть души, которая оставалась человеческой, требовала подыскать и придать этому понимание возвышающее. И категорией *дружбы* она удовлетворялась вполне, находя ее уместной, естественной и не находя профанной — несмотря на то или именно оттого, что к этому времени уже знала о дружбе кое-что большее.

На втором курсе, в вестибюле, под часами, в толчее я увидел юношу с нежным овалом лица, крупными губами, золотистыми волосами, с прямой осанкой. Кто-то сказал: познакомьтесь, одним делом занимаетесь. Его звали Дима, Дмитрий, он учился на механическом факультете. «Одно дело» были стихи. Я писал стихи, потому что писалось, а хотел писать, потому что не забывал себя полнее, не готов был стать всех на свете слугой желаннее, не испытывал восторга, нежности, влюбленности сильнее, чем от звука чьих-то стихов, от «приближается звук», «плача над тобой», от «застигнут ночью Рима», «лысин бессилья», «муки и музыки», «неисцветшей прелести», «водяных бантов», от «я ехала домой, душа была полна неясным для самой каким-то новым счастьем».

Так ли чувствовал Дима, не знаю и тогда не знал, но первыми шагами, физическими, которые он сделал, когда мы вышли на улицу, походкой, осанкой, тембром голоса, манерой — немножко торжественной — говорить, всей повадкой он придал стихам, вызывавшим у меня обожание, статус *поэзии*. Он подставил опору под раму, которую я придерживал, заботясь, чтобы не упала, не зная, к чему прислонить, — конструкция стала выглядеть, как мольберт, набухать изображением, становиться картиной. Стихи откинулись поэзией, поэзия проявилась стихами. Он был первый поэт, которого я встретил в жизни, — я не могу даже сказать «кроме себя», потому что поэтом себя не осознавал: так, стихи, стишки, стихотворения — а он, всё, что он ни делал, не говоря о стихах, своих и чужих, которые читал, совершалось в пространстве поэзии, в ее силовом поле, не покидало поэзию ни на миг, ни на шаг. Это ощущалось даже избыточным, время от времени даже смешным в ничем не снижаемой серьезности, чуть ли не важности разговора, становившегося речью, походки, становившейся поступью, — что-то от моего представления о символистах. Но как раз по всему этому и жила во мне тоска, по отсутствию вульгарности, по торжественности, по поэзии как служению. Он курил, как поэт, у него была осанка поэта, пластика поэта, мерная жестикуляция, пальцы, взгляд, кепка, куртка из оленьей кожи.

На перемене, я спешил успеть в аудиторию в главном здании, в потоке вошел со двора в коридор, он, также торопясь, двигался во встречном, сказал, познакомьтесь, это Евгений, о котором я говорил. Крупный черный молодой человек, не останавливаясь, протянул руку, я, не останавливаясь, свою, на долю мига наши пальцы прижались, «Женя» — «Голя», и нас разнесло. Они учились в одной группе. У него были крепкие щеки, красный влажный рот, мясистый нос, тяжелый подбородок, но все это не составлено, а как будто вылеплено из мышц, асимметричностью наводивших на мысль о кубизме, — лицо с большими черными в длинных черных ресницах глазами, зрачки, глубиной наводившие на мысль о начале века, когда красавицы и наркоманы капали себе в зрачки атропин.

Поэзия как теургия была ему скучна и чужда настолько же, насколько вообще теургия. Да и поэзия как поэзия не больно интересовала. Ближе всего была поэзия как мастерская, где сквозь письменный стол проступает верстак, и внешне он походил на средневекового ремесленника — напрашивался кожаный черный передник. О стихах говорил всегда впамят, точно, резко, играл и отчасти стилизовался под Рембо, Виллона и — как непосредственного предшественника — Багрицкого, который сам под них стилизовался и играл. Слова в его собственных стихах были конкретные и постоянно сдвигались относительно своего первично объявляемого смысла — как мышцы змеи, которые, оставаясь на месте, напрягаются-расслабляются, и все тело ползет.

Я полюбил того и другого, не разбираясь, потому ли я люблю их, что они мне нравятся и я знаю и чувствую, что они любят меня, или они мне нравятся и в придачу любят меня, потому что я их люблю. Я полюбил их улицы, Димину Таврическую вдоль сырого темного сада, Женину Красную, Галерную, булыжную, по ту сторону от площади Труда, ближе к черному мазутному каналу; их подъезды, Димин крепкий и даже с крошечным лифтом, Женин облупленный, но не без шика выставивший по бокам от парадной двери каких-то кариадид, заплывших ремонтной краской; легкие марши лестниц. И комнаты, Димину сразу налево от входной двери, узкую, с окном во двор, аккуратную, «собственную» в родитель-

ской квартире; Женину, в глубине коммуналки, тесную, выгороженную из маминой, с большим письменным столом. Похожие, купленные у букинистов или зажиленные в библиотеке книжки, картинки приятелей на стене, у Димы — рапира, вскоре подаренная мне.

Я полюбил Диминого отчима, морского офицера, полнокровного, веселого, легкого, и няню, с острым языком и ироническим взглядом, с приписанной няням от века симпатией к друзьям их воспитанника, но подсолонной здоровым скепсисом к соображениям и фантазиям и воспитанника, и друзей, а затем перенес свое чувство на его мать, более строгую, не пускавшуюся в долгие разглагольствования с *молодежью* о предметах горячо и туманно объясняемых. Мать Жени была уверенная в себе, статная женщина, чуждая сантиментов по отношению к друзьям сына, если и отличающимся от сотен оболтусов, которых она в нашем институте обучала немецкому языку, то в худшую, принципиально уводящую от *учебного процесса*, сторону. Я вынужден был держаться на дистанции, установленной ее индифферентной доброжелательностью к ну еще одному, двум, если считать Диму, амбициозным мальчишкам, но, наблюдая Женину привязанность к ней и трогательные вспышки заботы, в душе автоматически копировал их. К отчиму, среднестатистически красивому мужчине, который ни разу не сказал ничего, что было бы неприятно слышать или хотя бы призывало к обдумыванию, испытывал умиление.

Для такой дружбы, юношеской, пылкой, не требовалось благополучных условий: парк вокруг дворца императора, по которому гуляли Августин с единомышленниками, афинские академии и симпозионы были вовсе не обязательны. Обязательной предпосылкой и условием являлась одаренность, не только та ярко выраженная, какая была у Димы и Жени, а та, испытанная мной впервые в дружбе с Митей, что присуща юности по самой природе юности. Ибо юность и есть одаренность, талант, уникальная награда жизни, сколько бы чего впоследствии ни говорить о ней как о помрачении ума, лихорадке, как о чем-то даже «жалком», какие бы почести ни воздавать самым очевидным преимуществам старости.

Любить Диму и Женю, порознь и обоих вместе, доставляло мне радость и наслаждение более вещественные, чем радость и наслаждение от поэзии, правда, этой вещественностью сколько-то и снижаемые. В определенном смысле это и было одно и то же: наши слова друг другу, размеренность и зигзаги прогулок, события в жизни одного, принадлежащие, как оказывалось, в равной степени и двум другим, наши темпераменты и внутренние энергии, свивавшиеся в общую спираль, были одной сущности с поэзией, поэзией, которая оформилась в строчки еще до нашей встречи, таинственно меняла форму во время и заново оформлялась после нее. Я видел свое отражение в них, как в стекле, сквозь черный блеск которого с другой стороны ломится пейзаж — или интерьер — общий нам троим; и себя ощущал таким же стеклом одновременно окна и фотопластинки, на которое ложится пар от их дыхания и голосов — с окна улетучиваясь, на пластинке запечатлеваясь.

Когда через четыре года появился Иосиф, возможно, дружба достигла полноты, повысилась ее температура, но характер остался тем же. Влюбленная восхищенная улыбка или, наоборот, внезапно встревожившийся, напрягшийся, темнеющий от тревоги и скорби взгляд Иосифа почти физически передавали истаивание его сердца в нежности. Нежность друг к другу шла не приступами, а длилась — у него она могла длиться без конца. Никогда мы в случае нужды не просили один другого помочь, потому что еще раньше спрашивали, чаще же догадывались, что кому нужно, постоянно были наготове опередить желание другого. Наше чувство друг к другу включало в себя заботу, но никогда озабоченность, каждому хотелось, чтобы у другого *шло*, а будет это идти в разнообразных, кому-то принадлежащих, но всегда мгновенно тобой осваиваемых и тем самым уже *твоих*, ленинградских комнатах и нужно ли для этого вовремя сдать зачет, чтобы удержаться в институте, — или на Камчатке, если тебя исключили, как Женю; в геологической экспедиции в Сибири, если тебя туда, как Иосифа,

затянуло; в котельной, если как Диму; в ядовитом цеху в ночную смену, если как меня,— нас не занимало.

«На первом месте я люблю маму, на втором Диму»,— подражая детским заявлениям, говорил Женя, и то же я мог сказать про обоих, и похожее о себе слышал за спиной от них. Любовь к другому — которую Иосиф способен был довести до обожания — и вызывалась, и выражалась незаинтересованностью в себе столь же глубокой, что и заинтересованность в каждом из трех остальных,— и открытостью каждого остальным. Незаинтересованность в себе не опровергали ни амбициозность, ни нервирующие мысли о публикации и успехе, ни тщеславие, которые присутствовали чем-то вроде хронически воспаленных гланд, ленинградского *катара верхних дыхательных путей*, скучного, бездарного, тебя нисколько не украшающего, увы, неизбежного. Не опровергали, а еще и усиливали: какой может быть интерес к носителю этих ничтожных качеств, тем более на фоне великолепных качеств остальных? В открытости же всё это было не: не-публикация, не-успех, недовольство — доходящее до неприязни — собой.

Моя дружба с ними подходила под самое высокое требование, укладывалась в самый высокий принцип, предлагаемые дружачим: быть готовым отдать за други душу — не потому чтобы мысль о жертвенности приходила мне в голову, тем более в таких словах, а просто потому что сама жизнь поднималась до своего лучшего содержания, когда она была жизнью с ними. Отдать свою душу за други своя означало не больше и не меньше, как вернуть им то, что у меня было *от них*. Чувство счастья, которое я испытывал, находясь с ними, основывалось на сознании — если только это осознавалось, а не ощущалось — того, что *так должно быть*: не — так *должно быть*, потому что я к этому предназначен, или заслужил, или кто-то мне обязан, а вообще на земле, в самом лучшем случае должно быть именно *так*.

Чувство счастья было всецелым — без червоточины, которую замечаешь при поздней оглядке. Это потом, когда душа понемногу изранится и покроется корочкой, хочешь объяснить себе такое странное единение совсем разных и самодостаточных людей и тогда отыскиваешь в глубине его еще и молодой жадный инстинкт, то ли в самом деле бывший, то ли примерещившийся, все большего накопления энергии — каждого за счет других, всех за счет каждого — энергии творческой, в чем бы, хоть и просто в самой молодости, творчество ни заключалось, но и в конце концов разрушительной. Она разгоняет самое себя, пока поглощающая ее привязанность друг к другу не достигает критической массы, и, чем мощней были притяжение и заряд, тем сокрушительнее все идет вразнос. В том, что Женю унесло аж на Камчатку, когда не только не пахло распадом, а, наоборот, дружба еще только сплывалась; что все мы ходили с рюкзаками по северу и средней полосе, но Женя по мещерским местам, Дима по каргопольским, а я по владимирским и псковским; что нас всех влекло в Ригу, в Вильнюс, в Таллин, но всех *по очереди* — можно, при желании, видеть аллегория будущего разброса, но ведь задним числом. И аллегория, а никак не симптом.

У этих задним числом анализов и диагнозов тот же механизм, что у готовности, когда душа понемногу поистаскается, встретить и допустить до себя мысль, что всё может быть и не так, а значит, и могло, а значит, и не должно. Детская считалка есть: шла девица темным лесом за любовным интересом, инте-, инте-, интерес, выходи на букву эс. Главное слово — девица и любовный. А после детства втискивается грязное содержание и только оно, я и сам готов ему поддаться: скажешь что-нибудь вроде «девочек в чулочках» и сразу, уже самому себе,— *а, ну понятно*, или «ритм руки» — *а это не про это самое?* Дескать, половое созревание, затем встреча с практической жизнью, они всё такое и надиктовывают — через ушко, предварительно анестезированное медовым говорком какого-нибудь сластолюбивого старца-писателя. И в итоге — и «любовного» мельче и бесталанней, и «девицы», и особенно «руки». Но итог такой годам к сколькí, Александр Павлович, подбивается — к двадцати пяти, к тридцати, да?

Позднее, Толя, позднее. К двадцати пяти—тридцати, это верно, начинаешь жить, вот как ты сказал: то так, то наоборот. А уж к сорока—пятидесяти подво-

дишь философию: можно любить, а можно и не любить — всё жизнь. Принимаешь сперва, что жизнь — грязь и, мол, ничего в том плохого: хоть и марает, так ведь и картошку растит. А потом и самое грязь принимаешь. Бабка бабке в подъезде покажет на парочку, говорит: вон эти двое быстренько уже переспали друг с другом. И ты смотришь и думаешь спокойно: переспали, точнее, *возможно*, переспали. А парочка — девочка и мальчик, которые, может быть, такие самые, как ты в те года, когда *невозможно* было, чтобы переспать. У меня, Толик, друзья молодости были другие, артистических натур не было, а может, были, да я не раскусил, но отвечу тебе коротко: я на них смотрел — тогда, в молодости, — как на драгоценности.

Костя лет на семь начисто исчез с горизонта, нигде его было не видно-не слышно, иногда мимолетно он мне вспоминался — и вдруг позвонил. За эти семь лет я прожил, как теперь вижу, девять десятых моей жизни, то, что называется «мое, наше время», то, в которое живешь, не замечая, что живешь, и узнаешь, не замечая, что узнаешь, мое единственное «сейчас» — за которое я узнал девять десятых всего, что, тридцать с чем-то следующих лет постепенно понимая, что это было, теперь знаю. Мы встретились у входа в Большой Михайловский — сад, уточнил он добавочно, когда назначал встречу, не сквер — со стороны Спаса-на-Крови, пошли направо по периметру, по тем аллеям, на которых в школе сдавали беговые зачеты по физкультуре, от которой он был освобожден. «Просто захотел тебя увидеть. А заодно сказать, что упустил в тот раз. Пустяк». Попросил меня прочитать стихи, выслушал внимательно, сказал, что так, наверное, и должно быть: что когда кто-то, кого знал мальчишкой, оказывается, художник, музыкант, это неудивительно, вспоминаются предпосылки, а со стихами всегда абсолютно неожиданно и всегда чуть-чуть сомневаешься, что это, *этой*, и есть поэт. Спросил, такой ли Бродский из ряда вон, как о нем говорят. Я ответил, что полагалось, и сказал: «Теперь что-нибудь про Ахматову». — «Про Ахматову я всё, что мне пока нужно, знаю».

От цирка до Невского проехали на трамвае, пешком пришли на Малую Московскую, он остановился у двери со ступенькой вниз и сказал, что теперь тут живет. «С тетей. Не зайдешь?» Большая комната в коммунальной квартире, и дощатой оштукатуренной стенкой с треть отгорожено для него. Я сказал, что похоже на Иосифово жилье и на Женино, у Иосифа слышимость на ползвук меньше. «Не может быть не похоже, всем зодчий Росси строил». Спросил, правда ли, что Вадим, к ним в НИИ после аспирантуры прислали, мой друг, — так он говорит. Я ответил: в институте был, три года не виделись. «В институте был? Он ведь и в аспирантуру попал, и к нам по комсомольской линии, член партии. Как это вам обоим, не мешало?» Я сказал, что это отдельный разговор, да и долгий, пусть лучше он доскажет, что забыл в тот раз.

Так, оговорка, которую стоит сделать для полноты картины. В том, что он принимает жизнь, мир, творение как *систему*, всё само собой понятно, но в том, что вынужден ее опровергать, никакого Ницше нет в заводе. Никакого «ниспровержения Бога» и прочих вульгарных посленицшевских штучек. Потому что тут не требуется ни бездн, ни крайностей, ни даже выхода из рамок общепринятого. Ибо эрос-пиперос, невыполнение норм и правил и прочее в этом роде — в разной степени, сознательно или бессознательно, принято многими другими, весьма многими, если не всеми. Тут вообще ничего не требуется, ни рабства Богу, ни бунта против Бога, тут речь идет о практике жизни обыкновенной, заурядной, о естественных реакциях на повседневные, необходимые, находящиеся во взаимном раздоре вещи, и поскольку они естественные, то быть *требуемы* не могут. Это его, Кости, отличие от «философии отчаяния», «философии выхода за предел», о которой ему попала статья — как всегда в России, с опозданием на десять лет — в случайном польском журнале. Потому что у него нет *философии*, он не *любит мудрость*, не ищет, ему нет дела до мудрости, его цель и занятие — не мыслить, а выжить.

Он не догадывался, как близко, почти слово в слово, это было к выводу, которым добивал меня Вадим, когда оправдывал свою линию. Разница заключалась в том, что, выйдя из общей для обоих точки и придя к тоже общей другой, Костя сделал крюк, неизвестно какой протяженности, передумав и пережив то, что пережил и передумал. Путь проходил по ничейным местам, вступая на которые, никогда не знаешь, не заступил ли уже за границу, или до нее еще идти и идти, или шагаешь точно по ее линии. И если он видел, что Бог согласился на этот его, Костин, и всех на свете, и ничей эрос, не изничтожил его, а эрос, со своей стороны, в Боге ничуть не нуждается, *эротствует* сам по себе, без единой примеси, стало быть, и без примеси Бога, то Бог и эрос, а с эросом еще несколько вещичек, которые Костя перечислял, оказались в обособленных пространствах, и соединить их и тем самым привести в единство жизнь, которую ощущаешь и сознаешь безусловно единой, можно, за неимением ничего лучшего, хотя бы допущением или признанием того, что есть еще некая предвечная стихия разлада, берущая исток из *тьмы над бездной, когда земля была безвидна и пуста и Дух Божий носился над водой*, пронизывающая оба пространства. Хотя почему «хотя бы»? Непересекающееся сосуществование Бога и того, что не-Бог, минус-Бог, — драма убийственной и неизбежной любой представимой драмы, почему Костя и мог быть более приветливым, мог менее, но издевавшая его тоска ходила, говорила и жила вместе с ним, а иногда и вместо него...

«Драмы не вижу», — раздался — как грянул, как с мороза гаркнул — голос Александра Павловича. Никакой драмы, ни грамма. Я до того же дошел самостоятельно и давно это знаю. Вслух говорить боялся и, что сейчас говорю, извиняюсь: потому что — вдруг ересь? Лежит земля, по ней течет река. Левый берег — сатана, правый — Бог. Берега во всю вселенную. Оба реке так-этак свои плечи подставляют, поворачивают, но ни тот, ни другой не перекрывает. Дают ей течь. Заметь, Толя: не жаться к одному берегу, а по своему руслу свободно течь, куда воде течется. Ей дан чин стихии. Стихия живет сама по себе, и человеческая — тоже. Пример: я в последний раз понадобился обществу и государству, когда целина началась. Ввели меня в совет по жилстроительству Кустанайской области. Я, куда бы ни приезжал, хоть в однодневную командировку, первым делом — в каких условиях народ живет...

Александр Павлович, я, может, пойду, а? Я вам — до чего люди, надламываясь, додумываются, а вы мне про улучшение жилищно-бытовых, как по радио.

Понял, Толя, понял, мал-мала занесло. Всё, подробности пропускаю. Прилетел, осмотрелся, приняли резолюцию, моя подпись четвертая — улетаю обратно в центр. Заместителем председателя вербовочной комиссии — рассказывать, какой в степи строится город-сад. А там землянки, и степь — не степь, а пустыня. Сажают передо мной ребяташек, я им вру. На душе, конечно, паршиво, но не больше. Смотрю — крепенькие; бесшабашные; жизнь начинают. А начинать всё на свете надо, как песню: открыть рот, подать голос — потом подстроиться. Тогда по пять раз в день радио пело «Дальние края — станем новоселами и ты, и я» — и правильно, новоселами только и начинать! Что же получается? Я их соблазняя, ломаю ихнюю жизнь: ведь там и уголовнички, и дизентерия с тифом. Но я их и плавать учу в житейском море, подвизаемом напастей бурей. Скажи: бросает мужик мальчишку в воду, он захлебывается, тонет-всплывает, на берегу рвет и, может быть, плачет. Однако научается держаться на воде. Злой мужик или добрый? С человеконенавистником заодно или с Человеколюбом?

Ответ: сам с собой, ни злой, ни добрый. Я целинникам и черт, я им и ангел. А центральное чувство — что ни рогатый мной особенно не интересуется, ни Вседержителя я своей возней особо не отвлекаю. А то поставили досочку в клеточку, посередине я — пешка, ходят впритирку к ней белый и черный король, на случай, что один зазевается и отступит — а меня, пешки, как нет. А ведь я могу и ходить вперед, и бить вбок. Главное же, что я вообще не в шахматы пришел играть, а, скажем, в футбол.

Я и в хуже положение попадал, а чувствовал себя так же са́мо: что не обязательно, если что не хорошо, то и плохо, и если нет любви, то неприязнь и не-

ненависть. Я в сорок пятом году был в Эстонии, на приемке фабрики самоходных сенокосилок. Потому что по анкете я — специалист по тракторам. А оказалось, не сенокосилки, а кресла-каталки, для инвалидов. Кто неправильно перевел?! Концов не найти, вредительство налицо. Укажи, Александр Павлович, на виновных, и мы их *того*. И вообще: обстановка враждебная — выявляй и составляй список. Еле-еле уговорил обойтись без меня. Согласились, но подпись моя должна тоже стоять. Согласился и я — куда деваться?

Отправляем мы людей в Сибирь. Живу среди них — *тере-тере, топкое утро*, все симпатичные, ни они волком не смотрят, ни я на них. Потом подмахиваю, не глядя, список, четвертым опять номером, после всех — и через пару недель кого-то уже не встречаю. По большей части опять — крепких, нестарых. Ладно, думаю, не пропадут. А пропадут, думаю, так такое ведь устройство мироздания — и я могу не сегодня завтра пропасть...

Ну да, Александр Павлович, в старости и надзиратель себя объясняет, и расстрельщик оправдывает. Зло, как нам с вами известно, должно прийти, но, как нам с вами тоже известно, беда тем, через кого оно приходит...

Это, Толя, с правого берега так говорят. А вода течет сама по себе, собственной силой. Мне, как с правого берега говорят, лучше бы повесить жернов на шею — а ей вешать жернов не надо, она и так на дне. Пусть я надзиратель и пусть расстрельщик. Но ты согласен, что если четвертая подпись не моя, а другого, то все равно поедут ээсти в Сибирь? Я могу на них чихать, на левом бережку загорать, а могу от раскаянья пойти утопиться, чтобы меня к тому же левому бережку потом прибило, — это мое, как говорится, личное дело. Но они в обоих случаях — поедут. Вот я про что говорю. Александр-то Павлович не по ту сторону добра и зла, а очень даже по эту, зато жизнь всех вместе александров павловичей может оказаться и по ту: вот она — зло, вот — добро, а вот — ни то, ни другое, стихия.

Так что, правду сказать, не много я тогда в Вана Таллине об этом и думал: не думалось. И угрызений совести больших не испытывал. Паршиво — да. Паршиво, тоска, не хочется. Но чтобы, знаешь, борьба добра со злом в моем сердце разыгрывалась, как писатели пишут, или, еще почище, дьявола с Богом — ни-ни. Я эстонцев этих несчастных не не люблю, они меня не не любят, мы друг другу встретились, люди не хорошие, не худые, и что со всеми нами делается, это потому что, определенно, дьявол через это хочет нам зла, и эстонцам, но и мне, а Бог — добра — и мне, и эстонцам, через то же самое. Но возможно также, что это мы не в пинг-понг играем то с херувимом в паре на его стороне, то с козлом на противоположной, а водим такой хоровод — который не в ведении ни того, ни другого, по той причине, что принадлежит же человек в какой-то своей части еще чему-то третьему, самостоятельному, *только* человеческому. Такое впечатление, что и тому, и другому зачем-то надо, чтобы было это самостоятельное, самостоятельное от обоих. А не преодолимое наклонение только к тому или только к этому. Хоровод ради хоровода — с милыми друг другу и в это же самое время чужими друг другу людьми. Так что не надо меня вовсе до нуля ограничивать — может, это даже и в *высшем смысле* нехорошо...

Поэзия, Александр Павлович, много поэзии. Одних игр — три: шахматы, футбол, пинг-понг; плюс река, берега. Поэзия, но, возможно, она же и правда — надо *обмозговать*. Хорошо бы, конечно, сперва на эстонский перевести и у выживших спросить: как им? А у Кости — даже не философия: логика. Железные зубы логики, которые иногда заклинивало — так что ему жизнь было ими уже и не раскусить. Я тогда, не заходя домой, направился к Мите, хотел все это немедленно обсудить. Открыла Лиза и в дверях сказала, что уже неделя, как они ничего о нем не знают, пропал. Мери выглянула из своей комнаты, кивнула мне и снова скрылась за дверью, от тетушек не доносилось ни звука. Неделю назад объявил, что хочет съездить посмотреть Выборг, не вернулся к ночи и вообще не вернулся. Они позвонили в милицию, там попросили принести фотографию и взяли *на учет*. Сразу наведался человек из Комитета и через день оттуда же двое приятелей отца.

А в конце второй недели он пришел ко мне, просто позвонил в дверь. Загорел, был едва заметен возбужден и нескрываяемо счастлив. Сказал, что уже заходил домой, все объяснил, всеми прощен, предложил мне пойти погулять. На улице выдержал паузу до угла Толмачева и Ракова и произнес торжествующе скучным голосом: «Я был в Стокгольме». Полюбовался эффектом, прибавил, демонстративно пижоня: «В Христиании, решил, после Гамсуна делать нечего, а Стокгольм — вполне, вполне». И, сдерживая волнение, начал рассказ. К поездке он намеренно не готовился специально, посмотрел, правда, карты Финляндии и Швеции, но самые общие, в Брокгаузе, собрал легкий рюкзачок, консервы, печенье, спички и автобусом прямо с Манежной поехал в Выборг. И пошел по направлению к границе. *Гуляя*. Это и был замысел: не стараться, не нарушать границу, не разыгрывать, если поймают, что заблудился, а как нормальное существо, пес, голубь, лягушка, на эту самую границу наплевать, просто идти, ну, не просто, а искусно и предельно осмотрительно, перейти, если перейдется, а там посмотреть. Божий человек на Божьей земле.

Именно так и перешел: хоронясь, когда слышал шум, но он, и когда за грибами ходит, предпочитает миновать других грибников незаметно; идя сбоку от дорог, но опять-таки потому что и на Ста Озерах ему так больше нравилось. Вообще, никакой разницы со Ста Озерами не видел. Конечно, это сеанс рентгена, но и рентген дискретен — можно пройти между лучами. На вторые сутки услышал шум шоссе, лесом дошел до дорожного щита, встал по направлению к Хельсинки, проголосовал, взяла первая же машина, между прочим, «шевроле», говорил только по-английски, финн ни бум-бум: американ туурист? — yes, a tourist — американ стюудент? — sure, a student. В Хельсинки подошел к группе таких же с рюкзаками, оказались американцы — and you? Немец. Переночевал с ними в общепитии Общества Христианской Молодежи, к вечеру они собирались плыть паромом в Швецию. Две девицы спросили, не знает ли он, где здесь механическая прачечная. Сказал, давайте мне; и деньги; принес чистое белье, сдачу — сдачу возьми себе. Сел с ними на паром, одной компанией: пока плыли, нарисовал обеих — сколько мы должны? Нисколько. Ты шутишь, на вот. Подошла средних лет шведка: и меня, сколько? Столько же.

В Швеции проболтались около недели, опять одной стаей. Они замечательные ребята, я бы с ними жил и жил, постоянно заведены на дружбу, только, знаешь, окопную такую: общие интересы, взаимовыручка, взаимответственность, крепкие тела, руки, зубы. Во фьордах это очень ценно, да и всегда пригождается, но немножко однообразно; пару дней утром уходил один, вечером возвращался. Обратное в Хельсинки так же, все вместе, теперь уже не разлей вода. Ну, давайте прощаться: атлетические объятия, двукратные гигиенические поцелуи, адреса... Он сказал, что они сейчас меняют квартиру. Кто они? — он с родителями — ты живешь с родителями? — с матерью. Всего вранья вышло на пятачок. Тем же ходом, только на грузовике, на юг, к границе. На этот раз не так шло гладко, чего-то там, подлезая под проволоку, задел, где-то вдалеке псы залаяли, мотор взревел, пришлось бежать. Даже постреляли. Нехорошо, конечно, что побежал, измена принципам, но уж больно не хотелось в самом конце попадаться. Ты меня понимаешь?

Я его понимал, я опять, как в пятом классе, был в упоении от его свободы и ясности, был опять влюблен в него, но какая-то линия напряглась у меня в груди, как струна, и не хотела распускаться. Когда он сказал: сам не верю, что все это было и что обошлось; дома выдумал путешествие по Карелии, до тебя еле дотерпел — я твердо знал, что ничего не обошлось, я чувствовал острую тревогу, мне было очень неприятно, что я так недостойно встревожен, но неприятности, которые, я явно видел, надвигаются на меня — на него в первую очередь, но он это сделал, а на меня, потому что *им* было прекрасно известно, как мы близки, и он, когда затеял все дело, с этим не посчитался, а теперь еще подвел меня под *недоносительство* — эти неприятности были такие страшные, что в их черном свете та, совестливая, растворилась, как пылинка. Мозг без моего участия защитился от всего этого неприятного

и страшного неприязню, неприязню к нему. Я испугался, обвинил в своем испуге его, и он это понял.

До каких пор у любви хватает сил *полюблять* то, что нелюбимо? Какой-нибудь угрюмый день с облаками, полными пронзительно холодной воды, тяжелыми и темными, как тучи? Воду луж в этот день, ледяную, неживую под резким безвоздушным ветром? Березу в окне, ничью, чужую, мотающую все свое тряпье и тряпье каждой ветки? Внезапный, механически секущий, всепроникающий, вроде ленинградского, дождик? Комаров — и так далее, и так далее? Любить, как любит все это отшельник, сделавший любовь к мрачности, холоду, мокрети, комарам практикой жизни, следящий за тем, чтобы эта любовь не приедалась, а от минуты к минуте наливалась силой. Потом любить то же самое уже в общежитии, потом в человечестве. Любить пост, не подчиняться ему и не удовольствие от него получать, а любить, как когда-то беззаботность и сияющий полдень? Кукушку, замолчавшую после первого ку-ку или, наоборот, никак не смолкающую? Боль в затылке, изжогу, свою болезнь? Те несколько толчков струи из бутылки, которую опрокинул на себя пьяный московский поэт? Неприязнь к тому, что хочешь любить? К тому, кого хочешь любить, кого любишь?!

О'кей, сказал он, давай прости меня, и давай быстро выберем: я все придумал — или я ничего не говорил. Лучше второе. Тогда: я был в Карелии, доехал до Сортавалы, пристал к артели грибников. Сдавали боровики корзинами на пункт приема, сто рублей трехведерный кузов, такой с двумя ремнями — через грудь и через лоб. На пункте и жили, в последний день... Митя остановился прежде, чем из «Волги», мимо которой мы должны были пройти, слева и справа одновременно вышли два человека и, не закрыв дверей, встали улыбаясь. И мы узнали их прежде, чем один сказал: «Здравствуй, Митя, здравствуйте, Анатолий»: друзья отца, из того праздничного «ЗИСа» с открытым верхом, доброжелательные, спокойные, немного *чересчур* спокойные. Садитесь, сказал ближний к нам, а может, не сказал, а показал рукой. ...в последний день меня обокрали, договорил Митя. Мы влезли в машину, вчетвером, никого, кроме них, внутри не было.

«Митя,— сказал кто-то из них,— у нас объявлена тревога, состояние высшей оперативной готовности. ЧП первой категории — парень в твоих кедах пересек государственную границу к северу от населенного пункта Выборг.— И оба весело рассмеялись.— Дело нешуточное, мощная следственная группа — но пока еще здешняя, наша. Значит, есть шанс замять: нарушение границы, похоже, двойное, а? — а это разгон Конторы сверху донизу. Выкладывай все, все, все». Митя глядел на них немножко *чересчур* безмятежно и молчал. «Анатолий»,— повернулись они ко мне, но я, и захотел бы, не мог разжать челюстей. «Эй,— сказал один,— мы это делаем, потому что еще люди. То есть по старой памяти. Мы из другого отдела, нас не коснется. Но в этом другом отделе мы высокие чины. То есть это *наш* Большой дом. У нас, если нужно, могут — фигурально, фигурально, не пугайтесь, только для фильма, как учебное пособие — привязать к тележке, а тележку вкатить под пилораму — вы слышали про это? Не Митьку, конечно, но кого-нибудь настоящего — могут. И мы этот подход к делу — как высокие чины — разделяем. Понятно? Давай, Митя: с начала и до сегодняшнего дня».

«Не надо,— отозвался Митя наконец.— Спасибо, но не надо»,— и без ударений и интонаций понес про Карелию и белые грибы. «Ну, хочешь так, пусть так. Уважаем. Уважаем мы его? — обратился один к другому, и оба опять легко рассмеялись.— Тогда два правила. Никакой игры. С нами любая игра — поддавки: не заметишь, а мы уже два раза доску от тебя и к тебе повернули. Через нас с ним — когда помоложе были — двадцать два, по-старому говоря, по́пá прошли, служителя культа. Наша послеаспирантская практика. Двадцать один твердили свое: пропаганды не веду, а тайна исповеди — тайна исповеди, досюда — да, а отсюда — нет. А двадцать второй думал, что он умный, решил с нами поиграть, возьму, мол, и выиграю. Двадцать сейчас тачку катают, один в Чудове служит, раз в неделю дает объяснения по поступающим на него доносам. А двадцать второй всё делает, что ни попросим, и даже угадывает — где что сказать, где с за-

рубежьем подружиться, что подписать, а про кого и написать. И ходит при серебряных часах и в своем кругу славную имеет репутацию». «А второе?» — Митя их как будто поторапливал, отчасти даже невежливо. «А второе — Анатолий. Пусть он собой займется, и ты с него глаз не спускай. Он хрупковат, может сломаться, и что-нибудь с ним случится, и ты себе не простишь. Сломаться, именно чтобы тебя не продать... А теперь — гуд лак, как говорят твои друзья-американцы». Они отвезли нас к Марсову полю и напротив павильона России высадили из машины.

Полагалось ли мне любить этих двоих, как я, словно фокусник в цирке вытягивая из себя бесконечную ленту оговорок, любил их тогда? Любил, а когда обошлось-таки, забыл, а потом, лет через пятнадцать и двадцать, когда все реже обходилось, невлюбил: одним миром мазаны. Невлюбил умозрительно, но ведь сколько лет, и всей тушей, плющили, и, кроме туши, ничего уже не различал. А если любить, то опять: в какую силу? В какую дробь от того, как любил Митю? Или Вадима? Костю? А батюшку этого, двадцать второго, может, лучше не любить, чтобы на двадцать одного больше любви осталось? Потому что читать я читал, но живых никого не видел с любовным запасом неисчерпаемым — про свой что уж и говорить. А может, тогда *сильно* его не любить — чтобы тех любить сильнее? Или, как утверждают божественные книги и убеждают знающие люди, никакой тут связи нет, и если не любишь, хоть самую дрянь, то всем хуже, а любишь, хоть этого с часами, наодеколоненного, то и двадцати одному полегче?

Или все это значит, что кончилась любовь к *человеку* — не к тому, кого так-сяк знаешь, как я этих двоих, а которого не знаешь, просто видишь перед собой, а не знаешь? Как вы-то думаете, Александр Павлович? Вот еду в Переславль на велосипеде и обгоняю мужичка с двумя сетками через плечо, и в них пустые бутылки килограмм на двадцать, и нести их ему до города, в общей сложности километров семь, чтобы сдать рублей новых на восемь. Кривой, сутулый, небритый, грязный, в зимней шапке с одним ухом, в резиновых сапогах. Может, пьяница, но а вдруг не пьяница? И так он образцово, будто для притчи, унижен, замордован, нищ, неотличим от глинистой дороги, что сил хватает только на горячую жалость к *людям, к таким, как он*, в этом, в общем, роде, но непосредственно *его* пожалеть — а, как известно, пожалел, считай, полюбил — тью-тью, не подвигается сердце.

Покупаю в Переславле смородину, дома читаю обрывок газеты, кульковой, как фирма по ремонту иномарок выслеживала приглянувшийся автомобиль, приглашала владельца, убивала, бросала в известь, потом в цементный раствор, забирала машину. И то же самое: жалость к жертвам, честно сказать, номинальная, реакция — за пределами личности, и сильное чувство — даже не к убийцам, а к — «до чего дошли *люди!*»...

Прости, Толя, что такую складную речь перебиваю: *человечество* то есть?..

Человечество, Александр Павлович, но которое не больше моей деревни. Деревня — это ключ к жизни сообща, этой жизни протей и ее же совершенство. Говорю не об исторической, а о нынешней, лишь использующей историческую, каким-то боком включающей ее в себя. Тридцать дворов, четыре у тех, кто в ней и родился, шесть тоже у живущих круглый год, но приезжих и купивших дома, остальные двадцать у живущих по, пускай, трети года, у дачников, как их зовут десять постоянных.

Все взаимозависимы, но каждый в отдельности независим, как хуторянин. Взаимозависимы в соблюдении неписаных правил, которые охраняют деревню от самоуничтожения: скажем, подраться за яблоню у забора — чьи яблоки, когда падают? — можно, но нельзя, чтобы до смерти; или можно и до смерти и самому чтобы сесть, но не доносить в пожарную инспекцию, что у соседа поленница не на месте, иначе и тебе, и *всем* велят в трехдневный срок перенести дрова на тридцать метров от домов; или донести, но уж никак не поджигать за забором баньку, а то *все* могут сгореть; или даже и поджечь, но не продавать ее

владельцу сауны из Переславля, который по городу расклеил рекламки «также бильярд, массаж и многое другое», а то откроют выездной борделёк — и закрывай деревню. Короче, взаимосвязаны. Но при этом отделены друг от друга так, что живущие с одного края и с другого не встречаются месяцами: триста метров — как в городе тридцать километров, путешествие. Деньги *внутри* деревни — ничьи, всех: я свои триста тысяч могу вернуть, привезя соседу на своей «Ниве» три мешка муки, потом рубероид, потом его родню с автостанции в Переславле. Я-то бы за это и не брал, но тем нарушил бы правила. Деньги нам нужны, чтобы купить себе сапоги, в которых он будет мне дверь чинить, а я в машине на pedals нажимать.

И все друг перед другом открыты, всё на виду, заскочишь по случаю к соседу в сортир или он к тебе, и самые сокровенные вещи вроде содержимого кишок — пожалуйста, напоказ, и как у кого дела — ни для кого не секрет: неизбежная и естественная интимность. Моей старенькой соседки отец мог по февралю — марту сказать, как летом будут коровы доиться и куры нестись, потому что одну, *эту*, деревенскую книгу читал, а не тысячу разных наших. Тут вся и мудрость, тут вся и любовь. Это, Александр Павлович, максимальная единица человечества, которую человек может охватить любовью — со всеми поправками на недовольство, ссоры и дурной характер. Уже Переславль любить, то есть *в общем и целом* — чрезмерность и фальшь, а человечество — без смущения говорю — меня и вовсе не занимает, не чувствую я человечества, абсолютно...

Вот и я, Толик: я человечество чувствовал до тридцати четырех лет, а люди были для этого человечества, как материал. Чувствовал Петра, Андрея, Марка, Генриха и отчасти одну девицу, мою будущую жену, но никого из них так пламенно, как человечество. А потом одно дело сделалось, между нами друзьями, и отошло от меня человечество в астрономическое пространство...

Что ж, точно сказано — в том смысле, что я тоже так это представляю: где личное, безличному делать нечего. Это замусоленная наша претензия: когда не любишь, не жалеешь *других*, любить *всех*; бедный наш механизм личной немощи. «Человечество» для такой претензии, для служения безличной форме — идеальная конструкция: розетка — включай мотор, и вперед. А «люди» — это с кем ты одной биологии и одной истории. Биология пусть отзывается на раздражение жизни, а история — домашняя, семейная, которую мамушки рассказывают. Кого ты видишь как свое племя, будь они хоть голландцы, хоть индонезийцы — и есть «люди». Вот я про кого — «до чего дошли» и кого «жалко». А что, кстати сказать, у вас тогда за — одно дело сделалось? Нет, сперва ты, Толя: как это у вас тогда — обошлось? Я ведь в те годы про это или не про это краем уха что-то слышал: дескать, перешел один фрукт туда и обратно, правда, говорили границе с Турцией. Подумал, веселая байка, а поверить, конечно, не поверил...

Обошлось изнурительно — а как, если такое обходится, может оно быть иначе? Машина ждала нас у Митиного дома, увезли, продержали трое суток — шел «месячник» *торжества законности*, — с неделю ежедневно вызывали. Митю еще на трое суток забрали, так несколько раз. Не скажу, чтобы на тележку и под пилораму, особенно меня: дней через десять приняли, видно, что уперся, постращали *недоносительством*, но «уперся» и значит — уперся. Митю возили в Сортавалу на следственный эксперимент, по грибным приемным пунктам. Он, естественно, не узнавал, вдруг на одном тетка сказала, что вроде припоминает такого. Потом в Выборг. Ненавидели его люто, но еще лютей, похоже, дрались между собой и с Москвой за версию, сохраняющую их собственные головы. Месяца через три стихло, меня перевели из техотдела обратно в цех, в смену, к начальнику цеха регулярно приезжал капитан осведомляться о моих настроениях и активности.

Зимой мы пошли с Митей в Филармонию. Только что кто-то из иностранцев оставил книжку крафтовских «Диалогов» со Стравинским, и тут как раз концертное исполнение «Истории солдата». Вся юность и молодость Филармония была, как Эрмитаж: дом родной. Соединяла в себе музыку, искусство, культуру, идеологическую оппозицию и даже церковь, некую протестантскую, как я те-

перь понимаю. В ней бывало так же торжественно, возвышающе, холодновато, минутами так же скучно, как бывает — и должно быть — во время службы. И ритуал был: хлопать в ладоши, а не, допустим, поднимать большой палец — по возможности, воспитанно, сдержанно, не дай Бог орать от восторга, как на джазе, и не дай Бог захлопать между частями симфонии, как *жлобье*; в антракте совершать *гранд-ронд*, медленный променад по периметру фойе. Для нас двоих еще была специальная в филармонических концертах притягательность — женщина, объявлявшая программу: строгая, в строгом черном платье, стройная, со стянутыми в тугой узел на затылке черными волосами, с сильным контральтовым голосом, похожая на Фаину, как родная сестра, и однажды, когда она вышла из красных бархатных портьер и направилась к авансцене, кто-то сзади нас произнес «Фаина». Мы стояли на хорах, обернулись — мужчина, дышавший нам в спину, подбородком показывал на нее.

Название «История солдата» и имя «Игорь Стравинский» звучали как откровение, и саму вещь мы прослушали как откровение, не как опусномер такой-то для чтеца, актеров и оркестра, а как тайный звук таинственного времени, и этим она и была. Когда после концерта мы шли в гардероб по хорам над сценой, в узком коридорчике на углу женская фигура, двигавшаяся навстречу, на мгновение перегородила нам путь, и она и мы сделали неизбежные в этих столкновениях симметричные шаги влево-вправо, улыбнулись друг другу, и я понял, что знаю ее, но не мог вспомнить кто. На всякий случай сказал «добрый вечер», она ответила: «Добрый вечер, Толя. Я сестра Роксаны. Нора». Я сразу узнал ее, еще более акварельную, тонкую, отсутствующе улыбающуюся, движущуюся и говорящую с той естественной смесью растерянности, тихости, как бы даже робости, и свободы, когда растерянность — просто грация свободы. Она сказала легко: «Я родила сына и дала обет год со дня выхода из роддома целиком посвятить ему. Сегодня ровно год, как не была на людях, и первых встретила вас».

Я оглянулся на Митю. Он пристально смотрел на нее, но его взгляд как будто перенял ее растерянность. «Вы знакомы с Митей?» — И оба они неловко, как если бы извинялись передо мной, кивнули головами. Мы пошли ее провожать, туда же, на Пушкинскую. У подъезда я спросил: «Кто же ваш муж?» — и она с коротким, беспомощным, лопнувшим по-птичьи хохотком ответила: «Да Костя же. Только он ушел от меня».

Я оторопел, я чувствовал себя совершенным дураком, что, когда Костя в парадной Роксаны сказал, что здесь живет его жена, хотя бы тенью Нора не мелькнула в моем мозгу. Я поймал себя на том, что она проплыла — и в те часы, когда сидела в той же комнате, что и я, проплывала — мимо моего сознания: я даже не помнил ее имени. Она была из тех молодых знакомых женщин, про которых мне в голову никогда не приходило, что они имеют или могли бы иметь ко мне отношение более близкое, чем то, какое на эту минуту существует. Я мог месяцами приходить в гости и вечера напролет разговаривать со спортивной и одновременно пышных форм — иначе не могу сказать, как — дамой, старше меня лет на пять, выше на полголовы, темпераментной и невоздержной на язык, которая на выставке Пикассо в толпе подошла с вопросом, что я про это думаю; сидеть, когда она приглашала, с ней в театре, на вечеринках у ее друзей, вдыхать запах ее духов и мехов, провожать до дверей, засиживаться до развода мостов — и не допускал, и желания не было допустить, что между нами возможно что-нибудь другое, чем это. Точно так же мать и дочь из фотографии на углу Невского и Марата, возле которой я остановился поглазеть на снимки, а они, две рыжие красавицы, выходили из дверей и заговорили со мной так запросто и доверительно, как будто мы хорошо знакомы, и потом, когда я проходил мимо и заглядывал в их витрину, всегда весело звали взмахами рук, и мы пили чай с ликером, беседуя о чем-то, чего я вовсе не знал и часто даже не улавливал связи между сюжетами и частями внутри одного и того же сюжета, но так, что мне было страшно интересно: об их жизни, женихах, корзинах цветов, Карловых Варах, дачных велосипедных прогулках — не вызывали ни малейшей мысли о возможной перемене характера наших встреч, даже когда спрашивали — так же запросто и

свободно, — есть ли у меня сейчас с кем-то роман и могу ли я вообразить себя женившимся на дочери; а на матери? И это было так же естественно и я находил такой же нормой, как отношения с теми, кто со мной и с кем я сходился, к кому я — или они ко мне — приходили и в одной постели спали, так же естественно и такой же нормой, как то, что потом, утром, я садился на Исаакиевской именно на двойку, доезжал до Финляндского и оттуда тридцать седьмым до завода слоистых пластиков, и допущение — приди оно ко мне в голову, — что а могли бы и не сойтись, выглядело бы таким же диким, как: что а мог бы сесть на тройку и пересесть на тридцать восьмой. С теми было так, с этими этак — что бы ни происходило, не могло происходить иначе, происходит только, как могло происходить. Нора была в зоне *тех* — пусть и ближе к периферии, чем фотографши и моя пикассовская знакомая.

Все тогда только еще женились, расходиться начали лет через семь. Через пять ушла от Артура Лариска. Все время с тех пор, как они поженились, он гулял, пропадал на неделю, куда-то уезжал, приходил пьяный. Любил ее, ухаживал за ней, но он был артист. Она, если он не брал ее с собой, безропотно сидела дома, ждала — тоже, видимо, считала, что именно так должно быть, потому что живет с артистом. И однажды, по виду на ровном месте, сказала, что долгодолго думала, много лет, и пришла к мысли, что если он прав — а он безусловно прав, — что если творчество — *вся* его жизнь, без разделения на часы искусства и часы досуга, и что если, как сам он говорил, люди, в чьей жизни нет творчества, — мертвецы, то единственно доступное ей творчество — любовь, эротическая, активная, не имеющая цели и результата, открытая для всех. Собрала большую сумку с лямкой через плечо и исчезла на полмесяца.

Артур потерял голову. Он позвонил мне тогда, попросил приехать. Не стесняясь, плакал, говорил, что во всем, во всем виноват только сам, но даже если бы ему представили абсолютно неоспоримые доказательства того, что с начала мира не было ни одного человека, который не изменил бы своей жене-мужу, все равно он был бы уверен, что это неправильно, не должно быть. Голявкин, с которым мы коротко об этом поговорили, сказал, что «вашё» это значит, что так не должно быть, потому что у мужика так не должно быть, чтобы баба гуляла, что в *его* хозяйстве непорядок.

Но с нами, я говорю, это было на следующем этапе жизни, а тогда, на предыдущем этапе, то, что Костя ушел от Нору, лишний раз демонстрировало заложенную с самого начала дистанцию между нами-младшеклассниками и им-старшеклассником, не столько старшим, сколько принадлежащим к «старшим», у которых, как всем известно, мужья уходят от жен, жены от мужей. И я знаю, почему он ушел от нее, рассказывал мне Митя через двадцать лет ночью того дня, когда Нора улетела в Австралию вслед за эмигрировавшим сыном. Это история прекрасного Иосифа и жены Потифара. То, как Костя любил Нору, было для него несравнимо важнее ее самой, реальной. Что если Иосиф не свою чистоту берег и даже не будущие Моисеевы заповеди и тем более не разоблачений и возможной казни боялся, а хотел любовь — этой женщины к нему и еще сильнее свою к ней — сохранить неповрежденной? А для Нору он и был ее любовью к нему, и обладание им было напрашивающимся, нормальным выражением этой любви. Что если жена Потифара не похотью к Иосифу была одержима, а его красотой, когда наконец набросилась на него?

С его стороны это не фанатичный максимализм, это Иосиф, сын Израиля, будущий патриарх, но не тот, что три предшествующих, его прадед, дед и отец, а тот, с которого началась наша, нынешняя жизнь, наша манера жизни, наша цивилизация. Прадед, дед и отец знали, как любить Бога, — пасти простых овец, передвигаться из одной простой земли в другую, сидеть под дубом или в простом шатре — и любить Бога. Иосиф знал это от них через простое следование им, простой, то есть упорядоченный, остановившийся в развитии повтор их неповторимого опыта, он воспринял от них итог их сельской сосредоточенности и созерцательности — в этом он мало отличался от братьев. Но не случайно он был отличён от них великой красотой, а для тех, кто к ней слеп, еще и знаком пестрой

одежды: он знал, как жить не только на хуторе, а и в Египте, в столице, при дворе и как любить Бога, живя по-египетски. Что если он понял, что, желая любить жену Потифара — не спать с ней — любить! — и не полюбив, не ответив на ее любовь, он не будет любить Бога, как мог бы, уменьшит свою любовь к Богу на величину любви к этой женщине? Ты согласен, что так *могло* быть в этой истории? Думал ты когда-нибудь в этом направлении?

Еще бы я не думал! Через три дня после Филармонии, в воскресенье утром, ко мне пришла Лиза, и полдня мы ходили с ней по улицам, повторяя и путая собственные, и наших близких, и тех, кто нам хоть раз приходил на ум, маршруты, из которых и из всего того, что на этих маршрутах до нас происходило и говорилось, исключено было вырваться, как причудливо ни меняй направление, и говорили друг другу тысячи и тысячи слов, многие — когда-то кем-то сказанные ровно на том месте, что и наши, да и все вместе — ничего не прибавлявшие к еще висевшему в воздухе города отзвуку всего в нем произнесенного, разве что чуть-чуть по-другому составленные, и могли продолжатся говорить так без конца, хотя все сводилось — и возвращалось и возвращалось — к Иосифу и жене Потифара, с которых Лиза и начала весь разговор.

Ой, город, ой, город! Он уже весь был кухонный-коммунальный перед войной, потеплевший от сгрудившихся в нем людей, — как пропахшая тобой, твоим углом в родительской комнате, тем, что ты ешь, трамваем, в котором едешь по улице, улицей с котлами кипящего, чтобы заделать разбитую панель, вара, заношенная, ежедневная, самая любимая рубашка. Воспитательница в детском саду в Свердловске сказала: «А сейчас Толя расскажет нам про Ленинград, самый красивый город мира», — я молчал, как пень, а она наводила: «Ну! Медный всадник. Адмиралтейство». Я мямлил — Адмиралтейство... «Нева». Нева... А хотел сказать — улица Марата, прекрасная улица Марата, с прекрасным пыльным чахлым кустарником в два ряда посередине, с прекрасными блестящими рельсами между ними, на них зарезало трамваем моего дяню Толю, в честь которого я назван, ему было шестнадцать лет — вот что я помню, хотя это было до моего рождения. И ну да, река, небо, много реки, огромное небо, мосты, очень длинные, очень высокие, прекрасный тесный переулок Пролеткульта, где жила моя тетка, и у нее был прекрасный японский халат с белыми птицами.

В девять лет, когда мы вернулись из эвакуации, город был другой, прореженный разбомбленными домами, на глаз каждым третьим-четвертым, ему было не до жизни людей, обязательно скученной, чтобы быть жизнью, на нем была печать величия, не величия Невы, площадей, колоннад и бронзовых памятников, а *скорби* — Трои, Рима, Иерусалима после их разрушения. Печать, не медаль. Фасады как из картона — декоративные, легкие, полфасада, треть, в глубине за ними стена, разномастые, квадратными островками обои, электрическая проводка, на самом верху марш лестницы с площадкой, срезанные снаружи под самую стену, великолепный куст иван-чая на площадке. Где крыша, а? Небо вместо крыши, греческий дворик из Эрмитажа.

Они и стали, большинство из них, двориками, сквериками — когда их окончательно снесли, вывезли, вскопали землю, посадили акацию, поставили скамейку. В пятом классе, в самом начале нашей с Митей дружбы, мы гуляли еще по разрушенному Ленинграду, и красивее он уже никогда в моей жизни не был. Белая ночь, выбитые из улицы дома, выбитая из домов внутренность, легкий ветерок и легкий свет между фасадом и задней стеной, более реальные в прямоугольных пустотах окон, менее — в трапециевидной пустоте на месте крыши. Точнее, самого света не видишь, у него нет источника, он обнаруживает себя только в освещении — и в тишине. Через пятнадцать лет друг, которого имя — случайно или нет для этой истории? — было Иосиф, который был моложе меня и которого я любил в конце дружбы так же сильно, как он меня в начале, звонил мне с улицы, и я шел гулять с ним и его возлюбленной, они останавливались возле узких проемов между домами, заглядывали в высокие вертикальные щели, заходили в подворотни, смотрели со дна колодца дворов на лоскут неба, показывали друг другу тайные ракурсы, не мне, только друг другу, только они

влюбленным зрением могли видеть и наслаждаться увиденным — а меня в эти минуты сносило к прогулкам по послеблокадному городу, и очарование после-послеблокадного, действительно, уже не могло войти в мое сердце так же глубоко.

Лиза была ранена уходом Мити, но как античная героиня: не уязвлена, а ранена и возвышена ранением, и этой возвышенностью побеждая страдание. Она сказала: «Он любил меня так, что при малейшем подозрении, что любовь может быть унижена или хотя бы снижена лишней лаской, излишней близостью, запрещал себе быть нежным, не давал воли своему желанию. Себе — и мне с ним. Я распущенная и похотливая шлюшка, паненка Эльжбета з Лемберга, мне ни с кем на свете близко не было так сладко, как с ним в постели, я обожала его, но он говорил: ты хотя не меня и тем более не «со мной», а хотя любви ко мне. Так же, как я хочу любить тебя любовью, а остальное — как приложится. В идеале — как Иосиф любил жену Потифара: зная, что, если начнет с ней спать, то останется с обсоском любви. Я не Иосиф, но и ты не она, а все-таки сколько можешь, хотя любить не меня, а красоту — которая во мне непременно есть. Не испещренную узором внешнейю, а какую-то, не знаю, *мою*. Потом засмеялся и прибавил: и, конечно, давай — когда приложится! — спать друг с другом так, как она, безумная, хотела. Мы прожили восемь лет, каждый ложился в свою постель, иногда в одну, мне не нужно было больше, восемь лет назад я представления не имела, что можно любить так, как я люблю его сейчас, и люблю не потому, что на свете нет никого такого, как он, а именно потому, что такие, как он, есть на свете».

Это я *сейчас* так складно говорю, рассказывал Митя в ту ночь. А тогда всё день за днем, год за годом доваривалось — как говорят технари, *методом проб и ошибок*. Зачерпывал ложкой, дул, прибавлял огня или, наоборот, немедленно гасил. Потом это еще долго застывало, но все равно изнутри жгло. Думаешь, что живешь, а бывает, и в самом деле живешь, но, главное, проживаемой жизнью постоянно *учишься* жить. Во всяком случае, такие, как я. И как Костя. Только он в миллион раз был последовательнее меня. У него была железная дисциплина: если он знал, *как надо*, то преследовал цель во что бы то ни стало, не то что поблажки — никакой пощады себе не давал, и если в эту струю самого близкого человека втягивало, то и близкому тоже. Мне истории Иосифа и Потифаровой жены хватило за глаза, но он Нору так любил, так *безумно*, что должен был из любви совсем жизнь выжечь. И через несколько лет дошел до того, что не хотел и не позволял себе лечь с ней в постель, чтобы не дать ей изменить ему с собой *таким* — который *опустился до постели*. А когда однажды «опустился» и она сказала ему, что забеременела, то есть этой измены — ее ему, а главное, его себе — уже и никакое время не могло теперь стереть, он три дня простоял, глядя в окно, собрал чемодан и ушел. От обожаемой жены, обожаемой!

«Анатолий, — взволнованно-торжественно заговорил Александр Павлович, не заботясь, кончил я свой рассказ или он меня перебивает, — но Константин человек героический. Герой — это и есть: кто не смотрит на себя, не смотрит на людей, а только на цель своей идеи. Я знаю, что говорю, мы тоже были герои, я тоже был герой. Социализм, Челябинский тракторный, цех шарикоподшипников, котлован под него — это была цель нашей идеи, не уменьшающаяся, а уточняющаяся — как число «пи»: три, а если поточнее, то три и четырнадцать сотых, три и сто сорок две тысячных. И так до без конца, до триллионных долей, до комнаты на пятерых в общежитии и нашего с Петром храпа, до ладно, отца сгноили, а я зато в котлован спущусь, на леса влезу, социализм построю. Я так, как Костя, не мог — не жил и не мог — но и он, как я, не пробовал. Так ведь все-го и не ухватишь.

Признаю: не в том правда, что у меня, как мы — и я со всеми — на всю жизнь привыкли верить и говорить, времени на личное не оставалось и что время было другое, не личное, а в том, что я натура прямолинейнее, а если себя не жалеть, то — примитивнее, и Кости вашего, и Мити, до такого дойти, как они, не случалось и подумать. Примитивнее, но не примитивная, и то дело, которое

сделалось — о котором я раньше сказал, — началось, скажу, далеко не банально, далеко. С моей будущей женой мы в один день познакомились, Петр и я. На вечеринке под патефон. И ничем она мне не показалась, а Пете — даже очень. И хотя я вместе с другими над ним шутил, не повенчаешься ли, мол, не поедете ли в Сочи на медовый месяц — а это, не могу передать, каким смешным казалось, — но стал к ней присматриваться. Потому что, кого я любил — больше себя, больше всех, больше, может, чем ты Митю, — это Петра. Как бы тебе сказать — ну, он был золото. Про что ни подумаешь, как бы могло быть лучше: про то, как балку в гнездо опустить, какое слово сказать, чай не забыть купить, — он уже сделал и сказал и таким макаром, что прямо млеешь — потому что видишь: лучше не сделать и не сказать. А он только веселый, зубами белеет, как будто ни при чем.

Так что я к ней присматривался, а поскольку ничего так и не находил, то стал думать, чего же он в ней видит. То есть старался как бы его глазами — отчего еще глубже в него влез. Я и так любил все, что он любит: он косоворотку купил — и я, он картофельных драников кастрюлю мог съесть — и я, он стихотворение Пастернака «Марбург» выучил наизусть — и я. В общем, он ее, вижу, любит — и я. А на самом-то деле, не ее, а его. Все чаще стали втроем ходить, и однажды он говорит: собираюсь сделать предложение, но только если ты тоже — пусть выбирает. Я, как щенок, в восторге: давай! — мол ясно, что его, но и я, как он, мол, мы вот как заодно. И она выбирает меня.

Я про Петю — сколько? — семьдесят лет думаю, думаю, думаю. Про него одного. Лет шестьдесят — уже не про него только, каким он был, а и про него такого, каким я его думал-додумал-передумал. И теперь он в сто, в тысячу раз мне видней, чем когда был рядом, и столько мне видно, что *сказать* о нем не могу *ничего*, ни одной толком вещи. Скажу слово — а почему именно это? Почему оно, а не других миллион, таких же про него важных-неважных, как это? О нем, какой он был и что я про него надумал и вот сию минуту опять что-то новое думаю, то есть вот именно *о*, сплести фразу — горло не хочет, мычит. Хочет пересказывать, как он что когда проговорил, куда пошел, как взглянул — а на такое времени не отпущено. Так что уж придется промычать: *благородный*. Кого помню, все были честные, все прямые, все за одного и каждый за всех, а Петя был какой-то еще благородный. И когда она меня выбрала, хоть бы на миг облачко замутило ему глаза — сказал: какой ты, Саша, счастливый! Какие вы оба счастливые! Красивые, счастливые и один к одному! — и видно было, какая ему это радость.

Так что я жену уважал, берег, я ею дорожил, но любил — Петю. И тогда, и всю жизнь. А так как любовь, по заключению мудреца, обязательно несет в себе беду, то долюбил я его до того, что подвел в конце концов под монастырь. Небось, и у Мити неладно кончилось, да? Под какой, Александр Павлович, монастырь? Толь, неладно ведь у Мити кончилось, отвечай? У Мити — ну как сказать? Что такое в этом деле неладно или, наоборот, ладно, и кончается оно когда-нибудь или никогда не кончается, никто ведь не знает.

Митя снял комнату, однокомнатную квартиру где-то в новом районе, Нора к нему туда приезжала — раза два в неделю, не чаще, мать не соглашалась оставаться с младенцем чаще. Ночью на такси уезжала. «Я до нее почти не дотрагивался, — рассказывал мне Митя, — мимолетно, как ночная бабочка, не сильнее, прикасался — как к паутинке, чтобы не порвать. Ну не мог. Я из-за нее ушел от Лизы, у меня из-за нее телесный состав переменялся, состав крови, дыхание, зрение — как же бы я ее стал прижимать к себе, стискивать, впиваться губами, даже просто крепко держать за запястье, за плечо, обхватывать рукой ее спину, как будто она такая же, с которой я бы себя именно так и вел? Она меня обнимала за шею, целовала в щеку, в угол рта, смеялась: «Ну что-о это! Сперва один такой, потом другой. Я же не Виктория, вы не Юханнесы. За что мне одни ненормальные?» — и я не чувствовал ревности из-за «вы». Повторяла: «Нет путей к счастью, кроме обыкновенных. Это Пушкин сказал», — но она знала, как я ее люблю, и любила, что у нас так.

К весне у нее начался фурункулез — как в подтверждение запрета физически притрагиваться к ней. Врач велел поехать летом куда-нибудь на солнышко, а пока пить пивные дрожжи. Мы нашли в начале Невского окошко «Пивовквас», с припиской от руки «Теплые дрожжи». Я тоже пил — потому что она говорила, что ее тошнит: так пусть и меня с ней. Только такие нежности себе позволял, но таких не пропускал зато ни одной. В конце июня сестра, эта самая твоя Роксана, сказала, что может взять малыша к себе, на дачу, на три недели. Мы поехали в Мукачево, на Карпаты. Там сели на автобус, вылезли на случайной остановке, у первой же хозяйки сняли крохотный домик. Там текла горная речка, какой-то приток Тиссы, с нашей стороны берег был пологий, луг в траве по пояс, лесок вдоль узкоколейки, тропинка в зарослях ежевики, а с той стороны гора, крутой каменный склон, огромные ели, между ними, в сумраке, на виду, всегда несколько оранжевых подосиновиков. Никого народу, ни человечка.

Мы приехали туда часа в три, до семи купались, валялись на берегу. Перед закатом вернулись домой, съели по ломтю хлеба с медом, выпили молока. Все время разговаривали, неторопливо, но без перерывов. Стало темно. Мы легли на постель, единственную, очень широкую. Неподвижно и беззвучно полежали минуту, пять, десять, не знаю сколько. *И начали.*

Это продолжалось две недели, это и ничего другого. С утра до вечера, днем и ночью, с перерывами чисто рабочими, диктуемыми энергетикой. Выпадая в них, мы обнаруживали себя в пространстве, которым, оказываясь, находясь в нем, не пользовались, — во времени, механически отсчитываемом, которое не имело к нам отношения. Примитивный механизм наручных часов, чем более тонким и точным он был, тем более бесспорным становился воплощением и символом тупой, вмиг вспоминаемой, вмиг до конца постигаемой, вмиг делающейся обрыдлой трехмерности мира и его рабского, самовлюбленного, хамского, как быдло, пустого, как бусина, скольжения оттуда, где его уже, туда, где его еще, нет, вдоль лески, на которой никогда не повиснуть ни одной рыбешке. В эти минуты и среди этих предъявляющих себя как реальные предметов: стен, дорог, кустов, облаков, — мы ехали на автобусе в магазин, покупали хлеб, кислое вино, плавленые сырки, черешню, ели, купались в речке, собирали охапку грибов, засыпали — и снова бросались в реальность, где все это становилось нарисованным, как коврик с лебедями над нашей кроватью. Бросались, когда валялись на берегу, ломали подосиновики, плелись через луг, через лесок, и, конечно, сразу, как переступали порог дома, а могли бы и в автобусе, и прямо в магазине, и на остановке, если бы не шофер, не продавщица, не окна домов. И время — как будто ждало этого мига — бросалось вместе с нами к нам, как преданнейший пес, который не знает, как выразить свой восторг хозяевам — скачками, юлой, кувырком, внезапным замиранием, окаменением, задыханием.

Никакой это был не амок, не страсть, ничего сумасшедшего, горячего, вот именно что и я, и она были абсолютно *нормальны*, даже оба обратили внимание, что *так* нормальны, друг с другом говорили — когда говорили — трезво, легко и никогда *об этом*. И вожделения особенного не было — так, скорее как неизбежный антураж. Или что это так из-за того, что мы любим один другого, или что влюблены — нет, любовь и влюбленность как раз проявлялись до и после, проступали из промежутка обесцвеченности, наливались силой, и никакой связи с тем, что мы делали, в этом не было. Никаких причин и никаких следствий, ничего уходящего в прошлое, ничего в будущее, только то, что сию минуту, но и это безо всякого содержания и значения: есть, и всё, делаем, и всё, смысл — в деланье, деланье и есть весь смысл. Никаких вообще ни чувств, ни даже ощущений, только состояния: неистовство, иступление, изнеможение. Мы это делали, просто потому что *надо было*: знанием каким-то неизвестным оба знали, что надо.

Длилось две недели и почти так же внезапно прекратилось. Нора сказала, что через три дня нам уезжать, и от звука ее голоса *стихия* — пусть будет так — откатилась от нас. Мы съездили в Ужгород, в Стрый, гуляли, держась за руки, ночами спали, крепко обняв друг друга, дыша друг в друга, и того, что

было, ни тени не набегало, ни воспоминания. В день отъезда я сказал, что а давай я останусь, что-то тут не то, чтобы вместе возвращаться, и она согласилась таким тоном, что а как же иначе, а что же это обсуждать: ну конечно. Я даже в Мукачево не поехал, посадил ее на автобус, спокойно поцеловались, и автобус с выключенным мотором зашуршал сперва под уклон, потом взвыл, взобрался на горку и нырнул за край. И того, что было, совсем не стало, и ничего не стало.

Что все места стали пустыми и каждая минута пустой, это другое дело, это сердечное. Утром пошел лугом к реке, потом леском вдоль узкоколейки: здесь ежевику рвали и я ей сказал, а она поглядела, здесь орех трясли и она сказала, а я замер, здесь «Безумных лет» в два голоса прочли, здесь шли молчали — и вот она, ежевика, висит ешь-не хочу, и орех, и тень и рельсы, всё как нами не тронутое, не еденное, не виденное, всё — без содержания, без выражения, *опустошенное* навеки и без возврата. Остановился, ни вперед не иду, ни назад не поворачиваюсь идти, и ничего другого не хочу, как упасть, где стою, руками за траву схватиться, и всем телом — туда, вглубь, вглубь, изо всех сил. Постоял, побрел дальше, потянулся к ягоде, усмехнулся: только этого не хватает — сорвать сейчас и съесть. Подошел к воде, на тот бережок не гляжу — не хватает только там между елочек подосиновик увидеть. Поднял глаза, и — стоит! На том же месте, где до него такой же стоял. И рассмеялся: всё холостое, а он — гриб как гриб, крепенек, торчит краснеет. Потом всмотрелся, даже впился в него глазами — нет, тоже холостой.

Но это любовь, это Тургенев. Это когда *нюют дыхание друг друга*, и если второй исчезает: умирает или просто уходит, в общем, улетучивается, то *задыхаются*. А я не про то. Я теперь становлюсь в очередь вопрошающих, заношу свое имя в общий список под каким-нибудь стомиллионным номером и этот номер на руке, как в послевоенной очереди за мукой, вывожу чернильным карандашом. А поскольку все стоявшие передо мной кто уже получил ответ, кто не дождался, кто отлучился, то как раз мой срок открыть рот и в стомиллионный раз задать те же вопросы, с которыми стояли они. Сотворил Бог небо и землю. Пока что вопросов нет, никаких «был ли выбор?», «мог ли Он сотворить только небо, без земли, чтобы иметь дело исключительно с ангелами?», «мог ли сотворить землю другой: чтобы человек на ней не падал, не врал, к запретному не тянулся, родного брата не укукошивал, город в бордель гомосексуалистов не превращал, и прочее?». Теодицея не мой репертуар. Об этом, о том, мог ли и хотел ли, ни полслова не говорится, а только «сотворил» и «сказал» — стало быть, тем более бессловесно и мне надлежит принять, что было и случилось так, как только и могло, а если так, то и должно быть, и межеумочной отсебятиной не заниматься. То есть что акт творения неба был невозможен без одновременного акта творения земли. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою.

Мой вопрос — смиренный: не *так* или *не так*, а — возможно или нет? Не может ли это означать, что сфера над водой была обиталищем и царством Божией Силы так же, как тьма и бездна — сферой обитания дьявола, а безвидная и пустая земля взаимодействовала и с тем, и с другим, но тоже и содержала некий собственный, самостоятельный элемент, проявлявший себя в измерении, не присущем ни тому, ни другому пространству. И сколько ни отделял затем Бог свет от тьмы, день от ночи, воду от воды и воду от суши, чтобы создать такой космос, который Он со всё большим удовлетворением видел, «что *это* хорошо», в результате отделения всегда и непременно оставался также и хаос — и эта третья между ними, принадлежащая и не принадлежащая тому и другому, область, или сила, или стихия — эрос. Та *роса*, которая две недели неизвестно с чего в самое знойное время дня, когда луг высыхал до хруста под ногами, вдруг выпадала на нашей коже и, казалось, покрывала наши внутренности, а когда все тонны вечерних капель оседали на землю, стучали ночью, скатываясь с деревьев, по нашей крыше, сверкали сумасшедшим блеском по утрам, так же вдруг испарялась словно от огня.

Мне достаточно даже не наклона головы, а микронного кивка пальцем: невозможно такое мироздание или не невозможно? А что я, по всей вероятности, все это повторяю за девяносто девятью миллионами, отстоявшими очередь прежде меня и сформулировавшими суть дела в девяносто девять миллионов раз основательнее и толковее, чем я, мне наплевать, я до этого докатил без них, своей жизнью, и говорю каким ни на есть, наивным и жалким, но своим голосом».

Александр Павлович молчал; глядел на меня и молчал. Я разволновался, пока рассказывал, разволновался гораздо, не сравнить насколько, сильнее, чем когда Митя выкладывал это мне, тем более чем в дни, когда случилось и не стоило труда догадаться, что случилось *это*. «Они потом...» — начал я. Нет, нет, нет, сказал Александр Павлович, больше не говори. Пусть вот так, и на этом конце. Но что же Бог-то? Куда же Бог-то смотрел? К примеру: должен ли Митя за это каяться? Или просто принять как есть? Не просим же мы прощения за то, что ставим жизнь на кон, когда лезем на Эльбрус или ныряем с Ласточкина Гнезда. За то, что вырастаем выше, сильнее и красивее, чем нужно для жизни. Или все-таки сказать «каюсь», особенно когда уже никаких Карпат нет в помине и никогда больше не будет, — для того, чтобы на всякий случай привести свои дела с тем, кто сказал «плодитесь и размножайтесь», а про *это* ни звука, в приличествующий взаимоуважительный порядок? Мол, чтобы и Его, и себя освободить на том свете от конфуза назначать и получать по разряду нравственности наказание за *это*, имеющее к нравственности и спасению души такое же отношение, как расквашивание от полноты жизни над обрывом на тарзанке? А, Анатолий?..

Я, Александр Павлович, думаю — я не настаиваю, но я думаю: Митя, или кто там еще, или все на свете — делают *это*, только и делают, что *делают* это, и Бог на это глядит, и черт на это смотрит. И Митя, и все. И если Митя, или я, или вы не можем делать это абы с кем, а можем только с кем-то *единственным*, чье лицо мы видим, даже если закроем глаза, то Бог, слепивший это лицо похожим на свое собственное, может взять нас под опеку — и тогда Он вдохнет в это любовь и через нее включит в свой космос. А если черт — он вотрет в это похоть и сольет с хаосом...

А Бог в это время?..

А Бог в это время вместо любви насыляет страх Божий. И такая смесь — похоть и страх — разрушает человека, быстро-быстро, и вот он мёртвенький — все равно, молодой, старый, топчет ли еще землю или уже явилась за ним безногая на букву «с»...

Тогда ладно, Толя, кончим, и так лишнего пуды наговорили. Любопытство хорошо, когда его никак не насытишь, а тут знать дальше нечего. Как Костя, только скажи...

Да в том-то и дело, что «как Костя». Костя сидел в тюрьме, когда они вернулись. За шпионаж. И обвинение, представьте себе, было не выдуманное. Ну да, он был герой, вы правы, но в нем не было обаяния героя. А в этом случае герой невыносим. Не Буонапарте, который элегантно заходит в дезинфицированный чумной барак и, не заразившись, элегантно выходит, а Саванарола, который грубо, напролом прет в петлю и на костер. Герой духа и идеи. Они все такие: они храбрее, самоотверженнее, цельнее героев действия, и их никто не любит. На этот раз Костина идея была ясной и точной, как кристалл, как безупречная аксиома. Если в природе есть тайны, подлежащие с течением времени быть распознанными разумом, то, поскольку это разум человечества, распознавание принадлежит ни распознавшему, ни какой-то части человечества, что превратило бы ее из тайны природы в заговорщический секрет, а всему человечеству. Иначе говоря, так как его лаборатория, при самом деятельном его как завлаба участии, синтезировала после пяти лет работы титанорганическое вещество, то решать, что с веществом делать, должны не военные, не КГБ и не завлаб, а любой, кто этим заинтересуется.

Вещество годилось на полимеры, полимеры на жаростойкие покрытия, интересовались всем этим, помимо военных и КГБ, лорд и его команда из окс-

фордской лаборатории, чей эпистолярный стиль Костя так ценил, а также королевские вооруженные силы и ребята из МИ-5, которые пасли лорда. Костя передал лорду технологию на симпозиуме в Варшаве, не афишируя, но и не принимая специальных предосторожностей — без тайников и переодеваний. Следовательно, а потом прокурор доказывали, что он нарушил подписку о неразглашении секретных сведений и материалов; он доказывал, что титан и все его производные, включая органические, суть элементы и соединения элементов природы, и какой же тут секрет. Секрет, настаивали они, в создании таких давления и температуры, при которых синтез становится возможен, в обеспечивающей эти условия аппаратуре; Земля, легко опровергал он, ближе к центру создает условия, не воспроизводимые ни в одной лаборатории, обеспечивая самые непредставимые процессы и реакции. Лорд тем временем хлопотал за него по своим каналам, и, по-видимому, наши сторговались с англичанами на том, что дело не попадет в их газеты, зато Костя не будет расстрелян. Измену родине из обвинения изъяли, за шпионаж дали шестнадцать лет.

Следствие шло три месяца, случай был уникальный, но уникальный своей абсолютной открытостью. Митю и меня опять вызывали и выжимали, как белье в стирке: меня по поводу личных отношений — поверхностно, профессиональных — глубже, но их попросту не было; Митю с самого начала стали шантажировать связью с Норой. Ее, естественно, тоже потянули и насели, чтобы дала показания, сколько Костя получил от *спецслужб* валюты, сколько дорогих и недорогих подарков, и, когда она в сотый раз сказала им, какой он был ни на кого не похожий, какой чистый и честный, пригрозили напечатать в «Ленинградской правде» фельетон, в целом уже готовый. «Продажный валет и продажная дама» — о том, как на деньги, заработанные мужем на предательстве, она поехала с любовником на курорт, и в доказательство предъявили несколько фотографий их с Митей, садящихся в поезд, гуляющих по Мукачеву, купающихся голыми в реке. Митя позвонил одному из двух тех отцовских друзей-приятелей и прямо по телефону, с обеих сторон прослушанному, сказал, что, если эту тему не закроют немедленно, он опубликует некоторые, в свое время не учтенные следствием по его делу факты о двойном нарушении государственной границы. Если же его решит сбить грузовик или зарезать уголовник, факты будут опубликованы автоматически его доверенным лицом за границей, которому даны на этот счет четкие указания. Под конец следователь пустил в ход, скорее по обязанности, рутинный прием — о показаниях, которые дал на него Костя: будто Фаина через иностранцев, приходивших в Русский музей, чтобы войти в контакт с ее мужем, а через него с ней, вывела на западную резидентуру одновременно Костю и Митю. Митя сказал: «Для встречи с ними мне и приходилось неоднократно пересекать государственную границу».

Через много лет выяснилось, что фотографии показали и Косте и всячески натравливали на Митю, обещая смягчение приговора в обмен на любые компрометирующие того материалы. Митя, разгуливающий на свободе и, главное, действительно *свободный* человек, да к тому же не отомщенный за серию унижений Комитета, был им кость в горле. И потом еще приезжали пару раз в зону, предлагали сюжет с вариациями: не мог же Митя не просить Костю, имеющего доступ к самым разным химикалиям, поставлять ему наркотики; или ингредиенты к взрывчатым веществам; или к отравляющим. Это было поумнее, чем работа на иностранную разведку, это никакой «Таймс» не стал бы опровергать, ни один бы лорд не вступился.

Но Митя, рассказывал Костя в 88-м году в саду Нью Колледжа в Оксфорде, стал для него в лагере фигурой наподобие некоего молодого архаического бога греков, которого он помнил то ли по мелькнувшему в школьном учебнике изображению, то ли из видения, из давнего сна. Отлитый из золота, готовый к действию, созерцающий жизнь. На одной из показанных фотографий Митя, сидя у воды, отряхивал с пятки песок, и Костя решил было, что этот бог — мраморный ренессансный мальчик с занозой из Эрмитажа. Но на другой он стоял на крыльце, голоногий, в легкой просторной рубашке почти до колен и держал ру-

ки, согнутые в локтях, как будто собирался что-то принять от не попавшей в кадр Норы, и это был Возница из афинского музея, прямой, легкий, крепко стоящий на мчащейся под ним вперед и чуть-чуть вверх колеснице, тоже раз и навсегда пропавшей из скульптуры.

Он подумал, а в лагере, с годами, это отвердело в символ веры, что Митя — ровно то, чем он, Костя, мечтал быть для Норы, ровно такой прекрасный, ровно так любящий ее. Когда в первый раз в зону приехал следователь, ставший после его дела из майора полковником, и заговорил о предательстве Мити, о том, как он и Нора воспользовались Костиным арестом, чтобы эгоистично и безнаказанно строить свое счастье на его беде, — счастье, подумал Костя и вдруг ни с того, ни с сего освобожденно вздохнул и спросил, не привез ли он с собой те фотографии. Тот, как ждал, вынул их из папки, Костя стал рассматривать, сделал еще раз, почти блаженно, такой же вдох и в первый раз за все время, что помнил себя, улыбнулся беззаботно — совсем. «В чем дело?» — спросил полковник. «В том, что человек должен быть не хромым, не лысым, не старым».

Фельетон о нем, конечно, был напечатан — накануне суда, с обычным пафосом и обычным набором вранья и даже с необычной глухой формулой «извращенец в интимной жизни», но о Норе не было ни слова. Назывался «Продажный валет», валет — читай: слуга (зарубежных хозяев) и мелкая карта (в их игре), и был подписан — Бритвин, Горлов. Я знал обоих. За пять лет до того в газете «Смена» вышел фельетон «Плевел» за теми же двумя подписями: «плевел» был я. Бритвин числился завклубом в нашем институте, и такой он выбрал псевдоним, дескать, режу, как бритва. Про «Плевел» тоска вспоминать, ну советский фельетон, канонический: что я безыдеен, бездарен, молюсь на Европу, мелко-травчат, одержим манией величия, плюю на коллектив. Но было в нем два странных пассажа: что однажды при мне началась бандитская поножовщина, стенка на стенку, и единственное, что я сделал, это произнес фразу: «Не люблю смотреть, когда мужчины дерутся». Не помог пострадавшим, не попытался остановить — это ладно, ожидаемое от таких, как я, отсутствие мужества, но жалкое вычурное заявление по поводу убийц и людей, истекающих кровью, — свидетельство особой циничности и банальности моей личности.

Ни о чем другом, кроме кисловодской стычки армян с азербайджанцами, речь идти не могла, фразу эту, я не помнил, чтобы сказал, но она была, несомненно, моя. В «Их было пятеро» жена почтальона говорит: «Люблю смотреть, когда мужчины дерутся», — и этот эпизод, как и весь фильм, мне нравился. Может, и произнес непроизвольно, но все вместе значило, что второй, кто писал, — Вадим. Тем более что через абзац шел разговор о моем неутолимом тщеславии и жажде первенства, доведшим меня, например, до того, что, проигрывая друзьям в баскетбольное «двадцать одно», я стал проводить на площадке часы и дни, только чтобы доказать свое превосходство над ними. Это было о Горловке, то есть опять Вадим, и псевдоним переставал быть загадкой. Представляя себе дешевую фантазию Бритвина, думаю, это он на нем настоял: бритвой по горлу!

Каким-то образом в молодости, если любишь человека, *пропускаешь* от него и такие неприятные вещи, и худшие обиды. Быстро — правда, как-то опрометью — справляешься с ними. Я показал, ни слова не произнося, Вадиму фельетон, он скривился, усмехнулся, сказал: «В таком деле без свинства не обходится. Я написал, как ты догадываешься, не так. Но ответственность на мне. А на твоём месте я прочел бы это с пользой для себя. Ты мне друг, но индивидуализм таких, как ты, действительно вредит общему делу, разве нет?» Говоря с Костей и Митей о Вадиме, я решил этого не вспоминать: объяснить было бы трудно, а принять мне тогда было легко.

В «Продажном валете» Вадимова часть была, очевидно, техническая, в самом общем, популярном изложении — и, предположительно, о пути и логике, приведших к преступлению. О том, как с детства Костя брал под сомнение все без исключения факты и аксиомы, так что впору было врачу заинтересоваться его психическим здоровьем; как он был помешан на *собственном* мнении и убеждении и соглашался, что дважды два четыре, только если приходил к этому

независимо от других; как постепенно *идея*, и опять-таки добытая исключительно своим умом, стала на место прежней *системы убеждений* и подчинила себе самое жизнь. Думаю, в этом были отголоски моих рассказы Вадиму о нем. Наш общественный дух и мораль, следовал переход, всецело поощряют как приверженность идеям, так и независимость мысли советского человека, но идеям, выношенным великими умами и проверенным историей, и мысли не индивидуалистической, эгоцентрической и абстрактной, а направленной на любовь к другим и, как следствие, на благо других.

Что это вы, Александр Павлович, смотрите на меня от слова к слову неприязненной и подозрительней, так что мне от слова к слову всё неуютней? «Анатолий Генрихович,— сказал он холодно и серьезно,— уж не морочите ли вы меня?» «Не понял». «А я объясню.— Он встал, вышел из кухни и вернулся в брюках и рубашке.— Рассказывал вам что-нибудь отец обо мне? Разыграли вы все это знакомство в церкви для каких-то ваших целей или для забавы в нынешнем демократском духе?»

Потому что, сказал он, видя мое недоумение и смягчаясь, ты, Толя, рассказываешь историю уж больно близко к тексту. А текст — мой. Мы уже вернулись из Челябинска обратно в Ленинград, встречались, но по двое, по трое и нечасто — работы было выше головы. Однажды в воскресенье сидели на Неве возле Кировского моста напротив Петропавловки, я, Петя и Генрих. У самой воды — там ступеньки вниз, лодки раньше причаливали. Петя говорит: «Жаль, Бога нет. Такая благодать, а поблагодарить некого». В шутку. А я тоже в шутку: «Как это вы, Петр Батькович, социализм строите, а о Боге жалеете?» Получилось неуклюже, не смешно. Генрих уставился на мост и говорит: «Как он филигранно это сделал! Восхищаюсь». Кто? Что? «Чкалов. Чтобы точно по центру средней арки пролететь!» Чкалов за полгода до того схулиганил, пролетел под мостом, история была шумная. Понимаю, что Генрих переводит разговор, чтобы покрыть мою неловкость, но хочу показать, что никакой неловкости, и уже прямо к Генриху обращаюсь: «Петр-то Батькович наш, оказывается, скрытый церковник и мракобес». Генрих говорит: «А хотите, я сейчас на спор Неву туда и обратно переплыву?» Вроде как продолжая про Чкалова.

Должен тебе сказать, Анатолий, что твой отец плавал — как пел... Он, Александр Павлович, окончил плавательную школу при Обществе спасения на водах, бывшем Императорском. Он и пел, даже на первом курсе консерватории учился... Я, Толя, не про вокал, я говорю, что он плавал — как песню поют: свободно, легко, не нарочно. А голос у него, это правда, был душевный, говорил мягко — хотя мало говорил... Это с вами; а умел голосом сказать и яростным, интонация — ну испепеляющая. Мог и подзатыльник дать, короткий, резкий. Но облегчающий: нашкодишь, тут же сразу и наврешь, мол, не я — и почти как ждешь получить, чтобы в один миг ни шкоды, ни вранья, одним щелчком. Фаина, когда мы после похорон Митинового отца от нее уходили, тоже на прощанье сказала мне — как и Митина мать: «Кланяйся твоему отцу». Я его побаивался, но в сто раз меньше, чем, например, то любил, как он пахнет, каким-то дымком и какой-то речкой, как улыбается насмешливо, как ступает будто на одних носках. Как говорит: «Генерал. А что генерал? Ты на него в бане посмотри».

Маму по-другому, маму я на трамвайной остановке встречал, нес домой сумку. У мамы ноги в подъеме опухали, участковый врач, находится за день по вызовам, ляжет на диван, и я ей массаж ступни делаю. Беру ее фонендоскоп, слушаю через него пульс, прикладываю к горлу, слушаю хрипы и как она смеется. Чепуха, но через это *привыкаешь* любить: уже непонятно, встречаешь, потому что любишь, или любишь, потому что с десяти лет встречал; непонятно — и неважно. Немножко она еще и заставляла, но потому что — *мать надо любить*, заповедь, и, стало быть, нечего рассуждать, люби, *чтобы продлились дни твои на земле*. То есть заботилась-то, давая мне заботиться о ней, — она обо мне, любила — она меня, учила меня этому. А отец учил дрова пилить-колоть, плавать учил. Я лучше учителей не знаю... И, значит, поплыл он через Неву...

Значит, поплыл: снял рубаху, штаны чесучовые — и бултых. Снесло поряточно, к Трубецкому бастиону, он берегом назад до самой конверки прошел — и обратно: как раз к нам, с поправкой на течение. Вдоль парапета столпился народ, милиционер подошел: ваши документы. Он подает книжечку Осоавиахима, так и так, заплыв перед соревнованиями. В честь Валерия Чкалова, говорит Петя. Мы пошли. Генрих к себе поехал, я Петю до дому проводил. И в дверях он опять: «Как хочешь, а все-таки жаль. День сегодня — как праздник, все пришли, одного Бога нет». Я говорю, это общее мнение: Бога нет. А он: главное, что и мое личное; потому что нечего ему делать там, где общее мнение, что его нет. А мнение, продолжает, общее наше — это ведь то, что сказали Маркс с Энгельсом и Ленин с Плехановым. Всё правильно, положим, сказали, но они не святые отцы, чтобы за ними слово в слово повторять. Светлое будущее лучше бы и головой своей строить, не только руками — как думаешь?

Я с этим месяц ходил, из полушария в полушарие переключивал. Подумаю — и опять я счастлив, что у меня такой друг, вольный, бесстрашный, ни на кого не похожий. Преданный общему делу, но не на веру принимающий, а исследующий своим умом, экзаменующий самые-самые авторитеты. А в другой раз — отчаянное беспокойство находит: это же уклон, это же оппозиция, точнее, не уже оппозиция, но дорожка к ней. Я так Петра потеряю, в любом случае — за ним ли пойду и оба в пропасть сорвемся или одного его отпущу. Наконец, поехал к Андрею, он выслушал, сказал, надо посоветоваться с Марком. Я говорю: может, без Марка? Обязательно с Марком, Марк чекист со стажем, я перед ним с института открыт. Он это сказал, и в тот же миг напал на меня ледяной ужас, как будто сделалось что-то страшное, чего уже не поправить, и сделалось ни кем, как только мной. Через миг отпустило, я подумал: Марк — тот же Андрей, чего это я? Тот же Андрей, тот же Петр, тот же я. Спал между мной и Петей, будил, когда храпели. Странно только, что виду не подавал, что из органов. Должно быть, секретность.

Марк достал наливку, завел патефон, поставил Лемешева, «Сердце красавицы», новую пластинку. Я рассказал, и, пока рассказывал, опять накатил первый ужас, потому что ничего, ничего, я понял, не было, о чем бы надо вот так, как о деле, как о серьезном деле, как о серьезнейшем, рассказывать, но от моего рассказа оно и получалось, серьезное, серьезнейшее, и только от рассказа. Марк сказал: «Первозванный, а ты что про это думаешь?» — Он так к Андрею шутя обращался. Тот — «с одной стороны», «с другой стороны». А ты? — мне. «Думаю, не о чем тут думать, — я уже твердо, уверенно ему говорил. — Ты же зовешь Первозванный Андрея, и контрреволюции в этом ведь нет». «Ты Петра любишь? — сказал он. — Очень любишь, а? И я люблю. И надо его спасти, пока не пропал окончательно. Ты больше всех любишь, тебе и начинать».

Он сказал, что мы с ним напишем статью, не о Пете, а о тенденции: тенденция опасна. А Петя будет лишь как наглядный пример. Я напишу про то, почему меня это взволновало — почему то есть я пришел к Андрею посоветоваться. Напишу без оглядок, без виляний, как написал бы близкому другу в тревоге за другого близкого друга — который, скажем, стал выпивать, стал картежничать. А он, Марк, поместит этот частный случай в более широкую панораму. Я заорал: да ни в коем разе, при чем тут статья, мы же все вместе три года из одного корыта хлебали, — но чем громче кричал, тем яснее было, что всё, деваться некуда, статья, считай, уже напечатана. Марк сказал, а тебе, может, тоже Бога жалко, скажи честно? А вожди мирового пролетариата — как они тебе? Снова завел патефон, и Лемешев запел «Та иль эта, я не разбираюсь».

Он пошел провожать меня до трамвая, на остановке сказал: «Ты не нервничай. Я Петю в обиду не дам. Но и отнять у себя не дам. Тиснем статейку у него в многотиражке: и шуму не будет, и до его высококобия дойдет». И я худо-бедно успокоился. «А помнишь, — говорит он, — Петькин снимок, где он длинноволосый?» Был такой, Петр его в общежитии над койкой к стене прикрепил; рассказывал, что бабка хотела внучку, а родился он, и, когда она умирала, а ему было восемнадцать, упростила отпустить волосы, и он после ее смерти, прежде чем

сбрить, сфотографировался. «А я сейчас подумал,— объяснил Марк,— не от повского ли он корня?» И опять мне тошно стало: Петя там нежный, в самом деле как девушка, и видно, как бабушка им таким любовалась.

Писание наше вышло в «За социалистическое лесное хозяйство!», отраслевая газета. Название давал Марк — «За деревьями леса не видать». *Деревьями* были мнения «отдельных личностей», *лесом* — коллективное. Маркса и прочих он вычеркнул, «святых отцов» заменил на «священный синод», дескать, Петя говорит, что Центральный Комитет не священный синод, постановления которого обязательны для всех верующих. Потом о пути и логике, ведущих к политической оппозиции, о многообразии точек зрения, но в русле единой идеологии — точно как в фельетоне про Костю. В заключение шло, что авторы — близкие друзья героя статьи, им было нелегко писать горькие слова о товарище, кого они давно и преданно любят, но в новой эпохе — новая любовь, не чувство, а установка и состояние, любить можно и даже нужно, не унижая любимого снисходительностью и всепрощением, а борясь за него, порой безжалостно. Подписи — Булатов, Горнов: горн, в котором железо надо пережечь в булат. Почему я и подумал, что ты эту историю знаешь и издеваешься надо мной.

Вот. Больше я Петечку моего не видел.

Собрали лесотехники собрание и по нашей статейке исключили его из партии. И ходатайствовали перед органами, чтобы досконально его проверили. И сгинул. Потом Марк. Потом Андрей. И каждый раз меня на Литейный вызывали и просили подписать на них характеристики. Бить не били, только в первый раз, когда на Петю, и я стал отказываться, сгребли вдруг сзади за воротник и с маху лицом об стол. А так — даже уважительно: положат характеристику, уже отпечатанную, четыре копии, палец поставят, где расписаться, — благодарим, пропуск проштемпелюют и до свидания. Еще три раза подписывал, но это непосредственно по работе, чистка шла. Ждал на Генриха, но нет, не вызвали.

Вот и вышло, что в то воскресение на Неве последний раз я на Петю смотрел. «И за это,— Александр Павлович встал и перекрестился,— каждый день благодарю Бога — что упас меня тогда от встречи с ним. Я бы его увидеть не перенес, наложил бы на себя руки. Теперь-то встреча скоро состоится, но теперь уже не страшно — так долго было страшно о ней думать, что привык, а к девяносто пяти годам и сил ни на что, включая страх, не осталось. А там, думаю, каждый каждому столько счетов представит, и таких страшных, что все более ли, менее один другого погасят, нейтрализуются, и не рыдать мы будем, а только кряхтеть. Так что и ты меня, Толик, не топчи: это очень трудно себя, свою жизнь *в порядке* держать. Даже если на рожон не лезешь. Потому что против рожна не попрешь, но рожон редко кто узнаёт, если *не в порядке*. Не топчи старика».

Вы, Александр Павлович, не прибедняйтесь. Вы старик старый, я — старик молодой, но главное, что оба мы старики, — это главное. Я, может, немножко не дожил еще, вы, может, чуть-чуть лишку хватили, или наоборот — разница копеечная. Старость ведь свойство врожденное и неизживаемое, она только растет. Копилка сроков. Годовалый ребенок уже имеет старости на годик, ну а мы с вами — на шестьдесят два, на девяносто четыре. А так, старость — это муляж вечности, а вечность — сама муляж, уж не знаю чего, минус-жизни. Или, если хотите, вечность — это доведенная до абсурда старость, старость, старость. Насмешка над старостью как копилкой времени, издевательство — которое морали привычно и удобно выдавать за наказание.

Но время еще смешнее вечности. Еще забористее, еще более издевательское. Этим десятиклассникам, между чьими громадными ногами и подолами я путался, им, выходит, сейчас за семьдесят, многие, небось, в могилах — а времени не прошло вообще. Время — мое, ваше, всех миллиардов людей, за исключением этих пятнадцати—двадцати уральских девах — было занято другими вещами, как комната составленной в нее мебелью. Между тем тысяча девятьсот сорок третьим и этим тысяча девятьсот девяносто восьмым их никто — ни само время — не касался. Может быть, одна какая-нибудь чудом училась архитекту-

ре у супругов Лауфер, с которыми мой отец пел «Лесного царя», но и над Лауферами уже двадцать пять лет забавляется вечность...

Толик, я извиняюсь, но с каких это пор твой отец так распелся? Я всё молчал, но у Генриха голос был *козлетон*, а слух — медведь на ухо наступил. Мы все смеялись и руками на него махали, когда он пытался нам подтянуть и пытался он крайне редко, крайне — только после лишней рюмки. А ты какую-то консерваторию выдумал, «Нелюдимо наше море»...

Я, Александр Павлович, до того как стал в эту церковь ходить, пятнадцать лет был в Рождества Предтечи, на Пресне. Стоял раз на Родительскую субботу — и на душе одна тяжесть, тоска и слезы. Прошел вперед, к звонарне — тогда колокольни были запрещены, — где людей никого, под леса, с которых маляры стенную роспись подновляли, затиснулся в проем возле арки, и ни в одном слове панихиды, ни в пении, ни ладане не было для меня утешения. Все умерли: отец, оба деда, обе бабки, дядья, тетки, Сева месяц назад; остальные умрут: мама, Митя, Нора, Костя, Иосиф, та, что на Пикассо ко мне подошла, все до одного, и хоть как *объясняй*, свою гниль вину, первородный грех воспоминаний, о том свете, избыточном, сияющем и спокойном, мечтай, примириться с этим нельзя. Все объяснения только и доказывают, что нельзя. Смерть-то ведь не болезнь, а *смерть* — а все объяснения между тем грубая терапия. Как вот этот намалеванный орнамент, в который я уперся взглядом: стебель, два листка, цветок и плод — дюжина таких кустиков по краю арки. Плодов таких нет, цветов таких нет, содрано, небось, когда-то с византийских канонических узоров и десять раз перекрыто слой по слою бездарной кистью.

В эту минуту проходит отец Георгий, он раннюю служил. Остановился, благословил; шепотком: как ты, Толя? У нас с ним в один день именины были — его Георгий моего Анатолия обратил, но сперва мой его помучил — и каждый год мы друг другу маленькие подарки делали. Я отвечаю — для краткости: Севу жалко. Сева его любимый друг был, вдвоем выглядели как братья, умер в сорок с чем-то от таинственной болезни вроде ветхозаветных. Он говорит: до невозможности! И не привыкнуть и не успокоиться. И ничего не разобрать, что почему, что что значит. Вот как этот узор: намазано, намазано — а кто-то взглянет, и ему в этом красота открыта, каждый листок, лепесток и зернышко живые. И, когда он так сказал, орнамент на миг изнутри зажегся — и тут же опять потух.

Так и мы с вами сегодня, Александр Павлович. С какой стати буду я на мертвого врать, да еще на родного отца! И слух отменный был, и голос. Мне, откровенно говоря, все равно, отец на снимке или вообще человек, с его именем, в рубашке и штанах. И вам, если руку на сердце положу, ведь уже неважно, отец мой — этот Генрих на фотографии или он мне никто, правда? И никому на свете неважно, кроме, может быть, самого Генриха на *том* свете, и то сомневаюсь. Важно, что *как-то* все мы со всеми повязаны или *можем* быть повязаны. Что значит: *должны*. Одна деревня. Не умозрительная, удобная для социально-психологических спекуляций *мировая*, а моя под Переславлем.

И чтобы это раз навсегда увидеть, надо просто жить-жить, жить-жить и увидеть. Вот вам и преимущество старости. Не Бог вещь какое, если честно сказать. Это все чепуха, что говорят старые люди: дескать, молодость — болезнь, а настоящая жизнь — с пониманием, что главное, что второстепенное, с чувством полноты, спокойная — в старости. Молодость, она достигается, теряется и — как все теряемое — потому такая дорогая.

А старость всегда под рукой. У старости только одно достоинство можно найти перед молодостью, да и то ее же ущербом порожденное: нехватка сил на всё, в том числе и на нелюбовь, — потому старики так часто и выглядят любящими. Старость бывает хороша только как изнеможение — не от тягот жизни, не от груза лет, а от полной прожитости. Сродни Митиному в Карпатах — если не мерить его циркулем морали, истыкивать острием по живому...

Толь! А «полная прожитость» — это что же значит? *Чем* полная? *Без*, как говорится, бога, без черта, с одной только жизненной силой, с утра и до вечера

могучей энергией в чреслах, в плечах, в коленях — это полная? Как у Мити, ты говоришь, с этой Норой: полная только «этим», *безо* всего остального. Или у Кости: полная, только если *без* «этого». Если *без*, то какая же *полнота*?..

Я говорю, *вы* говорите, все говорят, все мы говорим. А проживаем жизнь — только когда любим. Ведь строго-то говоря, Иисуса *любили* только жены-мироносицы да родная мать, человек десять. Ученики, как умели, следовали, внимали, верили, боготворили, люди, как умели, благодарили за еду, за лекарства, почитали, кто-то даже и восхищался. Но переночевать ему никто особенно не предлагал, в гости тоже не так чтобы часто, новую хламиду вместо истрепанной и пыльной тоже. И вот к *такому*: одинокому, обреченному на одиночество, неприкаянному — вдруг, чувствуешь, душу прохватывает какое-то дуновение нежности, сперва пронзительной жалости и сразу — пронзительной нежности. К нуждающемуся в твоём участии. Не к «Я и Отец — одно», не к повесившему землю на водах, а к кому-то, кого знаешь *до* евангелия, *до* христианства. С кем сводит тебя в школе, в поезде, с кем сближаешься, как с приятелем, — к *ближнему* органически, а не умственно. И ни с того, ни с сего начинаешь любить.

Любовь — как та роса: сама по себе, сама для себя, против законов природы, света и мрака ложится, сама улетучивается. Как та, что была до дождей, до человека, до возделывания земли, когда *пар поднимался с земли и орошал все лицо земли*. Жизненная сила. Все прочее: пение во весь голос, быстрый бег на длинную дистанцию, рискованные авантюры и строительство социализма — тени, какие облако этого пара отбрасывает на жизнь. Темным лесом-то — темным лесом, но ведь *за любовным интересом* шла девица! А когда не любовный, а так, *инте-, инте-*, то и выходи на букву «с».



Дмитрий ПОЛИЩУК

Н О В Ы Е С Т И Х И

Просыпайся

Но в зеркале себя не увидеть
с закрытыми глазами, как бывает,
когда над хирургическим столом
плывешь в бесплотном теле... так, вернувшись
из дальнего полета над волнами,
 заметишь вдруг себя на берегу
лежащим неестественно, как труп,
с подвернутой ногой и хитрой блестящей
сквозь слипшиеся веки...

* * *

Мне знамения были. Острый ястреб
ворону срезал, только и успела:
кар! кар!.. В тот день я потерял любовь.
Другое вскоре: раненая крыса,
за ней по кругу прыгает ворона,
долбя в глаза... Я засмотрелся
и прозевал, как сзади подошли
те, кто подходят сзади. Был избит
и впредь напуган, не шпаной — суженьем
зазора между молнией и громом.

Любовь моя,

ты полетишь зеленой стрекозой
над полем вдоль петляющей тропинки,
легко перегоняя звонких мух,
быстрее, чем во сне, скорее взгляда
тебе во след, когда, коснувшись неба,
исчезнешь без оглядки навсегда...
Тогда-то я воскликну: ах, зачем же
я изобрел тебе велосипед!

*Из семисложников**М. А-ой*

1

Стих замечателен твой,
поверхностной простотой
речи обыкновенной.
Так реки сокровенной,
хоть и прозрачно лоно,
от головы наклона
чудный зависит секрет:
рыбка блестит или нет.

2

Встретиться и не чаем,
а будет случай в году —
в стоячем кафе за чаем,
столкнемся где на ходу,
бездельный твой вспомни путь
и — голосом задрожь,
и о себе расскажи
хорошее что-нибудь.

Хайкай

*(однажды пополуночи в обратном
течении беседы с Димой В.)*

Вот мы поговорим по телефону,
положим трубки, и тебя не станет.
Не станет и меня.

Мальй меланхолический речитатив

Ценно лишь то, что тленно.
Важно лишь то, что бумажно.
Дельно же то, что бесцельно.
Что эфемерно, то верно.

Что безнадежно, то можно,
а что возможно — ложно.
Скучно все то, что послушно;
что безысходно — свободно.

То, что напрасно — прекрасно,
то, что тревожно — надежно;
все, что неволью — так больно!
Но то, что беспечно — вечно.

Et cetera...

* * *

Е. Садур

Признаться, грешен, стих найдет порой —
фиксирую за стеночкой фанерной,
что выболтает вслух в горячке нервной
мой квартирант — лирический герой:
— И мне земли не чуждо естество,
но только небо я не отрицаю,
часами зыбкий воздух созерцаю
в жемчужных колебаниях его.
Как переросток в группе малышей —
других и самого себя мучитель, —
все ожидаю: явится Учитель
и вытолкает умника вашей!

Завещанье Ли Бо

Что завещаю, прежде чем умру?..
Коль слышишь мусикийскую игру,
и рифм плывут звоночки отовсюду,
а руки так и тянутся к перу, —
писательскому не поддайся зуду,
молчи, исчезни, дай случиться чуду.

Еще желанье

Звезда катилась по небу так долго,
что я примету вспомнил: загадать
мне нужно что-то... и успел, желанье
ожгло тоскою прежней — написать
еще стихотворенье. Так сбылось.



Три песни о перестройке

С ПРОЛОГОМ, ЭПИЛОГОМ И ЭПИГРАФОМ

Послушай, о, как это было давно.
А. Вертинский

Пролог

Один честный коммунист все время боролся против властей за правильный коммунизм, отчего практически постоянно сидел в тюремном замке, хотя первый раз его посадили только тогда, когда он сказал, что новая экономическая политика (НЭП) должна продолжаться вечно.

Далее он был против и других мероприятий партии и правительства. В частности. Потому что никогда не отрицал благородства поставленной конечной цели — правильного коммунизма, шествия всего народа, состоящего из отдельных коммунистов, к сияющим вершинам, где всем нам дано будет вкушать и райской жизни, и вечного блаженства. «Как море белопенное с его волной, будет вершиться правильная жизнь теперь уже практически во все времена — и ныне, и присно, и во веки веков!» — думал коммунист, веря во все хорошее на ледяных нарах либо распластавшись под тяжестью нечеловеческого труда, организованного коммунистами посредством системы учреждений Главного управления лагерей (ГУЛАГ).

Он был против так называемого раскулачивания и насильственного объединения уцелевших крестьян и люмпенов в странные объединения, получившие названия коллективных и советских хозяйств (КОЛХОЗ, СОВХОЗ), не видя в них ровным счетом ничего коллективного и советского, а предрекая лишь один будущий голод, тотальную пауперизацию, покупку пшеницы у Канады, цинизм, людоедство, смыв жизненного гумуса нечерноземной полосы. Он ужасался, узнав о предпринятом коммунистами в 30-е годы избиении собственных кадров, понимая, что в случае непременной войны с империалистами эти преступные деяния приведут страну на грань оккупации и полного ее исчезновения как государства. Он горячо приветствовал послевоенное строительство и борьбу с разрухой, но, выпущенный на свободу в короткое время XX и XXII съездов КПСС, выступил с критикой сразу же очень многого, почти всего, проведенного и проводимого коммунистами и в этот дискретный отрезок времени: травли Зощенко и Ахматовой, шельмования под флагом борьбы с космополитизмом людей, желавших нашему обществу большей открытости (как декабристы дошли до Парижа, наши тоже прошли всю Европу, увидев ее хоть и разоренную, но собственными глазами), волюнтаристского подхода к проблемам сельского хозяйства (повсеместная кукурузизация вплоть до Полярного круга, поспешная распашка целинных земель без учета будущих «черных» бурь и суховеев), создания атомных и водородных бомб (здесь он в дальнейшем признал свою ошибку, связанную с поспешностью выводов и неполнотой информации, академику Сахарову действительно нечего было стыдиться). Честный коммунист призывал к более разумному строительству ГЭС: ведь будут затоплены громадные пространства,

а разве нам вместо родной советской земли нужны лишь вода и электричество? Грядущую экологическую катастрофу предвидел он, бил в набат: отчего так много промышленных предприятий группы «А», разве в этом забота о человеке, базис построения правильного коммунизма, если смог будет душить советские города, высохнет Арал и соляные бури уьют трудящихся? Поспешная химизация, мелиорация, приведшие к обратным результатам, дорогостоящие космические программы... Уже снова находясь в тюремном замке, он резко осудил ввод войск в Чехословакию, полагая, что коммунисты способны были и здесь разрешить свои братские проблемы без насилия, танков и ответного неверия в правильный коммунизм. Да что там говорить! Мы все — граждане своей страны, включая тех, у кого это гражданство отняли, и у старого коммуниста просто сердце кровью обливалось, когда он слышал, пришивая на швейном станке рукава к телогрейкам, разные печальные вести: грязная война в Афганистане, коррупция и разложение рядовых и высокопоставленных коммунистов, отток рабочей силы в города, где она спивается в виде «лимиты», падение нравственности, бессмысленный поворот северных русских рек неизвестно куда и, наконец, Чернобыль — о, тут сконцентрировалось все, что так волновало его сердце, и сконцентрировалось в таких неведомых формах ужаса, которые отнюдь недоступны были, например, сознанию Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ульянова-Ленина, а конгениальны лишь прозрениям Данте Алигьери, Иеронима Босха, Франца Кафки и Сальвадора Дали.

Все это знал один честный коммунист, но все равно твердо верил в светлое будущее, понимая, что оно все равно состоится вопреки всему, как бы кто бы чего бы ни говорил против — антисоветского и антикоммунистического. Ведь слишком много сил, душ, материальных и моральных ценностей загублено, слишком многие в это втянуты, считай, весь мир, а разве это может быть зря? Ведь тем самым нарушаются законы существования живой жизни и ее белковых тел на Земле. И этот баланс нарушается, когда количество горя преобразуется в обратную величину и качели поднимаются вверх перед новым падением!..

Перестройка придала ему сил, когда он выходил на свободу за ворота вахты одного из исправительно-трудовых учреждений, расположенных на территории Мордовской АССР. Было лето. Празднично гудели шмели, осы, яблоки глухо шмякались в траву приусадебных участков, принадлежащих обслуживающему персоналу этого учреждения. Открылся низенький деревянный поселковый магазин, где торговали комбижиром, пшеном и пайковым сахаром. Иссохшая глиняная дорога вела куда-то, и старик шел по этой дороге, радуясь жаре, свежему воздуху и тому, что его дважды обогнали, вздымая тучи пыли, мощные самосвалы, груженные досками, шифером, цементом. СССР снова на стройке! Сердце старика радовалось и ныло в сладком и страшном предчувствии грядущего. Вот они уже недалеко, эти сияющие вершины, где всем дано будет вкусить и райской жизни, и вечного блаженства. Как в море белопенное ступил он и, осторожно нащупывая дно, шел все дальше и дальше.

..Мертвая зыбь вдруг окружила его, и он внезапно, судорожно огляделся по сторонам, как бы пронизанный гигантским разрядом электрического тока от всех электростанций, расположенных на советской земле (ГЭС, ГРЭС, АЭС).

Он огляделся по сторонам. Мертвая зыбь окружала его. Везде, как застывшие волны, торчали головы других коммунистов, чьи открытые глаза с надеждой глядели на него. Его раздражило выражение этих глаз. Мертвая зыбь окружала его. Резкое сиянье сияющих вершин резало глаза, и трудно было различить в пространстве воздуха лики Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева, Ельцина. Мертвая зыбь окружала его...

Он вынул из кармана широких брезентовых штанов именной револьвер, некогда подаренный ему коммунистами за беззаветность, проверил наличие патронов в барабане и успел застрелиться до того, как к нему подбежал тюремный врач, вызванный по телефону прапорщиком конвойных войск МВД, скупавшим на вахте этого исправительно-трудового учреждения, расположенного на тер-

ритории Мордовской АССР в двадцати километрах от железной дороги. Он застрелился до того, как к нему прибежал тюремный врач. Он выстрелил себе в голову, после чего успел разрядить всю обойму сами знаете в кого...

«Трах-тах-тах», — слышал выстрелы склонившийся над его бездыханным телом тюремный врач, который не по своей воле пошел после института работать в систему МВД и которому казалось — трах-тах-тах, — что это и не выстрелы вовсе, а последствия его вчерашней дикой пьянки с товарищами и девками.

Тов. Дристов

Веселая, эстетически выдержанная компания бывших советских людей собралась однажды, чтобы вместе встретить Новый год, угощаясь шампанским, водкой, красным и белым вином, портвейном, ликерами, коньяком, джином, виски, прочими напитками, закусывая семужкой, бужениной, паюсной, зернистой, лососевой и минтаевой икрой, сервелатиком, киви, анчоусами, устрицами, авокадо, прочими продуктами.

Гости приехали кто на «мерседесах», кто на «БМВ», «вольво», «лендрове-рах», так что парковка у дома Филарета Назаровича, куда он их всех пригласил в свое сияющее елочными огнями трехэтажное жилое помещение, оказалась вся совсем забитая, и лишь выделялись там коллекционные «Жигули» — «шестерка» Володьки, младшего сына Бланковых, левака и фрондера, который уверял домашних, что ездит на этой потрепанной машине отнюдь не из пижонства, а по идейно-экологическим соображениям, предпочитая к тому же экономически дешевый бензин А-92 всяким там «суперам», «дизелям» и прочей, как он забавно выражался, «примочной хреноте».

О, эти томительные минуты перед тем, как стрелки кремлевских часов сомкнутся на цифре 12, радуя весь бывший советский трудовой народ! И приглашенные слоняются по углам, не зная, куда себя девать, и раздумывающаяся хозяйка в бриллиантовых сережках тихо волнуется: всего ли достанет на празднике, не украдет ли кто столовое серебро, правильно ли упреет гречневая каша, не пересушатся ли в микроволновой печи беззащитные поросята, не накурятся ли марихуаны подростки, возглавляемые неутомимым вихрастым Сенькой Сидоровым, будущим депутатом Государственной Думы? Сколько хлопот, сколько вопросов.

Филарет Назарович не выдержал и постучал тускло отливающим ножом фирмы «Золинген» по хрустальному графинчику отечественного производства, выполненному патриотами города Гусь-Хрустальный в форме бывшего центрального здания КГБ, Комитета Государственной Безопасности, учреждения, что, переименовав название, и по сей день существует на Лубянской, некогда Феликса Дзержинского площади, но является также и основным спонсором международных игр «Юный плюралист» имени академика Сахарова.

— Требую внимания! — шутливо заявил он. — Требую внимания, господа и... — Филарет Назарович, сделав паузу, отвесил легкий поклон в сторону Дристова, — ...и товарищи! Все вы знаете нашу давнюю традицию — художественно изложить перед Новым годом, как все мы, выражаясь языком аппаратчиков эпохи строительства коммунизма в отдельно взятых странах, «дошли до жизни такой», то есть стали тем, чем мы стали. Вы помните, много лет назад я начал традицию с себя, живо описав, как поражен был я, тогдашний секретарь Союза писателей, непосредственно участвовавший в репрессиях против борцов против культа строительства коммунизма в отдельно взятых странах, когда зашел седьмого ноября в партком Московской писательской организации, ныне превращенный в валютный бар, и обнаружил, что там мирно угощаются и закусывают наши бывшие идейные враги от Аксенова и Бродского до Янова включительно — через Алешковского, Владимира, Горенштейна, Копелева, Максимова, Синявского, Солженицына, что все эти годы сидели у меня, как мышь под венником, а теперь, видите ли, раздухарились... Как громом пораженный, хотел я закрыть подлую дверь, но меня тоже втащили, усадили, старика, близ уютного жаркого камина, дали в руки

полный стакан джину аглицкого и довели до моего сведения ту формулу, которую я и дальше понес в массы: «ЧТО ПРОШЛО, ТОГО УЖ НЕТ...»

— Ой, да ты уже в который раз это рассказываешь, Филя, ну прям всем надоел! — досадливо махнула стройной ручкой в перстнях из драгметаллов Зинаида Кузьминична.

— Цыц, женщина! — скорее ласково, чем шутливо окоротил жену хозяин дома и мягко добавил, желая скрасить свою невольную резкость: — Вряд ли, Зинок, ты посмеешь упрекнуть меня в забвении священных сердцу каждого бывшего советского человека принципов свободы и демократии. Ведь на протяжении многих лет у меня уже все высказались — и Свистонов, и Бабичев, и Канкрин с Гаригозовым, и Шенюпин с Епревым, и наш уважаемый Б. Б., и даже Изаура в прошлом году поведала нам о своем нелегком детстве на улице Грановского под властью ленинско-брежневской партократии. Правда, Изаура?

Он обвел взором стол и стулья, где, вооружившись накрахмаленными белоснежными салфетками, сидели все упомянутые персонажи.

— Правда, — была вынуждена согласиться Изаура, которая о чем-то тихо беседовала с леваком Володькой, склонив набок свою прелестную головку, украшенную прической «барашек».

— Вот я и говорю! — снова засмеялся Филарет Назарович.

— Да? — задорно подбоченилась Зинаида Кузьминична. — И ты думаешь, что выиграл наш спор? А Дристов?

— Что Дристов? — не желал сдаваться Филарет Назарович.

— А то, что мы до сих пор почти ничего о нем не знаем. Правда ведь, Дристов? Откройтесь нам, а то этот говорун-невежа вечно никому слова вставить не даст, — шутливо укорила она мужа.

— Ах ты, сука! — вспыхнул хозяин, побагровев.

Но гости все равно облегченно расхохотались, вовремя вспомнив, что такая комическая перепалка тоже в традициях этого хлебосольного старомосковского дома, и тот, кого называли Дристовым, невысокий мужчина с залысинами, в английском пиджаке, явно купленном в обычном коммерческом ларьке, почесав себя за ухом и с хрустом высморкавшись в громадный клетчатый носовой платок, начал:

— Совершенно взбешенный возвращался я тогда с партийного собрания. Думал, будет как всегда, — проведем собрание, споем «Интернационал» и пошлем коммуниста Никифорова за водкой. Ан нет! Прочитав отчетно-выборный доклад о работе «первички» в новых условиях, наш парторг Борисов, оказавшийся трусом, маловеком, нытиком и ренегатом, пряча глаза, нагло заявил, что он, видите ли, разочаровался в идеалах строительства коммунизма в отдельно взятых странах и поэтому выходит из партии. Потому что КПСС, по его мнению, виновата во всех преступлениях, совершенных в СССР, начиная с хулиганского октябрьского переворота семнадцатого года вплоть до наших дней, и он, дескать, этот козёл, овёц противный, фофан обтруханый, вступил в партию, чтобы, стало быть, облагородить ее изнутри, бился как рыба об лед, но так ничего и не облагородил, не улучшил. Просит также зла на него не держать, но твердо и решительно заявляет, пытаясь улыбаться: «Прощайте, други!»

Ну чем ты тут ответишь на такое нахальство? Мы посидели, помолчали, покурили немного да и разошлись, не сказав ни единого слова ни друг другу, ни этому двурушнику, который вечно провозглашал на всех пьянках здравицу: «А теперь, товарищи, выпьем за нашу партию и ее ленинский Центральный Комитет». Эх, к чему тут слова!..

В прескверном настроении шел я по городу, но если, к примеру, и Филарет Назарович, и многие из вас почти сразу правильно определились, выпивая с бывшими антисоветчиками, как с нормальными людьми, то я первоначально растерялся, как тот комсомолец из произведений Михаила Светлова, Эдуарда Багрицкого и прочих поэтов, временно не понявший и не принявший новой политики, в тот раз — экономической... Комсомолец... Да...

Тем более — жена. Дело прошлое, но детей, которые теперь от меня, естественно, отказались, Маргарита воспитывала в духе вещизма. К тому же для

всех, исключая меня, не являлось секретом, что она трахалась с разведенным американцем, набожным Карлой, который и увез их всех наконец в свой Мидлтаун, штат Коннектикут, USA. А я узнал об этом отвратительном факте адюльтера akurat накануне партийного собрания от соседа по лестничной клетке, которому она в который раз перепродавала кожаные джинсы, а я еще, идиот, выходил на лестницу курить, дескать, мистер Карла, мать его курицу, не выносит, видите ли, паразит, табачного дыма...

Дристов закашлялся, смущенно глядя на публику, особенно на женщин, а больше всего — на Изауру. Но мертвая тишина, воцарившаяся за столом, вдохновила его, и он продолжил свою нелегкую исповедь:

— Конечно, я готов был прибить жену секачом для рубки капусты, узнав такую гадость, но я никогда еще не опаздывал на партийные собрания, решил не делать этого и сейчас, несмотря на оптимальный случай, который можно было бы счесть уважительной причиной. Поэтому я оставил развратников вдвоем и отправился все-таки на партийное собрание. Теперь вам легко представить, что творилось у меня на душе в этот промозглый декабрьский день накануне Нового года. Филарет, ты не дашь соврать. Ты помнишь, что я был вне себя от бешенства, товарищ?

Филарет Назарович коротко кивнул.

— Одни гнусности видел я вокруг себя, выйдя с партийного собрания, проходившего на улице 25 Октября, ныне — опять Никольской. В здании историко-архивного института некто Юрий Афанасьев, ректор-изменник этого заведения, и английская артистка Ванесса Редгрейв на пару проповедовали учение Троцкого, около Храма Покрова, известного в народе под именем Храма Василия Блаженного, расположился антиобщественный палаточный городок бродяг и тунеядцев, а близ ныне свергнутого памятника Я. М. Свердлову толпа, возглавляемая философом Пашкой Чмуровым, первым мужем моей жены Маргариты, ругала Якова Михайловича и называла его жидом, а когда я им сделал замечание, мне нагло ответили, что в этом нет никакого оскорбления, потому что «жид — он и есть жид», в этом нету никакого оскорбления, это — национальность, а не что иное, подпадающее под соответствующую статью Уголовного Кодекса тогдашней РСФСР.

Вне себя от ярости!.. Но странный слом произошел во мне не на Воробьевых (Ленинских) горах, а на Арбате, куда я немедленно пришел, чтобы купить себе автомат Калашникова и при удобном случае изрешетить из него прямо в постели и Карлу, и Маргаритку, предварительно выведя детей на улицу под предлогом предполагаемого салюта в честь советского Нового года.

Однако я к тому времени все еще оставался сугубо кабинетным работником, частично оторвавшимся от дум и чаяний простого народа, и, прямо нужно сказать, немножко хуже ориентировался в реальной жизни, чем сейчас, обретя собственное место в нашем кругу. На мой спрос продать автомат с целью убийства жены продавцы лишь ошибочно веселились, думая, что я пьян и шучу. И предлагая мне в ответ всякую дрянь — наркотики, фальшивые репродукции Ильи Глазунова, кисет Владимира Высоцкого, свежие переводы Гертруды Стайн, потаенную прозу Климонтовича, комиксы Александра Кабакова, «Русскую красавицу» Вик. Ерофеева и его же поясной фотографический портрет в голом виде.

Я был в отчаянии! Я, как мог, отбивался от них! Я хотел спастись от него-дядев в редакции журнала на букву «М», где у меня служил товарищ, недавно окончательно ушедший в монастырь, но подъезд того арбатского здания, где среди всего этого свинства помещался честный журнал, оказался запертым, и я был вынужден под угрозой ножа приобрести за три рубля (смехотворную в нынешних условиях, а тогда весьма ощутимую сумму) брошюру-инструкцию, учащую, как нетрадиционными методами добиться у населения ста процентов оргазма. Вот так автомат Калашникова!

Он снова вскинулся и посмотрел на слушателей, но все уже немного выпили, и Дристов заново успокоился, понимая, что действительно находится среди своих и поэтому его речь будет оценена адекватно всему изложенному.

— В этот момент во мне и произошел слом. А впрочем, все по порядку... Зачем такая жизнь нужна? — с холодной ясностью подумал я. Это МНЕ, а не ИМ нужно уйти из такой жизни, к едрене фене, враз и навсегда! — с горечью понял я.

А следует заметить, что я тогда полагал, будто Бога нет (прости, Господи!), отчего и не опасался никаких последствий для своей души от этого суицидального, низкого акта. Грешник, я даже наслаждался, предвставляя, как будут мучиться в геенне совести моя бывшая Маргарита и набожный Карла, когда осознают, что стали непосредственным источником моей смерти! Короче, я направился пешком на Воробьевы (Ленинские) горы, твердо решив привести в исполнение следующий план: там, на горах, на смотровой площадке, откуда вся Москва с ее златоглавыми соборами, «высотками», чёрными трубами ТЭЦ как на ладони и где московские пьяницы обоего пола, когда женятся, бьют в своих парадных костюмах пустые шампанские бутылки о гранитный парапет, ограждающий от них красавец город, именно там я подберу крупный стеклянный осколок, заберусь на бездействующий лыжный трамплин да и ухну вниз, рассекая в последнем соприкосновении с землей не только сонную артерию, но и практически все собственное горло. Зачем мне тогда все эти автоматы, пулеметы, банки ядов, намыленная веревка? К черту, к черту все, если всюду разврат, преданы идеалы строительства коммунизма в отдельно взятых странах и больше нету уже ничего, кроме тлена, гнили, мёрзота и разложения!..

Кто-то сделал робкую попытку налить ему водки в опустевший фужер. Кажется, это была Изаура, наконец-то прекратившая шушукаться с Володьюшкой и, по-видимому, не на шутку увлеченная горькими словами Дристовца, который решительно пресек эту ее попытку, сказав и сильно побледнев:

— Не нужно. Вот-вот, сейчас, сейчас, я уже скоро кончу.

Но все же выпил. И, абсолютно не закусывая, а только промокнув салфеткой высокий вспотевший лоб, снова заговорил, пытаясь завершить свое затянущееся признание:

— Перед смертью я расположился на парковой скамейке, чтобы выкурить сигарету «Филипп Морис», которые нам выдали в пайке как экономическую помощь от немцев, побежденных нами во время второй мировой войны. Затянувшись разок-другой, я с неудовольствием обнаружил, что рядом вдруг плюхнулся какой-то неизвестный мужчина в крепкой новой дубленке и с сумкой «Аидас», которую всю аж распирало от содержимого. И, хотя он обратился ко мне не за сигаретой, а с просьбой прикурить, я сделал это с крайним неудовольствием, ибо, выполнив просимое, конечно же, был вынужден вступить с ним в беседу.

«Да, все-таки это очень хороший праздник, Новый год, гораздо лучше, честно признаться, чем Седьмое ноября, — кашлянув, сказал мужчина, — какие бы катаклизмы ни сотрясали нашу несчастную Родину — хоть Батый, хоть Ленин со Сталиным, хоть Гитлер или, например, тотальная кукурузизация, «большая химия», строительство БАМа, «Малая земля», вырубка столетних виноградников, закон о суверенитете, распад СССР, — в этот праздник нам все ничем! Так же, как при царе, светятся свечечки; люди, получив пищу по карточкам или украв ее по месту работы, наряжают елки, детей, моются в ванной. И я своим пострелятам несу итальянские хлопюшки, полученные в спецраспределителе, да вот немножко загулял со старыми, хе-хе, партайгеноссе, выпили поднос шампанского, покушали жульенов из дичи. Сейчас вот немного отдышусь, полюбуюсь еще разок видом прекрасной столицы, преобразенной коммунистами, — и айда к семье!.. То-то мои-то обрадуются!»

Так сказал Филарет Назарович, а это, конечно же, был он, и вы уже, конечно же, догадались об этом...

Глухой шум прошел по застолью. Филарет Назарович лукаво подмигивал гостям, кланялся, как японец, прижимал, как глухонемой, руку к сердцу, но видно было — и он не на шутку взволнован тем, что происходит. Вечеринка удалась!

— Так сказал Филарет Назарович, и странное, истеричное раздражение охватило все мое существо. «Вы, сволочи, продали страну неизвестно кому! Развалили экономику, политику, экологию, нравственность! Ряшки понаели, шам-

панское жрете, а мы теперь пропадай!» — злобно обратился я к своему собеседнику и немедленно был поражен тем, что он как бы и ожидал такого моего ответа. Он придвинулся ко мне, и от него — клянусь! — совсем не пахло спиртным.

«Голуба, голуба,— медленно выговорил Филарет Назарович, не сводя с меня своего цепкого, внимательного взгляда.— Да неужели вы с таким адом в душе надеетесь выплыть в этой реке времен, в этом потоке жизни? Бросьте вы это немедленно, такие пораженческие настроения, тут же бросьте! Если вы настоящий коммунист, вспомните ту широту, которую проявляли и в теории, и в жизни не только Маркс, Энгельс, но даже Бакунин с его «Катехизисом революционера», ту духовную витальность, которая впоследствии была похерена отнюдь не Лениным — он был великий человек,— а ЛЕНИНИЗМОМ, имеющим к вождю такое же отношение, как мейерхольдовщина к Мейерхольду или колхозы к крестьянству. Да неужели же вы всерьез думаете, что все завоеванное нами в труде и обороне пропадет? Да пока жива хоть одна душа — держится Россия! «И каторжный Федька стреляет дуэлетом» — как писал поэт Юрий Кублановский совершенно по другому поводу. И держу пари... — Он прищурился, как упомянутый им Ленин.— Держу пари, что вы задумали нечто нелепое, устрашающее, ужасное, но я, я постараюсь спасти вас!...»

«Лучше страну спасите! — нелепо огрызнулся я, ну, право, как какой-нибудь диссидент при обыске или задержании.— Бардак в стране! Сил нет смотреть на весь этот бардак, а вы все поете какие-то прежние, застойные песни».

«Да какие же они прежние и застойные, батенька? — искренне изумился Филарет Назарович.— Мы, например, с товарищами — я подчеркиваю: товарищами, хотя мы, очевидно, какое-то время будем вынуждены называть друг друга по-иному,— создали кооператив «Надежда». Пока что мы всего лишь раскинули по стране сеть общественных платных уборных, чтобы люди наконец-то смогли цивилизованно отправлять свои естественные надобности, но у нас впереди будущее, и это будущее — наше. У нас обширная программа, мы уже вплотную подошли к бартерным сделкам. Ищем спонсоров с валютой для финансирования интересных задумок и наработок. Но вас-то таковым ВАЛЮТЧИКОМ я отнюдь не считаю,—помнится, пошутил он. И вдруг встревожился: — Да уж не враг ли вы? Или, может быть, просто обыватель, мещанин, желающий счастья прежде всего самому себе, а не всему человечеству?»

«Нет, я коммунист»,— сказал я.

«Так и я коммунист! — расхохотался Филарет Назарович.— Но тактика и логика нашего движения на данном этапе таковы, что мы сейчас как бы уходим в подполье. Подчеркиваю еще раз — на НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ время, на то, которое потребно, чтобы создать в стране сильный экономический базис, а уж потом мы им всем, этим говорунам, покажем такую... *надстройку*, что они у нас пляшут, как Стрекоза перед Муравьем из произведений дедушки Крылова».

«А какой это, хотя бы примерно, период?» — робко спросил я.

«Не знаю! — отрезал он.— Сколько нужно партии, такой и будет период. Мы станем капиталистами и заставим стать капиталистами всю страну. И они сами — сами, подчеркиваю — рано или поздно обожрются благоденствием и захотят чего-нибудь новенького, социальненького, гуманненького, а тут-то и мы со своими немеркнущими идеями строительства коммунизма в отдельно взятых странах! — Голос Филарета Назаровича возвысился почти до визга.— Идеи эти упадут, как зерно на благодатную унавоженную почву! Вспомните Швецию, Финляндию, Данию, Германию, Америку наконец. Ведь если бы там были такие люди, как мы, то там при их материальной базе уже давно был бы построен коммунизм. В отдельно взятых странах. Вы согласны со мной?»

Я молчал. Потому что я понимал — этого человека послал мне Бог.

Подняв к черному небу с россыпью звезд залитое слезами лицо, я незаметно выпустил из сжатой руки бутылочный осколок, и он глухо шмякнулся на грязный, захарканый асфальт, и мы с Филаретом Назаровичем сделали вид, будто не заметили этого.

«Я согласен с вами, я тоже пока иду работать для конспирации и будущего в сортир "Надежда", — сказал я, скрывая рыдание.

...Дристов оглядел присутствующих. Все они не кушали, пригорюнившись, и обстановку, как всегда, был вынужден разрядить сам хозяин дома. Сдвинув твердый манжет фрачной рубашки «Стэмплтон» и обнаружив тем самым циферблат японских часов «Сейко» желтого металла, он вдруг воздел руки в комическом ужасе.

— Господа! Да ведь за хорошим разговором, понимаешь, мы совсем чуть было не упустили, что наша страна и все человечество вступают в новую фазу нового года. Мужчины, открывайте шампанское! Ребята! Сенька Сидоров, будущий депутат Государственной Думы, кончай смолить свою марихуану! Володька! Все готовы? Наполняйте бокалы, сейчас Михаил Сергеевич, Борис Николаевич, Владимир Вольфович, Геннадий Андреевич, Фуцин, Шуцин и Пуцин скажут по телевизору их новую приветственную речь. Зинаида Кузьминична, дорогая, любимая, может, хоть в эту минуту ты не будешь лезть ко мне с пустяками? Дристов, ты закончил свою исповедь? Товарищ Дристов, ты слышишь меня или ты оглох и онемел?

Но Дристов молчал, внезапно обнаружив в кармане пиджака толстую пачку десятидолларовых банкнот.

Ударили Кремлевские куранты. Гости торжественно сгрудились.

И внезапно заплакала нежная, любящая Изаура, прикрыв свои прекрасные глаза узкой ладонью, на тыльной стороне которой было вытатуировано синеньким «PERESTROIKA».

— Дристов! Невозможный! Неужели вы не видите, что я люблю, люблю вас! — шепнула она.

И заплакали, глядя на нее, Филарет Назарович, Зинаида Кузьминична, Свинонов, Бабичев, Канкрин, Гаригозов, Шенопин, Епрев, уважаемый Б. Б., ребята во главе с неутомимым вихрастым Сенькой, будущим депутатом Государственной Думы.

Плакали олениводы Чукотки, золотодобытчики Колымы, шахтеры Джезказгана и Кузбасса, свекловоды и ракетчики Украины, русские крестьяне и прибалтийские фермеры, гордые кавказские горцы и мясопромышленники Казахстана, полесские космонавты, молдавские виноградары, хлопководы и газовики Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, писатели Киргизии — плакали все, но это уже были слезы радости. Блаженство охватило преображенную советскую землю. Усталую, но довольную.

Лишь Владимир Бланков, криво улыбаясь, застегнул дрожащими, непослушными пальцами свою джинсовую куртку, метнул гневный взгляд на Изауру и выбежал вон, резко бросив напоследок новым буржуйам:

— Мы пойдем другим путем!

— И все-таки как ни хорошо жить, товарищи, но при коммунизме жить будет еще лучше, — тихо подытожил Филарет Назарович, не обращая внимания на мальчишескую выходку сына.

Плакала Изаура, Молчал Дристов. Валялись пьяные. Уже светало на бывшей советской сторонushке.

«Роллс-ройс»

Странно бывает так, когда лица мужского пола, проживающие на территории бывшего Советского Союза, той самой страны, что носит нынче исконно гордое имя «Россия», внезапно утрачивают контакт со своими женами, которые делили с ними все тяготы коммунистической, перестроечной и посткоммунистической жизни от работы в НИИ младшим научным сотрудником и антисоветских разговоров в курилке про «Голос Америки» и «Свободу», например, до руководства и контрольного пакета акций в крупном ООО, что означает вовсе не на один ноль больше, чем старинное обозначение сортира (00), а нечто решитель-

но противоположное — Общество с Ограниченной Ответственностью, ворочающее миллионами, и долларов, конечно же, а не каких-то там рублей, пропади они пропадом вместе с Советской властью, потому что — инфляция, неуверенность в завтрашнем дне, большая мысль о глобальном всплывании на поверхность жизни, как дерьма в проруби, старых и новых большевиков, страх перед бандитами, развезжающими по стране на джипах «Чероки», бредущими затылки и стреляющими из оружия кого ни попадя, падение «кривой» «духовности», проституция и другой разврат.

Утрачивают неизвестно отчего и сильно мучаются, принимая вследствие неосознанной обстановки как правильные, так и неправильные решения, к числу которых относятся: убийство мерзавки с расчленением, побег в Сибирь или Америку, крушение топором богатой домашней обстановки, как в знаменитом фильме 60-х по сценарию Виктора Розова, многодневный запой с последующей госпитализацией в частном дурдоме имени Пинеля, главврача, снявшего в XIX веке цепи с французских психов в руководимой им лечебнице, драка с «лицами кавказской национальности», полное признание собственных семейных ошибок, сочинение поэмы «Пусенька», покупка жене новых мехов и драгоценностей, поездка с «секретаршей-референтом» к морю-окияну, острову Буяну или вообще еще куда, где в отличие от России, а тем более от СССР ярко светит вечное солнце, где вечно пляшут, поют, хорошо питаются и уважают права человека.

Однако, граждане, не надо всех мазать одним и тем же дерьмом, если мы все же действительно хотим пополнить собой ряды цивилизованных стран. Ведь и среди миллионеров встречаются глубоко порядочные, трепетные люди, не завязавшие с гуманизмом и в новой обеспеченной жизни, не желающие мух обижать, а не то что жен, которые (жены), борясь за быт, сурово осужденный коммунистами, постарели на шестиметровой кухне советского блочного дома, расположенного у этих красных чертей на куличках, стратили нервы в очередях, а теперь бесятся с жиром, в чем все мы им глубоко сочувствуем.

Вот Лёня-миллионер и пошел другим путем, как Лукич с исчезнувшего червонца. А именно: ничего он с укором падле не сказал в завершение спонтанного семейного скандала, но и не заплакал, как слабое мужское существо из фильмов гуманиста 60-х Александра Володина. «Ничто нас, мой мальчик, не может вышибить из седла», — вспомнил он стихи замечательного советского поэта-безбожника, велевшего по этому случаю развеять свой прах над Калмыкской АССР. После чего не стал вызывать охрану, надел специально приготовленную для аналогичных случаев одежду, с укором, глубоко вздохнув, посмотрел на обидчицу, стараясь образумить ее хотя бы этим кротким, как у идиота князя Мышкина из одноименной книги Достоевского, взглядом, да не тут-то было (дверь не скрипнет — не вспыхнет огонь!), взял ключи и пошел вон, стараясь не вслушиваться в настаивающий его девятый вал женских инвектив, среди которых превалировали «импотент», «мудак» и уже дважды упомянутое нами «дерьмо», чего мы обязуемся больше никогда не делать, по крайней мере в скорбных пределах этого скромного рассказа, про который критики непременно напишут, если их, конечно же, хорошо попросить и угостить водкой, что это одно из самых глупых наших произведений, четко свидетельствующее о том, что век и тысячелетие близятся к концу, а тем, кто в это тревожное время жил, давно пора с парохода современности сваливать прямо на кладбище или еще куда-нибудь, где есть вечный покой.

— И что еще нужно этой непочтительной? — горько восклицал неизвестно кому несчастный Леонид, выйдя из дому и тут же оказавшись на бывшей улице отравленного большевиками Горького г. Москвы, на той самой нынче снова Тверской, которая, как известно, ведет от седого ельцинского Кремля прямо в переименованный Санкт-Петербург Ленинградской области через Тверь, отобразанную у дедушки Калинина. — Хату — сделали, дачу — построили, вилла на Кипре — это разве пустыки, а с Эйфелевки вниз глядеть на импрессионистов ездить хоть каждый уик-энд, была бы охота, но на «роллс-ройс» я конкретно не подпишусь, потому что это глупо и по жизни неправильно, хоть ты пеной изыди, чем меня со-

вершенно не прошибешь, не на такового, сука, напала, устанешь мне нервы мотать... О женщина, опасно назначение твое, хоть и люблю тебя по-прежнему неизвестно за что спылкостью юноши, недавно получившего среднее образование!

Так бранился миллионер, а на бывшей улице Горького, которого, вполне возможно, коммуняки вовсе и не отравили, на кой бы он им сдался, чтобы его травить, старого туберкулезника и автора гениальной пьесы «На дне», вершилась на этой старой улице обновленной Москвы, в условиях дикого капитализма с элементами цивилизованной экономики и уклоном в плюралистическую демократию обычная для капитализма вечерняя жизнь. «Елисеевский» гастроном, например, был под завязку наполнен простым народом и малодоступными для этого народа яствами, среди которых имелись даже живые раки, выловленные в городе Самаре. Словом, все, как в те времена, когда страной правил царь, а не коммунистическая партия, укравшая вроде Чингисхана все российские деньги. Или как в те времена, когда напившиеся кронштадтской крови коммунисты «всерьез и надолго» объявили нэп, новую экономическую политику. Помнишь, любезный читатель, как мы с тобой в школе изучали «Белеет парус одинокий» Валентина Катаева, а в годы застоя трепетно внимали драгоценным страницам его новых «мовистских» сочинений, где мэтр вспоминал, как во время оно зашел в тот самый «Елисеевский» и там встретил Осипа Эмильевича Мандельштама, покупавшего небольшую порцию хорошей ветчины, которая временно исчезла из этого магазина гораздо позже, чем исчез навсегда из этого мира сам О. М.? Делаешь вид, что не помнишь? Тогда включи радио, где имеешь шанс услышать соло (ехидным голосом):

Вы помните, вы помните, вы все, конечно, помните,
Как я тогда стоял, приблизившись к стене.
Взволнованно, взволнованно бродили вы по комнате
И что-то крайне резкое в лицо бросали мне.

И припев:

Нет, нет, нет, нет! Врешь, врешь, врешь, врешь!
Ну у кассы, ну средь массы —
это, братцы, хоть куда.
А чтоб я стоял у стенки — это просто ерунда.

Вот так-то, друзья. Обычная, значит... это... ну... вечерняя жизнь в условиях дикого капитализма... с элементами и уклоном... Красочная реклама зазывала желающих в паноптикум смотреть восковые персоны Ельцина, Горбачева, Сталина и других знаменитостей. Рядом сиротливо приютилась вывеска, которая мучительно и больно гласила, что музей коммунистического святого Н. Островского по-прежнему функционирует, хоть и поменял свою партийную ориентацию на общечеловеческие ценности. «ENJOY COCA-COLA», дорогие бывшие товарищи! «СЕТЬ АПТЕК ПОПОВА», «НА УЛИЦЕ ТАТАРСКОЙ ПЕНТ-ХАУС КЛАССНЫЙ ЕСТЬ!» (от \$ 2500 за кв. м), «ВРЕМЯ — "КРЕМЛЕВСКОЙ"», «БЕЗОПАСНЫЙ СЕКС — МОЙ ВЫБОР», «ДИВАНЧИК И СТУЛЬЧИК ПРИВЕТСТВУЮТ ТЕБЯ». Некто в коже кушал изрядный кусок «пиццы-хат», и уж не змеилась очередь ни в Мавзолей, ни в McDonalds, лишь у разверстого входа в метро куражились нищие и другие мелкие разбойники, как будто и не Москва вовсе тут, а какой-нибудь «Остров Крым», сочиненный В. П. Аксеновым по недосмотру большевиков.

— Пусенька, бабки есть? — окликнула нашего героя развратная девчонка с раскрашенным лицом и мелкокудрявой головкой.

Ничего не ответил бесстыжей юной профессионалке честный Лёня, лишь отвернулся с укором, хотя на секунду, если быть до КОНЦА честным, у него, конечно же, мелькнуло «А что если?». Но он такие мысли сразу же отогнал, он и в сауну-то не любил ходить, не то что в «массажный кабинет». Практически никогда не ходил и не ездил он в те самые заведения, где под видом здоровья кроется нравственная и физиологическая зараза, от которой может совсем погибнуть генофонд.

Зато игру виртуозного бродячего диксиленда в подземном переходе он выслушал и одобрил с видимым удовольствием, переходящим в наслаждение. Род-

ные с детства и «Голоса Америки» трубные звуки ностальгическим трепетом наполнили душу мужчины, и ему захотелось стать еще лучше, чем он был, есть и будет. Слеза навернулась на один из двух его глаз. «Сколько горя в России за каждым освещенным окошком», — невольно подумал Лёня, одной рукой поднося ко рту только что приобретенный «Сникерс», а другой — проверяя в правом кармане пиджака, цела ли еще пачка банкнот толщиной в большой палец или ее уже украла.

Музыка внезапно оборвалась. Музыканты быстро удалились, медленно собрав заработанное. Среди гула шаркающей толпы неотчетливо выделялись отдельные слова и сочетания: «акция», «демократишки», «коммуняки», «этот кремлевский козел», «анаша», «Распутин», «Феллини» и все то же самое, как это мне, автору Евг. Попову, ни прискорбно, пресловутое «дерьмо».

Обычные, значит, постперестроечные поздние московские звуки, когда люди на последние тысячи напильсь, наелись и теперь куда-то идут спать. И вдруг (о, это ВДРУГ, стимулятор вялотекущей со времен римского Петрония прозы!), вдруг...

— Роллс-ройс! — раздалось вдруг произнесенное вдруг упругим человеческим голосом вдруг настолько громко и отчетливо, что миллионер вдруг невольно вздрогнул и вперился вперед.

И ахнул. Перед ним стоял человек, которого он явно когда-то и где-то видел, несмотря на то что никогда не имел знакомств в среде хиппующих или лиц без определенного места жительства. А то, что перед ним стоял БОМЖ, сомнений ни у кого вызывать не должно было бы.

Да и не вызывало. Толпа равнодушно обтекала их, лишь изредка сбавляя шаг, как бы наткнувшись на некую прозрачную стену, ограничивающую чужое пространство, которое теперь и в России наконец-то стало частной собственностью.

— Роллс-ройс! — повторил человек, и Лёня почувствовал, что какая-то, прямо нужно сказать, магнетическая сила, известная всем из сочинений кого хочешь, например, М. Булгакова, тянет его к оборванцу, наряд которого состоял из обуви с пришедшим в качестве приветов от писателя В. Гиляровского названием «опорки», бывшей офицерской Советской Армии шинели, как бы подъеденной мышами, майки с надписью «СВОБОДА», пугачевской (Емельяна, а не Алы) бороды и предрезкого взгляда.

— Роллс-ройс!

«Ну уж это слишком», — внутренне рассердился Лёня, отчего был вынужден вступить в диалог.

— Але! Мужик! Или как там тебя — господин? Это чего все это значит, а? — спросил он.

— Будто и не понимаешь? — надменно глядели на него ясные очи экстравагантного незнакомца.

— Бэ-бэ, не понимаю, — признался Лёня. — Я же русский, крещеный, — зачем-то добавил он, как будто брал кредит в каком-нибудь славянофильском банке.

— И я крещеный, и я русский, — складно отвечал бродяга.

— Зачем же тогда так говоришь по-английски непонятное? — укорил его миллионер.

— А ты зачем меня непонятное спрашиваешь «ЧЕГО ВСЕ ЗНАЧИТ», как будто сам не знаешь?

— Чего?

— Того, что все это значит.

— А что все это значит?

— То и значит, что значит. Что, стало быть, по жизни есть, то конкретно и имеется.

— Да ты что, ты — это? Ты — глумиться? — задохнулся Лёня.

— Сам ты Глумов, — алогично, абсурдно ответил нищелюб, хотя, если внимательно проанализировать его ответ, то и здесь можно было найти логику. Логика везде, где хочешь, можно найти. — Подайте на пропитание, барин! — вдруг завыл нищий.

— Столько хватит? — Лёня достал из кармана упомянутую пачку денег толщиной в большой палец.

— На первое время должно хватить, потому что жизнь прожить — не поле перейти, а во поле березонька стояла, как фаллос, поэтому неудивительно, что ее «некому заломати», ибо подавляющее большинство аборигенов нашей родной территории исповедует гетеросексуальный образ жизни, находясь и тут впереди бешено мчащегося прогресса, — бормотал незнакомец уже совсем окончательную бессмыслицу, отчего Лёня размахнулся, имея целью съездить хаму по роже, как придется — пачкой банкнот или просто кулаком, если даст Бог, — размахнулся и...

Что «и»? Да то «и», что Лёня по законам беллетристики, единственным справедливым законам в мире, шарахнул кулаком по зеркалу, что стояло на перекрестке с целью, чтобы угрюмый мент, этот перекресток охранявший, мог хорошо и вовремя бороться с организуемой гражданами новой России преступностью.

Вот он уже и спешил к Лёне в своей ладной одежде, пошитой для этих служивых мэром Москвы Юрием Лужковым к 850-летию «древней» (Н. Кончаловская) столицы. С «демократизатором», скотина, бежит! Лёня-то не будь дурак да и тоже пустился наутек, хотя с такими деньгами, как у него, обо всем можно было договориться по-хорошему. Тем более что зеркало не разбилось. Лужков привез из Западной Европы к 850-летию такие зеркала, что хоть рогом их буравь — себе дороже обойдется, и, несомненно, можно было договориться с представителем порядка о чем-либо позитивном и за практически символическую сумму, коли зеркало на этот раз не разбилось... Кто в этом сомневается? Да никто уже давно в этом не сомневается, равно как и во многом другом.

— Какая чепуха! — громко сказал он, стоя перед зеркалом.

После чего вернулся домой, снял опорки им. дяди Гиляя, офицерскую шинель производства развитого социализма, майку с антисоветской надписью и фальшивые космы Емельки Пугача. Принял, как Афродита, пенную ванну и постучал в комнату к жене.

— Пошел вон, тупая скотина, быдло, выродок! — раздалось в ответ, а что еще ему женщина сказала — мы, как обещали, так и не напишем.

— Есть хорошая новость для тебя — мы покупаем «роллс-ройс»! — торжественно, как Горбачев перестройку, объявил Леонид.

...дела дивные творятся в городе Москве, столице бывшего Советского Союза, той самой страны, ныне носящей исконно гордое имя «Россия». Правильно говорил товарищ Сталин, угощая Горького отравленными конфетами: «ЛЮБОВ ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ».

Чего не скажешь о жизни.

Виртуальная реальность

Я газету купил. Я в газете прочитал рассказ:

«Расцвела к концу второго тысячелетия от Р. Х. Святая Русь, преображенная царем, большевиками, коммунистами, демократами и техническим прогрессом! Того и гляди, вступит эта страна в Интернет, как в дерьмо, и больше никогда оттуда не вернется», — думал известный театральный художник, назовем его В. Б., брезгливо разглядывая все эти «приготовления» — длинный стол, накрытый скатертями хрустящими, оснащенный блюдами со «вкусеньким», разномастными бутылками вин, водок, джинов, виски... да... минеральной, конечно же, «пепси», других напитков... глядя на огромный, уже светящийся дисплей, где уже джоже светились, свиваясь, желтые, голубые, розовые огненные точки, из которых все никак не могло сложиться искомое слово...

...А впрочем, художник Владимир Боев родился и жил до семнадцати лет в

городе К., стоящем на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан. В слободе III Интернационала, на улице Лагерной, где держали коров, население которой хоть и нечетко, но все же делилось на сидевших и сажавших, проживших длинную поучительную жизнь, неоднократно менявшихся местами.

Зато пастухи были пришлые. Вечером они собрались в кружок вокруг догорающего костра и молча занимались в наступивших сумерках групповым онанизмом, обратив раскаленные жерла своих дымящихся отростков к неверному огню. Владимир Боев отшатнулся при виде этой древней картины, и пастухи засмеялись:

— Мальчик, иди сюда, сейчас молочко брызнет!

Ну что еще? Еще там жил один инженер, снимавший утепленный сарай с печкой. Одевался красиво — костюм, галстук, пальто, а сидел или сажал — неясно, да и какое это имеет значение, если все мы, как недавно выяснилось, — семья братских народов. Вот так-то! Носил бы, не исключено, и штиблеты, да на российских провинциальных уличных пространствах непременно осенняя и весенняя грязь осенью и весной, зато летом — сухая пыль, а зимой — белые сибирские снега. Что делать, когда даже Ленин этого не знал, что делать.

Казалось, что где-то он даже и служил, инженер, — ведь в СССР нельзя, чтобы не служить или просто не работать, посадят; утром уходил, вечером приходил, допоздна светилось желтое окно. Носил резиновые сапоги, валенки, боты «прощай молодость» — трудно было в грязноватой стране с товарами группы «В», если кто еще помнит такую странную страну и такую странную группу, куда входили товары, интересующие лишь население страны, а отнюдь не враждебное этому населению государство якобы рабочих и якобы каких-то несуществующих крестьян с прослойкой интеллигенции, подобной салу в беконе. И хватит об этом инженере! Кто он такой, чтобы о нем говорить больше, чем о других, даже если и составляет он некую пружину внутренней фабулы этого рассказа. Дадим ему красивую фамилию Филин, а заодно напомним лишь, что из особых примет гражданин Филин имел рваный заживший шрам, разбежавшийся от уха до уха, как от моря до моря. Ну и кого, спрашивается, в нашей даже если и преображенной стране резаным шрамом удивишь, даже если и не на улице Лагерной? Короче, с местным населением интеллигентный инженер дружил, местное население его не трогало.

А вот дедушка Синева, заслуженный ветеран «вохры», никаких шрамов, никаких синяков не имел, зато, жилистый, с седым бобриком жестких волос на багровой голове, пытался на улице навести порядок. В том смысле, что к блатным, конечно же, ни-ни, никогда не приставал — еще зарежут ненароком, а вот если чтоб написать в исполком районного совета депутатов трудящихся, что водоразборная колонка опять не работает на улице Лагерной или обратно — не чистят на этой улице снег, то за этим шло сознательное население непременно к дедушке Синева, и он, молча выслушав ходяков, молча высморкавшись в большой клетчатый платок, тут же молча цеплял на нос круглые очки в железной оправе, доставал письменные принадлежности и тут же писал все, что требовалось, куда следует. Отчего результат весьма часто бывал положительным: на улице появлялся бульдозер и делал в снегу снежную траншею. Или колонка, например, вдруг начинала сама собой функционировать среди крепкой сибирской зимы, и по всей улице стлыла наледь, и дети катались на коньках, прикрученных веревками и сырмятными ремнями к валенкам. А чего им, спрашивается, не кататься на коньках посреди развитого социализма, если есть где? Такая жизнь была при Советах да при коммунистах, товарищи, граждане ныне опять свободной России...

«...Кажется, зашевелились, и чегой-то даже и задвигались слегка. Странно, что никто ненароком не лезет к столу хватать рюмки и куски, чтобы быстрее всех нажраться на халяву, как это, по обыкновению, водится на всех мероприятиях подобного размаха и сорта. Очевидно, здесь наличествует свой устав такого странного монастыря, где если что, то и по лапам дадут, о чем все, кому положено, преотлично знают, а тех, кому не положено (и не налито), здесь практически нет», — продолжал размышлять В. Б.

— Внимание, господа! — вдруг завыл какой-то мальи́й в блестящем смокин-

ге, проглотивший ненароком слово «дамы». — Мы начинаем презентационную демонстрацию того изобретения, которое вновь перевернет обратное впечатление от Руси как страны победленного технического прогресса и вновь напомним всему миру, что именно русские подковали блоху, изобрели паровоз, патефон, самолет, телефон, радио, химию, атомную и водородную бомбы. Но не грозить мы будем отныне и отсель шведам в смысле американцев и других наций, а всего лишь расправим объятия всем этим упомянутым нациям мира, твердо двигаясь по пути единения техники и вообще технического прогресса для всех без исключения. Чтоб мир зажил в мире и счастья. Чтоб он простоял непоколебимо хотя бы еще несколько миллионов лет до полного исчезновения жизни на Земле и полного поглощения нашей горячо любимой планеты космическим хаосом, чему мы всячески будем противодействовать, поставив себе конечной целью человечества всеобщее счастье и жизнь вечную — по канонам Господа нашего Иисуса Христа!..

Закончив свою содержательную речь, малый сладко зажмурился и перекрестился. В. Б. тоже закрыл глаза, а когда он их все же открыл, то на подиуме уже стоял совсем другой человек и тоже говорил хорошие слова. Не иначе как это был какой-нибудь постмодернист, нанятый бесплатно за жратву, выпивку и известность...

...Но не спалось старику Синеву, потому что он допоздна изучал материалы XX съезда КПСС, с которыми материалами да и самим, если по совести сказать, этим самым «съездом» он был решительно не согласен, и скорее даже не потому, что боялся, будто бы его тоже посадят и шлепнут, как разоблаченного Лаврентия Павловича Берия, — кому, спрашивается, нужен он, простой и честный человек-вохровец? А лишь вследствие того, что любая отмена предыдущего есть непорядок, ведущий к необратимым последствиям, отчего не исключено, что и его тоже по ошибке заметут, а когда наконец разберутся, то будет уже поздно, как бывает поздно всегда, во всех без исключения подобных случаях.

Вот отчего он погасил свет, уныло вглядываясь в темноту, скрывавшую предварительно убранные в кованный сундук дорогие портреты — тов. Сталина и упомянутого Берия, память о которых еще долго будет гулять по отдельно взятой ими огромной территории бывшей и будущей Российской империи. Смешно, но все же невольно дожидаясь чего-то — не то подарка от несомненно существующих высших сил, не то ночного стука в дверь, — сидел старик Синева и не спал, как будто так и надо.

Ну и дождался, чего там, дело нехитрое — в дверь стучатся, но не властно, как следует, а как-то так, неопределенно. Отчего Синева нашарил под лавкой рукоятку топора и лишь потом, выждав для дела нужное количество времени, осторожно осведомился, кто там.

— Свои, свои, — услышал он в ответ, что его совершенно не удовлетворило, потому что кто есть свои, а кто чужие, при «оттепели» решительно не знал ни один человек в стране, даже самый умный, а уж с таких, как Синева, какой может быть спрос?

— Свои дома ночуют, — тем не менее отозвался он, потому что раньше народ, даже озверевший на конвойной службе, был гораздо доверчивее, чем сейчас: что скажут, то и принимал за чистую монету, в газетах, например, если про евреев напишут. Или про стилиг. Или что негров линчуют в США. Я знаю, я читал, это называется «всемирная отзывчивость».

— Да я, сосед, по делу я, — узнал-таки он голос инженера. Вроде бы это был действительно Филин, а вдруг — нет: черт их там за дверью знает, кто они такие и чего им надо?

— По какому такому делу в два часа ночи? — сблефовал Синева, потому что на самом деле ночи-то было всего лишь полпервого, недавно гимн сыграли на слова Михалкова и Регистана.

— Очень важное дело, сосед, — настаивал инженер, и Синева теперь только одно, пожалуй, и смущало, что чего это он не пьян, если сейчас уже полночь и он ломится в чужую дверь.

— У нас с вами, товарищ, делов нету, а которые дела есть, те мы сделаем

днем, потому что вы мне бабушку разбудите, — все еще важничал Синева, хотя его тоже уже начинало разбирать любопытство, похожее на похоть. И ведь опять привирал старина — бабушку, т. е. Синеву супругу, они разбудить бы никак не смогли, ее бы весь бывший синевский конвойный полк не разбудил бы. Синеву на фоне Синевы была грубая. Во сне, по обыкновению, храпела, как трактор, а если что не по ней, то сразу Синеву кулаком по голове, как гестаповец. А ведь когда-то была красавица она, товарищи вы дорогие мои, йех! — носила молодка оренбургский пуховый платок и белые бурки с кожаными отворотами, работала в сберкассе, но озлобилась на нее жизнь и баба на жизнь озлобилась: аборт, сексапильный татарин Замалетдинов, тоталитаризм. Так люди и превращаются в старух.

Постмодернист сказал:

— И в это чудное мгновенье,
 Когда явиться будешь ты.
 Я чувствую ночное жженье,
 Как гений чистой красоты.
 Коим, собственно, я и являюсь,
 Отчего и срать с вами
 на одном гектаре не собираюсь.
 Как говорил Деррида:
 И на хитрую гайку найдется узда.
 А ему отвечал Ролан Барт:
 Дискурс есть симультанный талант.

Широка страна родная, так сказать.
 Дядя Федор не велел ее сужать.

Публика было возбужденно задвигалась, но поэт уже смешался с толпой. Публике, впрочем, было уже совсем не до него. Публике больше нет дела до поэтов. Публике есть дело только до дела. Дайте публике дело, и она опять перевернет мир.

— Я, товарищ Синева, можно буду с тобой разговаривать на «вы», потому что, если ты, старая падла, кому еще скажешь о моем изобретении, то длинная рука из-под земли вас выкопает и обратно закопает, — сказал Филин, поудобнее устраиваясь на колченогой кухонной табуретке и поставив перед собой на стол, крытый вытертой клеенкой, некий аппарат, обликом и размерами напоминающий нынешний принтер, системы, например, HEWLETT PACKARD, но, разумеется, того самого дизайнера 60-х, когда высшим шиком было иметь холодильник «Бирюса», который, как это недавно выяснилось, для отвода американских шпионских глаз выпускал некий секретный завод в городе К., стоящем на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан. «А больше-то он нынче ничего и не выпускает, кроме этих холодильников, этот наш славный, хороший секретный советский завод, некогда способный разнести по закоулочкам любой город, хоть тебе это будь Вашингтон Д. С.!» — с горечью грустят по телевизору пожилые люди, когда-то имевшие отношение ко всему военному и опасному, а теперь вынуждаемые потешать такими печальными словами подлую толпу. Эх, взвываются ль соколы орлами или наоборот?

— А мне зачем твое изобретение, когда я был, есть и всегда буду коммунист? — опять же на всякий случай нелогично ляпнул Синева, но пришедший остановил его властным жестом правой ладони.

— Патронов у меня нету вас уговаривать, — шутливо, как в кино, сказал он. — Поэтому я предлагаю тебе мое изобретение купить, потому что утром я срочно уезжаю, а если вы подумаете, будто я следы заметаю, то будете вы совершенно неправы: мне действительно пора линять, но совершенно по другому случаю, а эта машина сама умеет печатать деньги.

— Какие на букву «бэ» деньги? — не выдержав, взорвался Синева. — Пшел отсюда, пока я сам тебя не повязал без страха и упрека!

— А вот ты посмотри. Где у тебя розетка?

— Тут у меня розетка, но не для тебя у меня тут розетка,— все еще сопротивлялся Синева.

Но было уже поздно. Филин включил. Машина, ровно загудев, вдруг заклацала разноцветными лампочками, как зубами, и из нее, к немалому удивлению Синева, вдруг явился новый хрустящий червонец с изображением все того же чистой красоты известного коммунистического вождя на букву «Л».

— Да это же фальшак! — воскликнул Синева.

— Сам ты фальшак! — воскликнул Филин.

— Потому что я все слышала, все сейчас же мною будет определено, как бывшим работником сберкассы! — воскликнула появившаяся на пороге «бабушка» — вылитая «Пиковая дама» из одноименного прозаического произведения, а то и оперы в постановке самонадеянных артистов, вышедших, как и все мы, из народа и забывших туда вернуться.

«Экая глупость!» — скривился В. Б.

Перед дисплеем кружились в вихре неведомого танца какие-то идиоты. Певица с обтянутыми черной кружевной материей жирненькими ляжками разевала порочный рот. Некто вышел — их, бляха-муха, раньше называли «юмористы» — и начал чего-то там намекать на толстые обстоятельства, шепелявя и корча мертвые рожи. Публика уже вовсю «кушала», как предложила любезная администрация, «не стеснясь». В. Б. лихорадочно глотал ледяное шампанское, и соломенная грива волос его помутнела, разметавшись. Смокинг — это когда атласные лацканы, а фраков в бывшей Совдепии до сих пор не носят. Кроме как — вот сидит струнный квартет, играет Гайдна, так они все во фраках, потому что на службе и мужского пола. Имелся среди прочих и красивый поп с крестом, весьма бойкая персона, решившая, видать, на собственном опыте вопросы Духа, плоти и от того zelo веселящаяся. К нему почтительно подходили за советом дамы, похожие на богатых проституток, и он, как врач, никому не отказывал. Антисоциалистический политик с прямоотой бывшего коммуниста резал желающим правду-матку. Все смешалось в этом доме, но желтые, голубые, розовые точки на огненном дисплее все еще никак не могли образовать искомое слово.

— И это как же бы они могли оказаться у вас настоящими, молодой человек? — изучив купюры, изумилась мадам Синева, как бывший работник сберкассы обнюхавшая новоявленные из машины деньги, просветившая их синей лампой, а также взявшая свежую валюту на гниловатый зубок.

— Да пошли бы вы обои в болото! — грубо сказал Филин и сделал вид, что собирается уходить. — Я всю жизнь над открытием работал и это открытие сделал — печатай хошь миллион, и все будут настоящие деньги, потому что я в секрет бумаги проник, я в секрет краски проник, я сам всю жизнь на секретном заводе работал и во все проник. Не хотите — не надо. Три сотни давай окупить расходы.

— Нет, мы так не говорим, что не надо, — запротестовали супруги, и вскоре сделка состоялась. Триста рублей — разве это деньги, если впереди светит хошь миллион, хошь два — только бы с ума не сойти, что, очевидно, и произошло этой ночью с супругами. Выдав инженеру триста рублей и проводив его в ночную тьму, они печатали деньги до самого рассвета, десять по десять напечатали, после чего машина вдруг остановилась и, помигав, погасла навсегда.

— Это же реле от стиральной машины «Бирюса», — сказали деду Синева в милиции, куда он явился непосредственно утром, избитый и оцарапанный визжащей старухой, которую вскоре увезли в дурдом, что на улице имени Ерофея Хабарова, открывшего Сибирь и Дальний Восток навсегда, как Америку.

— Так я тогда пошел, — чуя недоброе, сказал Синева.

— Куда это он пошел? — удивилась милиция. — А кто будет срок отбывать за попытку изготовления фальшивых денег?

Странно, но гражданина Филина тоже арестовали прямо в постели, где он дико бранился, что есть же еще такие дураки, как Синева, которые сами на себя идут заявлять в ментовку. Что до чего же все-таки это у нас, граждане, неразвитый народ, пострадавший от культа личности, который народ не понимает тех-

нических шуток, где десятки были действительно настоящие, что он просит занести в протокол вместе с тем, что он как советский человек ненавидит фальшивомонетчиков.

Был суд, и инженер сел за мошенничество, а Синева получила на год больше и тоже сел. Посидели, посидели да и вышли. «Какая, в сущности, разница — где жить, когда весь мир тюрьма?» — смеялся художник Владимир Боер, рассказывая мне эту историю.

«Да это ж точно вылитый тот инженер из города К., стоящего на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан!» — ахнул пьяный В. Б., когда перед дисплеем появился наконец тип, несомненно, главный здесь, имеющий резаный шрам, разбежавшийся от уха до уха, как от моря до моря, смокинг с атласными лацканами, галстук-бабочку, длинноногую секретаршу-мяуку и пистолет под мышкой.

Седовласый этот красавец не тратил лишних слов. Он взял с золотого подноса позолоченные ножницы и перерезал невидимую ленточку, отчего желтые, голубые, розовые огненные точки на дисплее наконец-то образовали искомое слово.

И как будто очистительный вихрь пронесся тут же сквозь пышную залу, как в финале фильма А. Вайды «Человек из мрамора». Посыпались со столов стаканы, запарушили портьеры и шторы, вертикально восстали галстуки, захлопали крашеными ресницами дамы, раздался оглушительный неприличный звук, завоняло сероводородом, что-то липкое, молочное брызнуло нам в лицо, и все мы навсегда оказались в виртуальной реальности».

«Вот какие замечательные рассказы печатают нынче в газетах, господа! В интересное, между прочим, время живем, товарищи! Когда труд и капитал спешат под руку обоим неизвестно куда, а искусство, как всегда, находится впереди прогресса», — громко сказал я и выкинул газету в урну.

Эпилог

С утра яркое солнце засветило мне прямо в глаз, и я, проснувшись от радости существования, тут же пошел в лес, где изумрудная трава еще была обсыпана жемчужными каплями холодной росы и росли грибы — маслята, козлята, подберезовики, подосиновики, белые, скрыпули. Здравствуй, лес! Здравствуйте, седые ковыли и деревья — сумрачные ели, высокие корабельные сосны, березки-подружки, что, как стыдливые невесты, сбегают вниз с косогора в ожидании женихов с топорами.

Набрав грибов, сколько положено, я вернулся в свою хижину и, плотно позавтракав продуктами, приобретенными намеренно в сельском магазине (сыр «Маасдам» — 34 деноминированных рубля за 1 кг, яйцо «диетическое» — 4,6 руб. десяток, хлеб белый — 2,6 руб., масло сливочное «Крестьянское» — 4,2 руб. пачка, кофе «Нескафе» растворимый — забыл уже, сколько стоит, зато сколько стоил в тот день доллар, пока еще помню — 7 руб.), решил почитать какую-нибудь полезную, умную книгу, но тут проснулась моя семья, состоящая из жены и малолетнего ребенка, которая тоже захотела кушать. Я и их накормил указанными продуктами плюс заставил ребенка съесть беленькую пластмассовую коробочку йогурта «Данон», что дитя сделало с большой неохотой, предпочитая всему обилию молочных продуктов, имевшихся в сельском магазине, обыкновенную «Кока-колу» из двухлитровой пластмассовой бутылки, напиток, который «новое поколение» выбрало с таким же азартом и приязнью, как наше некогда пристрастилось к «Московской» водке и портвейну «Кавказ». Новое время, новые песни!

А тут и гости на машине подержанный «опель» приехали подышать лесной прохладой, напоенной нужными для всех фитонцидами. Люди весьма высоких моральных качеств, хотя и принадлежащие к среднему классу, на который, как правильно сказал наш Президент, наша Россия будет опираться, как хромой на палку. Он — бывший рок-музыкант, завязавший с алкоголем и богемной жиз-

ню путем медицинского вмешательства, она — секретарь-референт одной из полезных фирм, выросших в обновленной России, как описанные выше грибы. С окладом 700 у. е. в месяц и знанием английского языка, полученным на платных курсах, которые расположены недалеко от Кремля. Мы поговорили о жизни, искусстве, политике, будущности России, которая вернулась обратно в семью цивилизованных народов после преустроенных ей большевиками тяжелых исторических испытаний.

— А что, друзья, не съездить ли нам на экскурсию в Ново-Иерусалимский монастырь, одну из колыбелей русского православия? — вдруг встрепенулся кто-то из нас.

Сказано — сделано. И вот мы уже ступили под величественные своды храма, который по манию патриарха Никона был возведен на исходе XVII века в живописном подмосковном городке, ныне носящем скромное имя Истра.

Дивно и радостно стало нам в этой обители древнего благочестия, выстроенной по образцу и подобию главной христианской святыни, находящейся в старом Иерусалиме. Верующие и экскурсанты вели себя тихо и тоже, как и мы, были в восхищении от реставрируемой красоты. Да и то — ведь собор взорвали в данном случае вовсе не большевики, а фашисты. «Горьки уроки истории, и не зачем золотить их. Пусть лучше золотом сияют церковные купола, а ни большевиков, ни фашистов никогда больше не будет», — решили мы.

Усталые, но довольные возвратились мы домой и включили телевизор. Там как раз передавали о том, что Ельцин снял с поста премьера Кириенку. Мы тут же побежали в магазин, но было уже поздно.

Здравствуй, новое старое слово КРИЗИС!

Здравствуй, новая старая жизнь!

Доллар уж нынче стоит 17 руб., Президент приболел, большевики глядят брюки, чистят ботинки и учатся красиво завязывать галстук, секретаря-референта уволили вследствие исчезновения объекта реферирования, ее муж потерял деньги в банке, напился пьян и разбил машину, сыр «Маасдам» вернулся из сельского магазина на родину в компании с йогуртом, комсомольцы сплясали джигу на Красной площади, у ворот Бутырского оптового рынка сидел очаровательный малыш лет трех и, лукаво улыбаясь, курил сигарету «Прима» без фильтра, Григорий Явлинский прямо заявил, что в правительстве скорей всего коррупция, — Лёня-миллионер развелся и разорился, генерал Лебедь предложил свои услуги, Михаил Горбачев сказал, по телевизору показали Филарета Назаровича и фильм «Семеро смелых», а Дристова, наоборот, нашли ранним утром... Петер Штайн поставил «Гамлета», Владимир Салимон снова ищет в потемках деньги на издание «Золотого века» и не может никак отыскать, Сергей Юрский гениально читает со сцены «Пушкина и других», у жены — новый роман (в смысле — «художественное произведение»), у ребенка — каникулы, в ПЕН-клубе отключили телефон за неуплату, в Красноярске прошли «Литературные встречи в провинции», через реку Истру построили мост. Что еще? Осень наступила, высохли цветы, пора конопатить окна. Мой компьютер, не вынеся скачущего напряжения внешней жизни, сломался, и я пишу все это от руки.

Зато мы засолили ведро грибов, бак огурцов и бочку капусты. Купили центнер (100 кг) картошки и самогонный аппарат. Чехов говорил, что мы еще увидим небо в алмазах. Приезжай к нам скорее, дорогой дедушка Чехов, чтобы лично в этом убедиться.

29 октября 1998 г.
Истринский р-н
Московской обл.

Эпилогия

ВОЛЬНЫЙ РАССКАЗ

Не получи я наследство, не было б этой истории. Сюжетец изношенный, а для меня — жизнь. Наследство — роковой взнос в судьбу. Уходит из жизни родной человек, но остается в семье тыща скопленных и не потраченных им рублей, о которых даже не знали. Зачем он их копил? Куда мог потратить в свои восемьдесят пять лет? Чувство утраты смешивается со странным ощущением обладания — деньги не жгут рук, но похожи на что-то живое, чуть не шевелятся. Хочется побежать и сменять эти шевелящиеся дензнаки на точно такие же, червонцы да серые советские рублики, но ведь примут за сумасшедшего. Что-то прибыло — значит, что-то должно случиться...

Мой дедушка, Колодин Иван Яковлевич, успел застать начало моей литературной болезни — и не понимал, не одобрял. Дедушка был генералом госбезопасности, вышел еще при Хрущеве в отставку, бросил пить да курить, жил в чести со славой в городе Киеве и мечтал, чтобы я стал военным врачом. Он доверял в своей жизни только военным врачам и хотел уже иметь военврача и в семье — этот, семейный, уж точно будет лечить как надо. В детстве фельдшер на осмотре повредил мне барабанную перепонку, так что стал я на одно ухо глуховат и от ущербности своей, вероятно, чтобы хоть чем-то восполнить отсутствие слуха, пробовал сочинять вначале музыку, а потом и стихи. Дед, у которого, кроме меня, больше внуков не было, сулил золотые горы, если я поступлю в военно-медицинскую академию, но, когда мама ему сообщила, что «мальчик стал сочинять стихи», огорчился единственный раз и хладнокровно наблюдал из Киева, кто ж из меня получится.

Первый свой рассказ я написал о дедушке — о его подвигах, как он гонял по Украине банды бендеровцев, пленял оуновских проводников и отыскивал в лесных чащах их тайные, полные награбленного золота бункеры. Была у меня, генеральского внука, глуповатая тщеславная надежда, что он даст куда надо команду и рассказ опубликуют — ну хотя бы в республиканском масштабе, хотя бы, например, в газете «Советская милиция»... Дед любил делиться опытом с молодыми милиционерами и контрразведчиками, самолично диктовал бабке свои выступления-воспоминания, щедро приправляя их выученными когда-то наизусть цитатами из чекиста-классика, отчего казалось порой, будто Дзержинский навещает его что ни день. «Как говорил Феликс Эдмундович Дзержинский... — чеканил дед, и бабка записывала за ним в тетрадку. — Нет... Саня, стой, не так... Записывай: дорогие мои курсанты высшей школы милиции, Феликс Эдмундович говорил...» Он не столько любил вспоминать — сколько фотографироваться для газеты, а потом видеть на ее страницах свой парадный портрет. Эти газетные вырезки, что любовно собирала бабушка в особый альбом, до сих пор ясно стоят у меня перед глазами: «Генерал-лейтенант И. Я. Колодин с курсанты высшей школы милиции», «Генерал-лейтенант И. Я. Колодин на встрече с ветеранами партизанского движения Вольницыны»... Но мой первый в жизни рассказ дедушка никуда не отдал. Я послал ему рассказ из Москвы по почте, будто в редакцию взаправдашнего литературного журнала, а мне пришел ответ, писанный бабушкой не иначе, как под его диктовку: «Ой, Олеша,

а дедушка-то рассказ твой потерял, никак не найдем, да и советует он тебе, бросай ты это дело и скажи от нас матери, чтобы бросала курить... Алка, слышь, брось эту отраву! Слышь, не кури!»

Тогда я думал, что дедушка сделал это из ехидного своего безразличия ко мне, но после, чем больше сам становился литератором, тем ясней стал понимать: ведь я, того не думая, умыкнул неизвестно куда — что дед, не любя и не понимая, называл «брехней собачьей» — его кровные каждодневные воспоминания, вместе и с «Феликсом Эдмундовичем» и с «дорогими курсантами». На деда я обиделся, не виделся с ним года три, не ездил в Киев, успел послужить в армии, а приехал уж — на похороны. «Ну вот, теперь можешь писать... — вздохнула с облегчением бабушка, будто исполняя его волю. — Он сказал: вот помру, пусть тогда и брешет обо мне...»

Дядька на третий день после похорон не вытерпел — приехал с чемоданом за дедовой финской дубленкой. Бабушка стояла на страже одной ей ведомой воли. Согласно этой безмолвной воле, хоть не было завещания или чего-то похожего, поделила она всё наследство непонятно как: дядька уехал восвося с пустым чемоданом, но с двумя трофейными охотничьими ружьями под мышкой; другому брату, младшему, Валерию, отошли все дедовы костюмы, ботинки, электробритвы да очки; моей сестре, Олеське, досталась огромная фарфоровая ваза (подаренная деду от органов на юбилей), весь изящный вид которой портила золотушная накладка — знак охраны порядка; меня бабушка заставила примерить дубленку; матери вручила какой-то сервиз. Через год, когда стало возможным снять со сберкнижки тайный вклад деда, пришла к нам переводом от бабушки тыща рублей.

Сестра как раз вышла второй раз замуж, и новой семье многого не хватало. Мама отдала ей семьсот рублей, а мне, во исполнение опять же непонятно какой воли, торжественно вручила остальные триста — мою долю дедушкиного наследства. Шел девятый год, я прозябал — нигде не работал и не учился. Что мне было делать с этими деньгами? По ночам я что-то вымучивал, а наутро написанное было противно прочесть даже потому, что противным казался мне мой неуклюжий почерк, со сваленными в кучу, будто обожратыми и пьяными, буквами. Мама болезненно ждала, что я сделаю с деньгами, верно, рассчитывая, что раз мы живем вдвоем да и бедновато, то я возвращу ей эти триста рублей. И тут я впервые сказал ей о пишущей машинке... Что раз я хочу быть писателем, то мне нужна пишущая машинка... Она стерпела и узнала для меня адрес магазина пишущих машинок; в Москве тогда не закрыт на ремонт был только один — на Смоленской.

Презирая себя, понимая всю свою никудышность, я все же поехал на Смоленскую, в этот магазин, потому что не купить пишущую машинку стало еще позорней, страшней: кто б я был без этих своих всё оправдывающих мечтаний? будто я вовсе не трутень на шее у матери, а пи-са-тель, ну на худой конец поэт... А у Смоленской мои ноги заплетались. Еще успел подумать, что куплю себе самую плохонькую, самую дешёвенькую машинку, останется еще куча денег, и я, как любящий сын, отдам их в общий котёл, на котлеты да наваристые гороховые супы. Но в зал магазина я вошел, как в зал с рулеткой, тотчас от вида разнообразных машинок потеряв и совесть, и разум. Тут я совершил второй необъяснимый для мне до сих пор поступок. Что это был за выбор? чья воля внушала мне по-бесовски? Я купил самую красивую. Самую большую. Самую железную. Самую заграничную из тех, что были... Я купил с бухгалтерской кареткой «Роботрон», весом в пятнадцать килограммов и стоимостью в двести пятьдесят рублей.

Эта покупка обставлялась и впрямь как сделка с нечистой силой, будто не машинку я купил, а продал душу: с нее списали на моих глазах номер, зарегистрировали, поставили прямо в магазине на какой-то тайный учет, а я расписался, словно давал подписку хранить эту тайну. Но саму машинку мне так сразу не отдали! Почему-то мне должны были ее привезти на дом в течение пяти дней. Я заплатил последние рубли за доставку и поехал восвося без денег, без машинки,

словно проигравшийся в пух и прах игрок. Мама три дня со мной не разговаривала, пока не доставили мне в огромной коробке мою покупку; распаковав ее, должен был я совершить теперь чудо, а иначе не стоило б мне дальше жить. У сестры глядели уже цветной телевизор, стояли два новеньких шкафа. А я сидел самобийцей перед грудой заряженного всем моим горем железа, которое страшно было тронуть, потому что оно издавало звук, похожий на выстрел. Писать я не умел — так вот, как не умел печатать на машинке. «Вот помру, пусть тогда обо мне и брешет...— аукался мне, будто б с того света, дедушкин голос, но и оживлялся, проникая душевно в машинку: — Ну, что, засранец, не дал матери триста рублей, купил-таки говна... Эх, ну давай, бреша, а я послушаю. Вот я себе жалел такой аппарат купить, у меня такого не было, хотя я и генерал и пенсия у меня была генеральская, а ты вот решето дырявое, маланья, туняедец, прохиндей...»

Печатать я начал одним пальцем, чувствуя себя, как душевнобольной на трудотерапии. Меня распирала идиотская радость бытия. Сам собой поменялся режим — стал вставать в семь утра, как на работу, хотя нигде так и не работал. Навык окреп. Как и всякого новообращенного, меня подстерегали искушения. Во-первых, то и дело что-то изкушало заглянуть в машинку и узнать, как она действует. Во-вторых, я чуть было не попался на крючок ложного пути познания — купил учебник по машинописи, начал сам себя обучать печатать вслепую, но через несколько дней впал в депрессию и отступил к уже достигнутому, к одному пальцу. На этом пальце скоро вскочила, будто прыщ, самая что ни есть настоящая мозоль. Настроение было такое, будто принес домой первую получку. Эту мозоль на пальце горделиво совал глядеть сестрице, которая не верила в мой талант и подуськивала маму отправить меня в слесари на завод. Чтобы этого не случилось, нужно было скорее переходить на два пальца. Воображение уже несло в неведомые края, так что тащиться за ним наподобие муравьишки со сломанной лапкой, тыча одним пальцем в клавиши, стало тем более тягостно.

Всего за месяц я со страху отпечатал, то есть написал, несколько рассказов. Но страх попасть слесарем на завод гнал и гнал, чуть не катался навроче ведьмочки на моем горбу. Жизнь убыстрилась. Чтобы выучить с репетитором родной свой русский язык для поступления в Литинститут, занял, не зная, как буду отдавать, триста рублей. Поступил в Литинститут — послал рассказы, с которыми поступал, в журнал. Вдруг напечатали — получил огромный гонорар, отдал долг. Отдал долг — влюбился в женщину, а в женщину влюбился в ту, с которой сел рядом на первом вступительном экзамене. На остаток гонорара мы основали семью. Основал семью — тут тебе и ребенок, а гонорар-то истратился.

Но подвалило счастье — рассказы взяли в сборник. Мать моя, полторы тыщи рублей гонорар! А за тем счастьем уж прыгнула мерзкая жаба, чавкнула — и тысячи мои превратились в ничто, в промокашку. Как жить?!

Попугая, австралийскую нимфу — собственность жены, ну и как бы приданное — сменяли на Птичьем рынке на двух кролей с той мыслью, что будет у нас в это трудное время пицца, будет мясо. Ведь жить-то как? Скрещивал я их, скрещивал, а тут заглянул по нашу душу сосед Малофеев, пузатенький, похожий на попа себе на уме мужичок, которого замучила вонь с нашего балкона, — поглядел, говорит: да это ж у тебя две самки, кого ты скрещиваешь-то, писатель тоже мне, ты же двух баб скрещиваешь!

Денег нет ни копейки. Есть два килограмма сахара, запас от старых времен, который держал я и не растрчивал как валюту. Еду на рынок — меняю сахар на рыжего кроля-самца: куда глядеть и как их различать, сосед Малофеев уже научил. Привожу — и пошло, тут же скрестил, даже не успел он, самец, мне дать время на размышление. Через месяц принимал у двух своих крольчих роды. Волновался, заглядывая к ним в закуток, подглядывал в щелочку, дрожа от радости и от страха. Новорожденных крольчат грел под лампой. Дня через четыре они уже превратились в маленьких смышленных кроликов — вот оно, неужто это мое и я есть в некотором роде даже их Бог, что создал их жизни из одного попугая да

из двух килограммов сахара! Самца пускаю первого на мясо — топчет он моих крольчат, отнимает драгоценное для их жизни место. Тушка уходит Малофееву, да и он считает себя как бы вполне законно в доле со мной, раз дал столько полезных советов да еще и терпит с моего балкона вонь. Собственноручно избавив нас от рыжего самца и унося освежёванную тушку к себе, Малофеев (а он был человек стихийно верующий и ходил даже по воскресеньям в церковь) сказал, что поступил со мной «по-церковному». «Это как же по-церковному?» — не сдержался я от удивления, вовсе не думая, что он окажется еще и в сане моего благодетеля. «А не по-церковному если, — нахмурился обиженно Малофеев, — то можно было б и сигнал кое-куда подать, что некоторые у себя в квартире не то что притоны содержат, а даже кроликов!»

Развожу на балконе солнцевской нашей квартиры стадо кроликов — все рыжие и все хотят есть. Сестра-бизнесменша довольна, она от меня не ожидала такой жизненной стойкости и одобряет: «Кроликовод — это тоже кусок хлеба! Теперь у тебя свой бизнес. Начинать всегда надо с малого, не отступай». А жить-то как, чем зимой кроликов кормить, у меня ж их уже двадцать душ?! Пока выручали общественные газоны. Как раз напротив солнцевского горисполкома была такая лужайка, где рос клевер, — полоска где-то в десять — пятнадцать соток. Но какая-то крестьянская душа у нас в Солнцеве, верно, завела корову или коз, так что в один день на всех лужайках скошен был под корень весь клевер. Кто-то успел запастись на зиму, а я нет. Ну как жить, какой здесь бизнес?!

Покупал до января крупы в магазине, кормил, покуда вконец не разорился. Побирался по овощным магазинам, выпрашивая гнилые капустные листки. Одет я был прилично, но все мои извинительные, стыдливые объяснения про кроликов все ж наводили продавщиц на мысль, что я или блажной, или обнищавший вконец студент. Дело дошло до того, что кролики проели уже обручальное золотое кольцо, заложенное в ломбард. Надо было это вечно голодное стадо куда-то девать, и, будь лето, я бы их выпустил в лесок, чтобы в Солнцеве стало, как в Австралии, но леса близлежащие уже стояли голые да босые к зиме. Обученный соседом — Малофеев сам из деревенских и хорошо помнил, как это надо делать, — кролей, кое-как откормленных, забил. Однако никто в семье не смог этого мяса есть, и пришлось его раздать по знакомым. Шкуры выделал, но их выклянчил у меня в конце концов тот же Малофеев, соседка, — покрыл кроличьим мехом сиденья в своем автомобиле, «чтоб все как у людей»: «Что я шкурками с тебя свою долю взял — это даже еще по-церковному!»

Год жизни кончился бессмысленно, абсурдом — так хоть попугай у нас был и не надо было б на веки вечные закладывать в ломбард кольцо.

Тогда я бросился к пишущей машинке. Пишу-барабаню. И снова — страшно, страшно... Бегал с квартиры на квартиру: то бежал из семьи работать к матери, то бежал от матери работать по ночам в семью! Сосед Малофеев насторожился на этот шум, но, зайдя к нам и увидев только пишущую машинку, разочарованно ушел на этот раз с пустыми руками, буркнув обиженно, что шуметь я имею право только до одиннадцати часов. Рассказ меж тем стал повестью, а повесть, такими вот перебежками, романом. Роман делался по содержанию все трагичней. Мало какой герой доживал до середины. Муки творчества были просты, как мычание: я возил с квартиры на квартиру «Роботрон» весом в пятнадцать килограммов. На один печатный лист прозы у меня приходились две ходки, два его веса. В тех муках зарождался не роман, а план мести печатной этой машине. Она ж мне по-мелкому гадила: под самый конец романа стала западать буква «а», «тк что пришлось позбыть про нее, и мшинистки в редкци», перепечатывая эти последние главы, стонали и рыдали. Чинить машинку не было ни времени, ни денег, и от машбюро приходилось скрываться. Какое ж облегченье мне было, когда держал в руках номер журнала со своим романом! И какое же горе мне было, когда получил я спустя месяц гонорар... Дело с романом кончалось вполне, как дело с кролями, — за полгода проклятой работы двести жалких тысяч, для полного абсурда оставалось и гонорар этот, что ли, Малофееву отдать. Стоял на многолюдной площади, пересчитывая и пересчитывая четыре бу-

мажки, не понимая, что мне еще делать в этой жизни, на что я гожусь. «А что я тебе советовал, засранец? — аукался дедушка. — Был бы военврач — был бы человеком. Так бы хорошо было! А теперь ты кто такой есть? Ты есть брехун. Брехней кормишься. Брех-ней!»

Где-то в ту самую пору я увидел впервые в своей жизни компьютер. Заехал по работе коллега жены — журналист, достал что-то из сумочки, а это оказался компьютер. В это мгновение у бесенят, что дежурили надо мной с тех пор, как я заключил непонятный мне контракт с ихним главным чертом в магазине на Смоленской, вероятно, произошла смена караула. Ясно я помню свое чувство, когда увидел эту игрушку и в ней что-то запищало, замерцало, забегало: если пишущая машинка превратила меня, как только я ее увидел, в идиота, то этот маленький компьютер вверх в доверчивое детское состояние, будто игрушка.

Его хозяином был Тимур Петров. У каждого компьютера, как у собаки, есть свой хозяин. Но Тимур был из тех одержимых одиночек, которым компьютеры не столько служат, выполняя команды, сколько поят их да кормят, как это бывает с заводчиками породистых собак. Всю семью Петрова содержал этот маленький компьютер, с ним были связаны и все маниакальные нахальные планы этой семьи: что их дочка, когда подрастет, будет учиться в Кембридже; что у них будет пятикомнатная квартира в центре; что Тимур скоро сменил свой утлый «жигуленок» на джип... Сам он, Петров, ходил в одной рубашке да тертых джинсах — и это уже становилось странным. Жили они пока что на «Пражской», притом даже не платили за квартиру, но не потому, что у них не было денег, а просто так вот рационально для себя решив, что им незачем платить, ведь ни одного человека в стране еще не лишили за долги жилплощади. Да, могли бы отключить свет и воду, но и это их не пугало. «Не отключат», — говорил нахально Петров, что звучало не в том смысле, что, дескать, «не посмеют», а по-хакерски высокомерно: они отключат, а я включу — чего они стоят со своими гаечными ключами да отвертками, я-то знаю штучки посильней... Он что-то знал — это не вызывало сомнения. Временами мне казалось, что так самоуверенно жить и не платить за квартиру может только резидент иностранной разведки. По образованию инженер-электронщик, Тима вдруг ни с того ни с сего превратился в журналиста — он писал только о связи в России и только на английском языке. По-русски он не мог написать и двух слов, и если я вызвал в нем в первую нашу встречу уважение, так это тем, что писал по-русски. «А я ненавижу кириллицу...»

Этот мальчик с индейскими волосами и в джинсах, не умеющий написать двух слов на том языке, на котором говорил отродясь, оказался обозревателем по связи в России ведущих мировых экономических журналов: маленький компьютер и рассылал его факс-колонки по всему миру (надо ли говорить, что и за телефон этот человек не платил). Как и все новоявленные прогрессисты-модернисты, Тима гордился, что знает толк в иностранцах и что вырвался на мировой простор. Его боссом был обрусевший англичанин, некто Патрик, вся фирма в России которого состояла из одного Тимура. Но что еще удивительней — Тимур сам этого своего босса и содержал: Патрик не платил Петрову зарплату, а брал у него в долг — и после с трудом, понемногу отдавал. Кроме того, Петров водил его за свой счет в рестораны. Было похоже, что Патрик, то есть иностранный босс, нужен был ему для престижа. А ходил он в рестораны, платил там за него, как за уроки, чтобы ощутить себя со вкусами и манерами англичанина. Именно так: он изучал Патрика, будто насекомое, чтобы приехать жить в тот мир готовым англичанином, таким же аккуратненьким насекомым. Если же и был у них общий бизнес, то вот такой: Патрик раз в полгода мотался на родину, где снимал для Тимура деньги с его счетов, что скапливались со всего мира в виде гонораров, укрываемых Тимуром от налогов... В общем, наши пути пересеклись, и я открыл для себя совсем неизвестную особь человека, тем же оказавшись интересным и для Петрова. А после, когда появился в моей жизни такой вот человек, появился в ней и компьютер. Был в моей жизни тот, кто дал первую сигарету и

научил курить; кто налил первый стакан и научил пить — а вот человек, во всей своей красе, который дал поглядеть мне на компьютер и научил тому, чем сам был до мозга костей отравлен...

Купить компьютер просто — значило купить его за очень большие деньги. А за долларов триста — четыреста — там начинались сложности. Этой сложностью была жизнь. Имея двести — триста долларов в кармане и желая притом иметь компьютер, ты попадал в джунгли самодела и в непростую жизнь, которая от простой и легкомысленной отличалась, как супермаркет от одесского Привоза: там могли обмануть, могли украсть, могли б — за те двести — триста долларов — даже убить. Многие исповедовали теорию «опрятной бедности», и частенько приходилось слышать: да, мы живем бедно, нам не хватает денег, зато у нас есть японский телевизор. Люди кинулись покупать японские телевизоры, копили по-муравьиному на него деньги, чтобы заставить себя уважать. В среде литературной нищета принимала опрятный вид, если на письменном столе у тебя всеми правдами и неправдами появлялся компьютер. Заработать денег литературной работой было нельзя — хоть умри. А вот именно что не зарабатывать, получить их дуриком — пожалуйста. Японская телекомпания снимала дежурный эпос о России, одна из серий в котором была посвящена литературе. На то время в ней моложе меня никого не было, а им был нужен для съёмок самый молодой, к тому же работал я к тому времени в больнице чем-то средним между охранником и санитаром морга — японцы потоптались несколько дней у меня в квартире с камерами, попросили познакомить их с моей работой и почему-то еще с моей «русской бабушкой» и заплатили за беспокойство в десять раз больше, чем только что я получил за роман. Так я расплатился с долгами и еще остались деньги — могло их хватить на полгода спокойной жизни, однако суждено мне было иное.

В те дни я со злорадством взирал на пишущую машинку. Знал бы дедушка, что наследство его начало прирастать и дало плоды! Мысленно я все еще рассчитывался с ним за машинку, доживая до того дня, когда наконец смогу не чувствовать страха и вины. Компьютер — это было бы уже мое, мной заработанное, так что я уже сам мог оставить его в наследство. Тимур пообещал найти мне по объявлениям подходящий вариант — и вот раздался его звонок. По нашему договору я должен был заехать за ним на «Пражскую» на такси, а после покупки накормить его ужином и отвезти на такси же домой; а он давал мне на год гарантию, что компьютер не сломается, а если бы сломался, то он бы уже оплачивал ремонт. Мы поехали по объявлению.

Подходящий по цене компьютер торговал молодой мужской голос в Марьино. Не будь дурак, я взял с собой еще одного друга — в прошлом боксера. Со стороны мы были похожи на телохранителей Петрова — имели такой же сосредоточенный, настороженный вид. На квартире нас ждали тоже... три человека, из которых два, очевидно, ничего не смыслили в компьютерах; они развалились в креслах и с угрюмым видом тянули из банок пиво. Хозяин квартирки — такой же дохленький, что и Петров. Нас попросили показать деньги. Мы попросили сначала показать компьютер. Возникла напряженная пауза. После чего все шестеро мы влезли в тесную комнатку, где прятался компьютер. Стало как-то полегче — я вынул и снова спрятал доллары. Петров с хозяином квартирки зашли тестировать и проверять. Тесты строчились на мониторы. Атмосфера в комнате была такая, будто строчит счетная машинка живые деньги. Время томительно затягивалось — пока они считали, мы стали о чем-то беседовать с двумя амбалами напротив.

В конце концов Петров нашел какой-то небольшой изъян, какой — понимали только он и плюгавый хозяин комнаты.

Тимур, забывшись, стал в ехидной высокомерной своей манере торговаться: «Нет, здесь надо долларов пятьдесят скинуть...» Он думал сэкономить мне денег, а мог отнять здоровье или даже жизнь... Атмосфера снова стала напряженной — амбалы замолкли и уставились угрюмо на Тимура, который что-то у их дружка хотел скинуть, как если бы отнять. Никто и не думал, что ком-

пьютер покупаю я, но здесь и прорезался мой голос: «Тима, скидывать не надо». «Да это почему?» «Потому что не надо... Делай, что сказал...» «Тогда я снимаю с себя гарантию». «Снимай. А я снимаю такси...» Наши невнятные переговоры стали их раздражать все больше, и со стороны им не иначе казалось, что мы подаем друг другу знаки. «Мы берем», — говорю я. «Это будет твой первый и последний», — ехидничает он. После мы с коробками потащились вшестером до ближайшего обменного пункта проверять доллары японцев, а он оказался закрыт, и банда наша из шести человек неприятной наружности побрела совсем неведомо куда. Мы с Петровым разругались: он хотел ехать со мной ужинать, а я уже считал, что он на этот ужин не имеет больше прав. Стремительно накатилась вражда: я его послал в поганую его Англию и обзывал фарцовщиком, а он глумился над моими жалкими долларами, над моим жалким компьютером и натурально проклял его матерно на английском языке; материться по-русски он уже успел себя отучить.

Писать всерьез и долго нет у меня сил, пусть простят мне иронию да и этот весь беглый рассказ. Суета, вовсе-то не главное, вдруг становилась главным, самой жизнью... Пишу я о суете, однако в ней и гнездятся бесы. Тыщу раз я себе говорил, что надо остановиться, обрести покой, но всегда гнал меня только вещей страх, заполученный будто вместе с дедушкиным наследством. Когда ж я купил компьютер, то мне отчего-то стало еще страшней, и этим страхом моим кормилась теперь умная, бездушная вычислительная машина, которая, как оказалось, имела свой непонятный подлый характер и которую я сам в конце концов одушевил. Свой компьютер после года работы на нем я называл просто: «Ну ты, падло...» Тут и вспомнилась мне послушная тупая пишущая машиночка — мой творческий метод делал меня зависимым от все более изощренных и все более самостоятельных в своей изощренности вещей.

Обрести твердую почву под ногами никак не удавалось. Японские доллары я грохнул, а мне будто во сне мечтательно думалось в пору моей дружбы с Тимуром, что они из компьютера, как из навоза, уже чуть ли не на другой день произрастут. Я говорил себе: компьютер облегчит мне работу и даст новые возможности, стало быть, я успею сделать вдвое больше и т. п., а мои факс-колонки тоже заполнят полмира. Но обнаружилось, что работать больше и быстрее я или не умею, или физически не могу. Также не мог я стать и легкомысленней, а цинизма хватило только, чтоб морочить голову в стенах собственной квартиры заезжим японцам, пугая их до смерти рассказами про своего дедушку — «генерала КГБ». Из-за компьютера я стал еще более мистиком, чем был, потому что между мной и нечистой силой появилась связь, как мне чудилось, навреде телеграфной. Мой компьютер сожрал в первый раз у меня главу романа. Как это могло произойти, никто из людей сведущих не мог мне объяснить, а я всегда забывал делать копии, потому что многожды влезал в компьютер и правил. Главу пришлось делать заново, но тогда я еще писал в свое удовольствие. Скоро же оказалось, что у меня снова почти нет времени — три месяца проедали аванс от журнала, думал, что сроки всегда перенесут, но и всячески их умасливал, что работа «двигается», тогда как никуда она не двинулась. Уверенный в том, что сроки перенесут, я даже заявился в редакцию с мрачным независимым видом и попросил дать мне аванс во второй раз, так как работа над романом уже совершенно близится к концу. Мой решительный вид и мой будущий роман давно внушали к себе такое гипнотическое уважение, что дадено было без промедления, в тот же час, еще пятьсот тыщ.

Вдруг спустя месяц торжественный звонок из редакции — просят показать написанное. А когда еле отвертелся нести рукопись на показ, оказалось, через два месяца они все равно ждут уже от меня роман в печать. Всего два месяца было! Первые дни я сидел сутками, шло легко и скоро, но вдруг из файлов стал уничтожаться что ни день текст. Вместо текста то и день находил, будто мышинный помет, какую-то абракадабру на языке машины. Только один знакомый — а, кроме литературных, знакомств в моей жизни как-то и вовсе не стало — вызвался приехать разобраться, полечить... А я был такой наивный, что пускал в

свой компьютер каждого и не думал о том, какая может быть в наш век простая месть от тайного недоброжелателя. Мой Сальери засадил в компьютер докторскую программку, а вместе с ней и вирус, который после обнаружил и уничтожил только приехавший с фирмы сестры высокооплачиваемый специалист. Срок сдачи романа таял. Литератор, подкинувший мне вирус, ни за что не сознавался и валил все на какого-то другого литератора, будто и сам оказался жертвой чьей-то шутки, но ведь был-то он в прошлом программистом, а потому я больше не подавал ему руки. Я писал уже в очень большом напряжении, когда в один день компьютер не включился вовсе, выдав надпись по-английски, что доступа к диску, к моему роману, — нет. «А это что такая за дура? — аукнулся мне голос дедушкин откуда-то со стороны, опасно и с удивлением витая подле непонятного хлама. — Ну-у, купил говна! Ну даже не понять!»

Это был проверенный человек. Ему доверял свой компьютер сам Владимир Семенович Маканин, а знала как компьютерного гения добрая половина литературной Москвы. Дмитрий Голубовский живо начинал, а после ушел от литературы в компьютер, будто в скит. Он говорил, что хочет понять себя и тому подобное, а потом снова в литературу прийти, и на этот раз уже навсегда. Когда мне назвали его имя, я вспомнил с отчаянием, что рассказы этого человека однажды с похмелья разругал на совещании молодых писателей и даже советовал ему больше не писать. В ответ этот человек, чуть нагловатый на вид, похожий на скаута, с залезанным прямым проборчиком и в очках, только самодовольно улыбнулся — мой топор не отрубил ему головы, потому что он давно уже ничего не писал. Голубовский, как я после понял, по этой самой причине считал себя недосягаемым и неприкасаемым: он себя заморозил в блестящем творческом состоянии, а разморозиться полагал лет через двадцать, в том же блестящем творческом состоянии, когда у таких, как я, уже высохнут от скуки чернила. Номер телефона его толком никто не знал. Он жил в каком-то общежитии работников Сбербанка и на связь выходил сам. Но его номер телефонный скрывали даже те, кому он все же был известен: Голубовского еще и с трепетом прятали от внешнего мира его родные и близкие, как если бы звонки по телефону даже не на нервы ему действовали, а разрушали мозг.

Тот, кто снабдил меня телефоном Голубовского, взял с меня клятву, что я никогда не выдам его имени, — потому молчу. Деваться мне было некуда, и я, предвидя даже не отказ, а пытку унижением, все же позвонил. Голубовский меня хорошо помнил, но унижать не стал. Чувствовалось только, что, плавая в море всеобщей литераторской компьютерной тупости, он не то что устал, а измождён. Загробным голосом он стал мне говорить, что надо делать, но я ничего не понимал — я не знал даже английского языка. Однако он был благородный человек. Почувяв это, я описал ему всю гибельность своего положения, если не извлеку роман. Преодолевая и усталость, и, наверное, отвращение, он наконец сдался и пообещал приехать со своим маленьким компьютером спасать мой смертельно больной. Он приехал, но моя машина оказалась даже без нужных разъёмов. Не было и подходящих дисководов, ничего у меня не было — так я узнал наконец, что стал хозяином дикой бездомной собаки, без роду и племени.

Голубовского, однако, успел заинтересовать мой роман. Он даже предложил его теперь же заморозить в сломанном компьютере, а починить компьютер и разморозить роман лет эдак через двадцать, а лучше всего, чтоб я завещал починить свой компьютер только через сто лет после смерти. Притом он рассуждал, говорил вдумчиво и всерьез, возможно, даже надеясь убедить меня воспользоваться случаем и понадеяться не на тлен, а на бессмертие. Когда я заговаривал про аванс, он брезгливо морщился, не понимая, отчего меня так мучает, что я взял денег в долг от какой-то брэнной редакции. Он сам был должен, с тех пор как заморозился, в двух или трех издательствах. «Авансы надо брать, раз их дают... — рассуждал он. — Отчего ж не взять аванс, раз это деньги?.. Но никто не может заставить художника творить».

Тогда я честно сознался Голубовскому, что умею писать, только отдавая

долги, а если же я не буду отдавать авансов, то погибнет мое вдохновение. Сознался ему еще в такой банальности, что хочу дописать роман. А что не могу прожить дня без строчки — это уж звучало, будто б поведаль на призывной комиссии, что страдаю энурезом. После этого признания Голубовский не возражал. На следующий день он брезгливо приехал ко мне снова, со всем нужным для операции, и начал будто роды принимать у моего компьютера. Много часов извлекал Голубовский из его чрева мой роман. Когда он его извлек, то честно мне признался, что компьютеру моему осталось недолго жить. Вопрос был и технический, и духовный: что в нем ломалось, Голубовский так и не постиг, но, видя, что обрушилось чуть не все, предрекал ему гибель. Но мне уже не на чем было больше работать — печатная машинка с бухгалтерской кареткой была мной разобрана и поломана (читай о первом искушении автора), когда на письменный стол водрузился компьютер.

Мне оставались считанные недели, но и дописать надо было немного — главу, две, три. Без всякого вранья, так как дело было серьезным, я приладил на компьютере иконку своего святого и молился — чтобы включилось и чтобы не завис. Всё копировал, и самым ужасным сном моим было, что я забыл скопировать написанный текст. Однажды утром я обнаружил, что вместо директории ROMAN в компьютере возникла директория ANTIHRIST. Думая, что романа уже нет, я открыл в полуобморочном состоянии эту директорию, но все файлы глав выстроились как на параде и целы были внутри. Глазам я своим не верил: если это был какой-то сбой, то из миллиона, а, наверное, из триллиона возможных вариантов как мог возникнуть именно этот? Откуда?! Уже как в последний раз я позвонил Голубовскому, исповедался ему. Когда Голубовский узнал о телеграммке, посланной в мой компьютер, то долго молчал и в конце концов внушительно произнес: «Меняй машину. Это будет стоить долларов пятьсот». «Что?» «Новая хорошая машина», — ответил он невозмутимо. «А если это знак? Такое может быть?» «Ты в Бога веришь...» — то ли спросил, то ли выдохнул устало Голубовский, но я понял это как вопрос и, не позволяя себе хоть на мгновение усомниться, ответил ему почти как священнику: «Верю». «Ну, тогда это, конечно, знак. Иди к попу, свечку поставь! — ехидно хохотнул Голубовский. — Писать — это вообще великий грех...» И тут я вздрогнул от ощущения, будто все это уже однажды слышал: да ведь теми же словами угостил меня однажды воцерковленный сосед мой Малофеев, сказав: «Все пишете, все фарисействуете... А вот Христос не то что не читал и не писал, а даже был неграмотный! Я вот, простой человек, только читать умею, а мне и то совесть за это покоя не дает. Я, наверное, отрекусь от грамотности — грех это. Мое мнение такое, как православного, что оставляю в себе только способность считать, буду жить как монах. В математике греха нет. Цифры, они, понимаешь, людям не врут и не затуманивают мозги. А в буквах — все зло!»

Так или иначе, но я писал под спудом этого события и под влиянием же этого события изменил финал: вся фабула романа велась к самоубийству героя, но это самоубийство не произошло. Под страхом, возможно, под страхом аномальным, ненормальным, финал повернул на полной скорости мимо этого самоубийства. В мое сознание намертво вошло, что самоубийство — это грех. Критики поедом ели за этот финал. Писали, возмущались все кому не лень, что подлец-герой у автора остается в финале жить да еще и радуется, подлец, жизни! В журнале «Наша Москва» ужаснулся добрый христианин; журнал «Наш новый мир» сравнил меня отчего-то с каким-то «сантехником Васей», а «Наше знамя» радостно отозвалось прогрессивно-либеральной статьей «Сделка с героем», из которой следовало, что герой в романе — не наш герой, жизнь — не наша жизнь и сам роман — не наш роман. Как бы сказал Малофеев: «Там не то что катарсис отсутствует, но даже апокалипсиса нет!»

Ну нет, история не кончается — вышла на пенсию теща, приехала из Магадана, где двадцать лет плавала в рыбфлоте, купила домик под Запорожьем, после чего деньги у нее иссякли, так что гонорар за крошечный роман был по-род-

ственному вложен в мебелишку и в ремонт. Снова не было денег — снова не было ничего. У меня остались дисплей и клавиатура, но неоткуда было взять процессор, а что он был проклят и что его надо было менять — это уж я выстрадал. Вдруг раздался в телефонной трубке добрый голос Паши, странного очень человека — моего добровольного читателя. С Пашей мы вместе служили в болевой охране, куда каждый попадал служить, как за грехи, за невезение в жизни и по обстоятельствам. У каждого — свои. Паша был перестроечным негодником. Взлет и падение его заключались в каких-то шести вагонах с мягкой мебелью: сначала он умудрился их так продать, что они очутились у него же вместе с миллионом выручки и он ездил на «мерседесе», но потом эти же вагоны его разорили, когда пришлось заплатить откупные за свою же хитрость куда более изворотливым бандитам и по счетам за гулявший туда-сюда по Советскому Союзу груз. Он остался без дорогой машины, без друзей и почти без мебели. Паша как мой напарник успел прочитать уже написанные два романа — читал он от скуки на посту — и вдруг полюбил меня именно как писателя. Он так меня и называл, вовсе без имени, но с большим уважением, вкладывая в это слово свой особый смысл — что мы с ним до гроба напарники на этом посту; что у него есть свой знакомый писатель, романов которого никто, кроме него, не читал, как если бы читать их было можно только по знакомству — как в былое время добывали по знакомству из-под прилавка красную икру. Переживая свое падение, он грустно, обреченно пил, так что, бывало, мне приходилось сидеть одному на посту, а он валялся в нашей охранницкой пьяный уже с утра. На его беду, прямо подле нашей больницы, через улицу, стоял вытрезвитель, и он попадал в его стены с тем постоянством, с каким проезжали по улице милицейские реанимобили, а текли они по этой улице, как бесконечный траурный поезд. Стоило Паше занести свою ногу над асфальтом чуть подалее больницы, возвращаясь со службы домой, как на следующем шаге его уже вели под руки медбрatья-милиционеры: это был им неожиданный на подъезде к медвытрезвителю прибыток, внеплановый улов.

Паша страдал, будто его дрессировали. Выпей на работе и не останься ночевать в охранницкой — попадешь в вытрезвитель. А не хочешь в вытрезвитель — пей после работы или будь к выходу на проклятую эту улицу как стеклышко трезв. Паша выбирал первое — испытывал себе назло судьбу и, всякий раз попадая в медвытрезвитель, а после появляясь поутру на службе, сам себе удивлялся: «А я дай, думаю, домой пойду... Нет, пора менять работу. В смысле место. Пью? Так я как пью — не валяюсь же под забором. Другие вот валяются. А я шел сейчас с банкой пива — все болит, а вот дошел же до больницы. Я пью поинтеллигентски, в своих четырех стенах».

Однажды встретил я Пашу поутру на посту с подбитым синюшным глазом, опухшего, сизого от побоев. «Пострадал я из-за тебя, — сообщил он торжественно после минуты неловкого молчания. — Мы вчера день рождения Светки-санитарки отмечали». «Ну и чего?» «Чего, чего... — забасил он уже обиженно. — Мне нет, чтоб остаться, так я дай, думаю, домой пойду...» «Ну? А чего ты меня сюда приплетаешь?» «Ишь ты, да как же так, если мне из-за тебя вон всю морду набили. Тьфу, лучше б я молчал! Я ж думал, ты сила, а ты...» «Павел, ну хватит дурить, что случилось?» «Что случилось, что случилось... Повязали меня вчера. А я решил — все, больше терпеть этого безобразия не стану! Сказал им про тебя... Ну, что ты есть... Слыхали, говорю, вот это мой лучший друг и напарник, скажу ему, он вас, быдло такое, по первое число пропишет! Я там на слова не скупился, ну, думал, они понимают, с кем имеют дело... А они мне что? Они мне в морду! Ах так, говорят, писатель у тебя друг — тогда получай! Так и кричали, издеваясь. Спать не давали. Три раза голого водили под шланг. Одно страдание».

Паша, однако, что бы ни было, продолжал меня по-своему уважать и имел какую-то свою душевную нужду в том, чтобы ждать от меня новых романов. Он уже втайне надеялся попасть в один из них в виде героя и сам ненароком подсказывал: «Я ведь романтический герой... Теперь таких уж нет...» Он никогда не

звонил, а тут вот звонок — был в подпитии, радостно звал меня приехать срочно к нему домой, куда-то на Сокол: «Здорово, писатель, приезжай, я тебе его отдаю... Не бойся, все будет в порядке... Выпьем коньяка, а потом поедешь с ним домой...— проговорил таинственно.— Это то, о чем ты мечтаешь...»

Честно сказать, мне было тягостно даже вообразить, что я окажусь в гостях у Паши. Но отказать в ответ такой отчаянной радости не повернулся язык. С порога попал в объятия тоскующего, будто б по Новому году, разудалого одинокого хозяйчика. Квартира сиротливая, холостяцкая: пустые стены, диванчик, два стула. Коньяк был в хрустальном графинчике, и из него Паша с умилением, как из семейной реликвии — «это дедушки моего, купца, была вещь, соль он в Москву из Костромы возил»,— разлил по стопкам коньяк. «Вот он, бери, пиши, раз такое дело...— щедрым жестом указывает на коробку.— Я их сам когда-то делал этими вот руками, последний остался, еще с прошлых времен... Думал продать его тебе со временем, а потом думаю: ну что я с теми деньгами буду делать? Ну нет... Нет, говорю сам себе! Деньги эти проклятые мою жизнь сгубили. Пора, думаю, разрубить этот вопрос — и вот решил не брать с тебя денег. А дай, думаю, подарю!» Подарка этого не принять было уже невозможно. Паша то замыкался, то шумно бунтовал, стоило мне промолвить словечко, что вещь эта все же стоит денег. Они, деньги, были его мукой — жизнь его сгубил миллион. И я выслушал печальную, но и отчаянную исповедь человека, который, «если б знал», то «ничогда б не взял».

Два раза бросал я свою работу в охране: сначала, испугавшись, что гонка тамошняя за длинным рублем меня сожрет, а потом в конце концов оттого, что платить стали мало, задерживали по месяцам зарплату. К тому же выгнали за пьянство Пашу, а без него меня одолевала на посту тоска. Он пропал — как пропадали и многие, будто б его и не было. Машина, собранная его золотыми руками, работала исправно, стала кормилицей, а свою старую, проклятую Тимуром, из любопытства, по искушению разобрал я на куски, чтобы хоть увидеть, как же устроено ее подлое нутро.

Домик тещи под Запорожьем все облагораживался: вот она сообщила, что покрыла его шифером, а через месяц — что залила цементом над погребками, а то они текли. Засадила огород. Купила полтонны угля всего-то за сто пятьдесят гривен. И уже читалась в письмах ее новая тихая мольба, что истлел совсем заборчик, надо б оградку новую, лучше б из железа, а гривен нет! А у меня в душе явилось что-то навроде гармонии — было так хорошо, что где-то под Запорожьем обретает смысл и мой труд. Будь у меня свой дом, я мечтал бы покрыть его шифером. Теща полжизни копила, даже не на дом, а хоть на свой домишко. Она, душа крестьянская, плавала по Тихому океану, добывая стране икру, рыбу, печень трески, — и знала полжизни, для чего работает. Всякая работа нужна человеку в конце концов для покоя. Мне же нужен был покой для работы, и делал я что-то не ради ясной, осязаемой цели, а либо из страха оказаться в долгах, либо от страха не отдать долгов, либо от страха застыть на месте — умереть в лёжку на диване. Но зачем копил втайне ото всех деньги мой дед? Для пишущей дурацкой машинки, которую никогда б не позволил купить даже самому себе?

Теперь я ощутил вкус к эпилогам... Эпилог — это начало нового смысла. Странное дело, но если в истории или в отношениях есть эпилог, то они-то как раз не кончаются, даже в мелочах. Повстречались мы вдруг с Тимурушкой: он развелся с женой — изменил ей, влюбившись именно в свой грех. Оказалось, что квартира на «Пражской» принадлежала жене и он мыкался по Москве в шкуре квартиросъемщика. Оказалось, что Патрик был английским шпионом — его год как выдворили из страны, а Тимур Петров лишился престижной работы. Он, как и прежде, писал о связи в России, только теперь уж по-русски. Вместо длинных индейских роскошных волос стал носить короткую спортивную стрижку. А объявился он потому, что продавал по дешевке свой маленький компьютер: ему надо было платить ежемесячно за снятую у злобных пьяниц комнатуху.

Смыслом жизни его стало одно непристойное и доступное только для избранных развлечение: применяя весь свой технический талант, чтоб воровать время в Интернете, с утра до ночи он лазил по всем порнографическим сайтам, какие только есть в мировой этой полукосмической сети, интересуясь педофилией, зоофилией, свальным грехом, содомией, а также половой жизнью птиц, зверей, рыб, насекомых — и микробов.

Маленький устаревший компьютер оказался ему не нужен, а я получил как раз очередную порцию своей стипендии от Министерства культуры. Получать ее можно всего три года. Год я стоял в очереди на ту стипендию как активист Союза писателей и автор нескольких все же известных обруганных романов, и когда кто-то ее наконец лишился, то и подошла моя очередь. Я получил свою порцию этих дармовых денег, вдруг чувствуя себя у окошка сберкассы не активистом Союза писателей, а инвалидом детства, и понес эти деньги Тимурушке — бережно да спешно я вез их по заснеженной Москве, будто драгоценный горячий бульон, уже воображая, что еду со своим сиротливым маленьким компьютером в тещин домик. Уеду, уеду, уеду! — и стану там, на Украине, как на чужбине, задушевно писать о родном и родных!

Нашло после этой чужевой склизкой зимы взлелеянное мое лето... Но место это оказалось вовсе не приспособленным для мук творчества: у меня там отсохли руки от блаженства чистейшего, настоящего на садах и травах воздуха, а душа упорхнула на свободу днепровских просторов, так что было ее не поймать, да еще и теща вечно что-то жарила да варила, мучая старый, ржавый керогаз; она уверовала тем летом, что готовить на керосине ей обойдется дешевле, чем на газе. И надо было возвратиться в Москву, чтобы, как в клетке, снова сидя в четырех опостылевших стенах, начать выдавливать из себя тоскливую трель: «Боже, храни Украину...»

А тут дал знать о себе Паша — он устроился уже не просто охранником, а начальником охраны какого-то супермаркета и звал меня к себе работать на условиях самых выгодных: я должен ничего не делать, никаких там постов и обходов, а буду сидеть у него в кабинете и писать в полном покое да тишине новый роман. Он так был озадачен моим отказом, что не находил слов и только возмущенно восклицал: «Да ты же писатель! Писатель!» «Паша, друг дорогой, ну что мне делать у тебя в супермаркете, раз я писатель?» «Да как это что? Дурак ты — писать, писать!»

Фирма сестры разорилась — упал у нас спрос на французский дезодорант «Дюшес», а у них, во Франции, упал спрос на наши из Архангельска доску да фанеру, — и вот уж сестра моя два года была безработной, не знала, чем же торговать, а я учил ее эти два года, как надо правильно жить. А как правильно? — хватит дурить, иди работать училкой, раз у тебя диплом, это же покой да уважение. В Библии как сказано, внушаю ей: лучше щепоть без труда, чем охапка с трудом, будь, как птица небесная!

Голубовский прочитал в Интернете тот роман, что спас от уничтожения проклятой машиной, позвонил вдруг из своего ниоткуда и предложил начать вместе с ним размораживаться, будто я когда-то превращался в лед. Мы встречались с ним, как заговорщики, растратили месяц жизни, будто командировочные, на то, чтоб основать новое литературное течение, а потом еще месяц — чтобы в нем разочароваться. И он снова ушел молиться в свой Интернет. А я подарил ему на прощание белый, как океанский лайнер, телефон, памятуя, что было плохо слышно его голос в трубке, — тот телефон, который выменял в больнице на бутылку водки у забудыги-телефониста, потому что жалко было глядеть, как уходит на сторону за бесценок такой красивый аппарат... Только вот не знаю я спустя годы, что произошло с соседом моим Малофеевым. Мы разменяли квартиру и в Солнцево больше не живем. Когда переезжали мы, Малофеев утащил к себе все, чего не хотел я тащить за собой: гирю, лыжи «Карелия» без палок, два горшка с засушенными в их каменистой почве цветами, старый, продавленный диван и что-то еще. То, что принадлежало мне, тащил он на удивление жадно и даже подобостраст-

но, как если б вся эта рухлядь, перешедшая от меня, оказавшись у него в доме, должна была несказанно изменить его жизнь (соседство многолетнее со мной — подслушивание и подглядывание за тем, кто у меня собирался и что несли собравшиеся спяну,— внушило бедняге Малофееву мысль, что он проник наконец в тот заветный секрет, как добиться почета и денег, нигде не работая и ничего целыми днями не делая).

А литератор поднаторел, и давно не слышно, чтоб кто-нибудь звал Голубовского на помощь. Во всех журналах и редакциях — компьютеры да еще и с начинкой из самых быстрых умных программ. Явился в России уже один поэт, так у него такой прогресс, что компьютер сам рифмует импульсы его мозга: он только глянет на кусочек колбаски, а уж готова в компьютере ода колбасе и все читают нарасхват. Говорят, даже кушать потом долго не хочется, так натурально выходят стишки похожими на колбасу!

Сие чудо называется виртуальной реальностью. Но в последнее время, к сожалению, стало оно общедоступным: нашлись ушлые люди, которые придумали этому чуду оригинальное именование (виртуальный реализм) и покатались колобками по всему миру читать лекции о «русском виртуальном реализме».

Та программа, что у меня,— уже давно дура, да такая дура, что умные программы в редакциях не могут написанное расшифровать. Нужен «виндоуз», у всех давно кругом «виндоузы», и что ни год новые да новые, а я боюсь их — не хочу того менять, к чему, как к своим рукам да глазам, привык. Мою компьютеру, что стоил столько денег,— нынче грош цена, его не возмрут даже на детали. А сохрани я пишущую машинку с бухгалтерской кареткой, то на лом бы только и пошла, даром, что ли, теперь каждый второй бухгалтер под статьей ходит, какие там машинки... А тут и голос дедушкин: «Хватит, говорю ж тебе, людям брехать!» Но я ему в ответ: «Так я ж, дедулечка, про себя... Я ни у кого ничего не отнимаю... Что же мне, до самой смерти ждать?»

По дороге из Юрятина, в поезде, когда возвращался в прошлом году с какой-то литературной конференции, на подъезде к Нижнему Новгороду приснился сон. Хожу по комнатам квартиры, очень напоминающей дедовскую в Киеве, но и чужой, новой. Вижу деда. Он сидит в кресле, насутился и молчит. У меня он угрюмостью своей вызвал робость. Кажется, бабка ходила по комнатам, стыдила меня, что я с дедом по-людски не поговорю. Дед вдруг не вытерпел — и мы крепко-крепко обнялись, а потом он повел меня по квартире и стал жаловаться как родному: сказал, что очень хочет, чтоб купили ему унитаза, и рассказывал какой — пластмассовый, превращающий все якобы в порошок, ну, словом, чудо техники, отчего я понял, что это должен быть биотуалет. И что-то детское, щемящее было в его желании иметь то, чего даже в глаза не видел, о чем только слышал — как у ребенка, что мечтает об игрушке... Но тряхнуло, наверное, вагон — и я очнулся. Поезд не двигался. В запотевшем оконце, как в аквариуме, был виден безмолвный кирпичный замок станции, погруженный в ночь, и проплыл одинокой рыбкой, золотясь под фонарями, какой-то маленький человек. Уснул я, когда поезд наконец пустился стрелой в свой прямой кромешный полет, но до самой Москвы сон этот так и не возвратился; не возвращается и по сей день.



Чувство и речь

К 80-летию Александра Володина

Александр Моисеевич Володин приехал в Москву в конце минувшего года на юбилей МХАТа. День 25 октября — рождения МХАТа — многих свел в Камергерском переулке. Этот день начался с предощущения встреч, а пока мы — на извечной московской кухне. Володин старательно переписывает от руки свое стихотворение, которое посвящено Олегу Ефремову и которое хочет вечером в театре подарить ему. Досадует: «У меня не уместится стихотворение на одном листе. Посмотрите, как неумело, все вкось, что делать?» Предлагаю взять чистый лист и начать заново, под диктовку. Медленно диктую: «Как безупречна гибель в блеске сцены! Порок кляня. И шагаю звеня. Но в жизни смерть постигли перемены. Сначала речь покинула меня...» Наклонив голову, как ученик над тетрадью, Володин беспокоится: поймет ли Ефремов, что эти строчки не о нем, а о себе?.. Он всегда недоволен собой и всем, что написал. Почти всем. Вот и сейчас Александр Моисеевич протягивает мне свою книгу в подарок. Недоуменно беру в руки тонюсенькую книжечку, явно насильственно истерзанную. На мой немой вопрос следует быстрый извиняюще-объяснительный ответ: «В книге есть то, чем дорожу, а остальное так, чепуха, я это вырвал, зачем вам это читать!»

Мы беседовали все дни, которые Володин провел в Москве, ходили на спектакль Ионеско «Стулья». «Ах, как мне понравился спектакль! Сначала увидел на сцене двух старичков, сидящих на стульях. Ну, думаю, еще одна душещипательная история о старости, что же, ну ладно, посижу, посмотрю. А оказывается, это совсем и не о том. Об одиночестве человека в прозаическом мире расчета и пользы и еще о многом-многом другом. И тонкая игра артистов. Тенякова и Юрский — первоклассный дуэт. И превосходный, приближенный к нам, к нашей сцене, перевод с французского. Я сразу, еще во время действия, это отметил. А вы знаете, оказывается, это перевел Сережа». Наша беседа длилась и длилась. Володин рассказывал о себе с обезоруживающей откровенностью. И мне вспомнились слова Сергея Юрского о невероятной близости **чувства** и **речи** у этого человека с добрым сердцем и острым умом.

Эти слова прозвучали в театральной гримерной Юрского. Обнажающий свет ламп, смотрящих на себя же в зеркало. По высокой стене почти с потолка льется лента — белая с черным плетением японских иероглифов, красные арабские цифры резко сбивают ритм ниспадающего рисунка. «Когда я попросил это у японских коллег, они страшно удивились. Зачем? Это всего лишь расписание репетиций...» Юрский стоит, запрокинув голову, и рассматривает, как впервые, это привораживающее «всего лишь расписание».

«Вы читали со сцены его стихи?» — «Вчера. На концерте «Пушкин и другие». По-моему, я был первым исполнителем его стихов в конце шестидесятых». — «А «Октябрь» был первым журналом, который опубликовал его стихи, и тому более десяти лет». Мы встретились, чтобы записать беседу об Александре Володине. Беседу? Нет. Персонажи — драматург и актер — подсказывали другое. Монолог. Слово одного художника — актера о другом художнике — драматурге.

Ирина НИКОЛАЕВА

Сергей ЮРСКИЙ

ПОПЫТКА МОНОЛОГА

Я хотел бы назвать проблему, серьезную проблему сегодняшнего дня, именем «Александр Володин». Определение ее мы оставим на финал. А начнем с истории. Скажем, моего знакомства с Володиным. В очень давние годы я сделал пробу пера, написав вместе с моим товарищем киносценарий. Время было такое... Конец пятидесятых годов. Нам казалось, что мы горы своротить можем. Так возбужденно входило наше поколение в жизнь. С этим сценарием мы направились, и веря, и не веря в себя, не куда-нибудь, а прямо на Ленфильм. В этой затее участвовал третий товарищ, впоследствии большой киномастер, а тогда — телевизионный художник.

Было назначено обсуждение этого сценария. Отзыв давал человек по фамилии Володин, член коллегии Ленфильма. Так вот, член коллегии Володин не то что камня на камне не оставил, но просто совершенно уничтожил наше предложение. Это было сделано при нас, публично, при небольшом количестве людей, но все же... Думаю, Саша не помнит этого эпизода. Был ли он прав — наверняка, был ли он абсолютно прав — не уверен, однако дело не в этом, важно другое. Я помню, что мы вышли после этого полного раздолба в очень хорошем настроении, — вот что удивительно. Манера разговора этого человека была такой искренней и веселой, что оставалось ощущение — жизнь не кончается, трагедии нет.

Сколько раз в своей жизни потом я замечал: вроде все похвалят, все примут, но сделают одно замечание, маленькое пожелание, поправку — как занозу всадят, и потом никак ее не вынуть. А в данном случае мы тот сценарий разорвали и выбросили в мусорный ящик. В памяти от него не осталось не то что сюжета — даже названия. Ничего. Настолько мы легко с ним попрощались. Но это не подорвало уверенности в себе. Наоборот, все стало очень интересно. Так появился в моей жизни Володин-критик.

А потом появился драматург Александр Володин с его пьесой «Пять вечеров» в БДТ. Я — уже артист этого театра — не был занят в этой пьесе. Но я был в курсе, как спектакль «Пять вечеров» делался, как репетировался. В те времена я был влюблен в Зину Шарко. Она играла в «Пяти вечерах» главную женскую роль — Тамары. Я присутствовал на репетициях и был очевидцем первого, комнатного этапа репетиций, проведенного Розой Сиротой. Впоследствии я описал два совершенно непохожих этапа. Этап интимный, который по-своему был силен и пронзителен, чувствителен, чувственен. И совершенно на него не похожий — товстоноговский — уже на сцене, мощный, в котором сентиментальная нота была не то что изъята, но притушена, приглушена. Мне повезло — я увидел пьесу сразу в двух вариантах: в камерном и в варианте большого пространства, однако и там, и там Володин оказался пронзительным драматургом. Это один из лучших спектаклей, которые я видел в моей жизни. Только сейчас отдаю себе отчет, что это было сорок лет тому назад. Именно с володинской ролью Зина Шарко стала по-настоящему большой актрисой.

Моя жена Наталья Тенякова стала известна зрителю с фильмом «Старшая сестра». И это опять же был Володин. Случайное совпадение? Полагаю — нет. Не было другого современного русского драматурга, который бы писал такие же полнокровные женские роли, как Володин. Это его особенность. Он любит женщин, он уважает женщин, ему бесконечно интересны женщины, и потому он понимает их. Я недавно вновь видел этот черно-белый фильм и был поражен тем, что в наш век постмодернизма, изыска, формальных поисков он удерживает внимание абсолютно завораживающей последовательной реалистической манерой. Помню сильный герасимовский фильм по сценарию Володина «Дочки-матери» — одна из наиболее любимых мною картин, просмотренная десятки раз, «Осенний марафон», в котором есть все: обаяние Данелии и Басилашвили, совершенно превосходная игра Нееловой, Волчек и Гундаревой. Это прекрасное актерское и режиссерское полотно, но надо признать, что все-таки расшито оно на володинской первооснове. И опять чудные женские роли.

Количество любимых мною воплощений володинских пьес велико. Но все не все мне по душе. Разухабистые варианты и «Дульсинеи Тобосской», и «Ящерицы», и «Двух стрел», которые расцвечены музыкакой, песенками, костюмчиками, — это мне гораздо меньше нравится.

Главное — это то, что Володин создал произведения абсолютно принципиальные для того времени. Современниковский спектакль «Пять вечеров» — совершенно другая стилистика, в какой-то степени противоположная БДТ. Мы могли спорить, чей спектакль лучше — у нас в БДТ или в «Современнике». Но творчество Володина было таково, что именно на нем-то только и нужно и можно было обсуждать, проверять художественную близость и художественные различия. Пьесы Володина были новой точкой, от которой отсчитывалась правда на сцене. Именно с него началась новая интонация.

У Розова была сходная интонация, но более публицистическая. Были правильные, хорошие мысли, противостоящие неправильно обществу. И этому аплодировали. У Володина не было назидательной мысли, тогда даже казалось, что это вообще натуралистическая зарисовка с жизни, в этом, кстати, его и упрекали. И вместе с тем актеры, играя его текст, совершенно не испытывали ничего похожего на бесчувственные картонные образы натуралистической школы. Этот спрятанный напряженный накал заключается в удивительном, скрытом володинском ритме — ритме его текста, его слов.

Тогда, в первые годы знакомства с его письмом, володинский ритм не осознавался, так как внешне он был схож с жизнью, а вот внутри... Это как японские стихи, как стихи Аполлинера. Можно привести целый список примеров, и все это будет высокая литература, где состав слов, казалось бы, заурядный, а вот ритм слов — высокого полета. На это и натыкались актеры. Я был свидетелем, когда Зинаида Шарко и Капелян репетировали роли, и случалось — не договаривали фразы, переставляли слова... Ну как в других пьесах! Ан нет! — тут это не получалось. Сразу становилось очевидно — так нельзя, так все разрушится. Это был первый намек, первый знак, что это не только хорошая пьеса, но этот драматург — большой писатель.

Мы с Володиным никогда не работали вместе. Он меня пробовал в своем фильме, но как-то не получилось, да и я не очень заинтересовался той работой. Но с драматургией Володина я рано начал сталкиваться. Сперва Александр Белинский поставил для нас с Зинаидой Шарко его пьесу «Идеалистка». Думаю, это было первое исполнение пьесы. И вот — я уже сам на себе ощутил магию его текста.

Мы размышляли, что делать с этой небольшой пьеской. Куда ее воткнуть? Как самостоятельный спектакль — нет. Только в концерт. Тогда я уже начал создавать свои сольные концерты. На концертах я начинал с исполнения Пушкина, Достоевского, Есенина, потом давали Володина. В то время залы были большие, народу собиралось очень много. Моя актерская практика подсказывала, что в одиночку с большим залом работать легче, чем дуэтом. А здесь, в пьесе Володина, не только двое, но и сюжет какой-то... Какая-то библиотека, герой бывает там, какой-то странный роман начинается между людьми, которые вроде бы друг другу не подходят. Острот почти нет, хохм — ноль. И ткань всей пьесы очень хрупкая... Но странное дело — зал замирал. И эффект замиранья зала повторялся каждый раз. Хорошо ли мы играли? Надеюсь, что хорошо. Но прежде всего это замирание могу отнести к ритму, к скрытому стиху володинского текста. Именно ритм держал зыбкую ткань пьесы на мощной опоре, на мощной основе, которую актер безошибочно чувствует. И радость игры этой пьесы не проходила, пьеса не надоедала.

Однажды пили мы с Александром Моисеевичем водку на Большой Пушкинской улице по поводу приезда общего друга. И он по ходу застолья, морщась, дал мне почитать свою вещь, как всегда, сопровождая это словами: «Ну, это так, пустяк какой-то, чепуху написал. Ночью. Вот, прочти и выброси». Меня поразило название вещи, поразило и необыкновенно понравилось: «Приблизительно в сторону солнца». Уже много позже разные авангардные авторы стали использовать такие названия в огромном количестве. Но это-то было очень давно, в пер-

вой половине шестидесятых. Сюжет пьесы с удивительным названием был довольно прост. Отец и дочь. Отец — партийный чиновник, дочь — хиппи, понятно, противостояние, но у Володина это не выражено так прямолинейно, и пьеса вовсе не похожа на эстрадные скетчи. По пьесе дочь ушла из дома и где-то шаталась, ее нашли, доставили домой, и состоялся ночной разговор. С этого ночного разговора и начинается пьеса. Вся поэзия этой пьесы в щемящем чувстве безысходности, друг друга им не понять никогда. Никогда. А это отец и дочь. Мне нравилось, что в пьесе не было однозначности: вот, дескать, это тупой обкомовский работник, которого Бог наказывает плохой дочерью. Нет, в том-то и дело, что по пьесе отец был совсем неплохой человек. Автор его понимал, понимал истинную отцовскую муку, он ему сочувствовал. Почему дочь, ясно видя, что человек, к которому она уходит, не так уж хорош, все же оставляет за собой право уйти к нему? Почему? Этот вопрос висит в зале не нравоучительной моралью, а звенящей мучительной нотой. Вот в этом весь Володин.

Нынешние преобразователи России стараются сделать реальностью «презумпцию невиновности». Это действительно крайне важно. Это одна из опор цивилизации. Тридцать лет назад словосочетание «презумпция невиновности» было совершенно пустым звуком. Люди делились на заранее и бесспорно хороших и на заранее и бесспорно плохих. Так было в жизни — так было и в драматургии. В борьбе прогрессистов и реакционеров (время оттепели) только переставлялись акценты — кого считать хорошими, кого плохими. Володин первый и, пожалуй, единственный в то время подошел к своим героям и окружающим людям с позиции «презумпции невиновности», он ощутил необходимость высказаться каждому и каждому быть услышанным.

«Приблизительно в сторону солнца» — одна из первых моих режиссерских работ. А играли мы пьесу с Наташей Теняковой. Мы привезли нашу работу в Москву, и я помню, как-то особенно помню концертный зал Библиотеки имени Ленина: при полном свете дня, при ломящемся в окна солнце. Люди стоят на балконах, во всех проходах и слушают пьесу Володина. И все мы — и артисты, и зрители — ощущаем: это новая, совсем новая драматургия. А внешне — ну никаких ухищрений. Спокойный диалог. Диван и два стула.

Потом я стал вводить в концертную программу его стихи. Когда Саша однажды показал свои стихи, я, честно говоря, не удивился. Для меня было ясно, что стихи были давно, потому как я давно уже играю его пьесы, которые — те же стихи. У Володина все — стихи. Это не высокая поэзия Верлена или Бродского, и все-таки, смею утверждать, это — стихи. Ритмизированная мысль и ритмизированное чувство — две нити, сплетенные, казалось бы, простыми узлами, простенько так, раз — переплелись, раз — переплелись, элементарно, почти примитивно, однако развязать-то не получается. Говорю это как артист, который много читал его — от «Стыдно быть несчастливым», стихов принципиальных, до такого, как

На шаре тесеньком столпились мы.
Друг другу песенки поем из тьмы.

Я помню, что делалось с залом, помню, как зал Чайковского — целый зал — как бы захлебнулся от новизны и точности не выраженного собственного чувства. Вот это володинские стихи и это мой опыт их прочтения. В конце октября минувшего года у меня был большой концерт в редакции «Общей газеты», концерт назывался «Пушкин и другие». И в нем каждого из авторов, который мной исполнялся, я примерял к Пушкину. Один из них был Володин.

Видались мы частенько, если можно назвать это частым, актеры — народ трудящийся, служащий, поэтому вообще редко с кем видишься. Потом я переехал в Москву, и встречи стали совсем редки. Но когда кинули клич сделать концерты в Питере, чтобы издать двухтомник Володина (издательство «Петрополис» организовало и осуществило эту акцию), я с радостью откликнулся и дал концерт в честь Александра Володина в зале у Финляндского вокзала. А потом в городе Пушкине — тогда там только начинала разворачиваться деятельность «Петрополиса», у истоков которого стояли поэт-издатель Николай Якимчук и меценат-просветитель Борис Блотнер. Тогда начиналась здесь ежегодная Царскосельская пушкинская премия...

Мне было очень приятно, что наш с Сашей приезд морозным зимним днем в Царское Село совпал с открытием этой премии. Но, по-моему, Саша до конца не понял, что все это делается в его честь. Да и зрители тоже не понимали, почему концерт посвящается Володину. «И вообще кто такой Володин?» — спрашивала себя собравшаяся публика. Хотя я весь вечер толковал про это. Не понимали даже тогда, когда встал в зрительном зале человек в каком-то венгерском пиджачке прошлого десятилетия... Это был Володин.

Двухтомник Володина в результате всех усилий вышел, а для меня состоялись еще одно прикосновение к его стихам и, главное, новые встречи с Сашей.

В это время появилось его произведение «Записки нетрезвого человека». В этой прозе — соединение поэтической приподнятости автора с прозаизмами жизни. В ней утро и вечер человеческой жизни, володинской жизни, его мир чувствований, когда душевные силы на исходе. Искренняя проза, болезненная (это мое личное мнение). В «Записках» образ нетрезвого человека — это не условная литературная формула, не литературный прием: автор пишет свои записки в период нетрезвой жизни и разговоров о нетрезвости... В «Записках» есть слова, которые отчасти объясняют позицию автора. Володин говорит о том, «что самые тайные пороки и болезни жизни не могут остаться не отраженными в искусстве. Как двойные звезды, жизнь и искусство соединены невидимой тканью. Если эту ткань попытаться растянуть, рано или поздно она все равно сожмется, и искусство нанесет свой запоздалый и потому особенно жестокий удар».

Я считаю страшной бедой пьянство русское. Для меня болезненны были торжества, форма торжеств по поводу 60-летия Венедикта Ерофеева. Какая-то пьяная электричка, какой-то марафон... Это было чудовишно. В день празднования 100-летия МХАТа для меня было мучительным, когда на сцене приглашенные пили водку. И среди них, между прочим, были и мы с Володиным.

Осмеливаюсь произносить это в предъюбилейное время, потому что писатель Володин прошел через это искушение и вышел из него через смерти и болезни очень близких ему людей и отдаления от очень любимых... Он трагично одинок. Я тоже человек немолодой, и я могу сказать, что в определенном возрасте так называемое общение — дружеское, соседское или коллегиальное — уже мнимость. Может быть только нечто совсем близко родственное, либо кровно родственное, либо духовно. И трагично, если этого нет.

Володин как человек деликатный и ранимый не может надоедливого человека отбросить, сказать, что с ним нехорошо, неинтересно. Эта деликатность заметна, например, когда его чествуют. Другому бы это в радость: вот я и достиг. А для Володина это настоящая, непритворная мука. Поэтому трагично его пребывание в сегодняшнем дне.

Так говорить мне позволяют последние наши встречи, его явление на спектакль ко мне в Питере, когда мы играли Бергмана, его явление в Москве на мой спектакль Ионеско, его явление в концерт «Пушкин и другие», где я публично отдал ему дань почтения как выдающемуся драматическому поэту России. Все это были явления *меняющегося* человека. Да, Александр Володин, приближающийся к своему 80-летию, — меняется. Он в движении.

Ирина Николаева. *Позволю себе прервать вас необязательной ремаркой. Александр Моисеевич после концерта рассказал мне, как когда-то ваше исполнение «Евгения Онегина» помогло ему расслышать Пушкина. Он особенно и не читал его, что-то по школьной программе, полагал — гениальный, гармоничный Пушкин не его поэт, потому что сам Володин весь в разладе с собой. И добавил: «А вот благодаря Сереже я его почувствовал. Теперь, когда меня спрашивают о любимом поэте, говорю — Пушкин и Пастернак, и говорю с вызовом».*

Сергей Юрский. Человек, у которого так близко чувство и речь, который способен так искренне открываться, — этот человек необыкновенный. И все же сейчас я буду Сашу ругать. Это для того, чтобы попытаться объяснить феномен Володина. А ругать буду за его излишнюю деликатность. Мне известно немало случаев, когда ему приносили рукописи книг стихов или прозы с просьбой напи-

сать предисловие к ним. Ему не нравились эти произведения, он тяготился и тем не менее писал поощрительные слова, исходя из своего постулата: лучше ошибиться в положительную сторону, чем кого-либо обидеть. И так много обиды в жизни. Хорошо ли это? Думаю, что плохо. Мне могут возразить: а где же была эта излишняя деликатность, когда он в пух и прах разнес ваш первый сценарий? Так ведь тогда это был вопрос долга, а не личного одолжения. Он тогда работал *критиком* (ну, скажем, оценщиком), и ему важно было отличать хорошее от плохого. Это вопрос принципиальный, нравственный, а не вкусовой. И еще важный оттенок — он никогда не был начальником. Никогда он не брал на себя запретительных функций и не приближался к тем, кто требует угодничества. Малейший признак расправы над кем-нибудь, и Володин из критика превращается в адвоката. Его формула (рискую теперь произнести): «*Все доброе защитить, все злое обнаружить... и помирловать*».

Ныне он авторитет, и его предисловие дорогого стоит. И те, кто его под руки на подиум ведет, уже сами маленько в историю входят. И это его: «Ну я скажу хорошие слова, скажу, чтобы плохих не сказать». Думаете, он лгал? Нет. Притворялся ли он? Нет, он вообще никогда не притворялся. Даже когда хвалил то, что ему не нравилось. Он нещадно потреблял свою душу. А, написав такие «положительные» слова, платил тем, что потом выпивал.

Меня больше всего волнует сейчас изменившаяся шкала нравственных ценностей. То, что было в списке добра, ныне — в черном списке. Труд. Количество и качество вложенного труда было критерием оценки, оплаты. Умеренность, подчеркиваю, умеренность оплаты, которая также была в числе положительных черт. Теперь умеренная оплата считается полным провалом твоей карьеры. Много трудился — это стыдно, умеренно оплачен — это стыдно. У тех, кто определял нашу культуру, всегда были четкие представления о добродетели, четкие правила. И это было не только в кругу пушкинском, но и продолжалось в кругу толстовском, в кругу чеховском. Они не были безгрешны и, случалось, нарушали эти правила, но они знали, что это нарушение. И что есть правила. Это же продолжалось и в кругу булгаковском. Человек, близкий мне из булгаковского круга, Сергей Александрович Ермолинский, и далее... это Натан Эйдельман...

Так вот, шкала ценностей на наших глазах поворачивается, и отрицательное становится положительным, а положительное — отрицательным. Работают не только над созданием искусственного интеллекта, научились создавать искусственный успех, вот-вот образуют искусственный талант. И при этом смешными и наивными становятся понятия и равенства, и братства, и справедливости. А стержень, на котором поворачивается эта важнейшая, гигантская шкала, самое нынче потешное понятие — *святость!* Не в смысле самовыпячивания: «Я, дескать, святой!» — это самомнение и пошлость. Но в другом: ощущении, что в данном человеке есть крупица святости, что она-то, крупица, — ядро его таланта. Она в нем превышает всего остального.

Я никогда не говорил с Сашей о Боге и даже не подозреваю, верующий он или нет. Но Володин — один из самых святых людей, которых я знал в жизни. В этом человеке расцвела крупица святости. Он действует по призыву: «Веленью Божьему, о муза, будь послушна», — так Пушкин своей музе говорил. Он хотел, чтобы его муза была послушна Божьему велению. Не знаю, сформулировал ли Володин когда-нибудь это для себя. Думаю, нет — не его стилистика. Но я уверен, он послушен именно велению Божьему. Подтверждением его необыкновенных душевных качеств может служить все его творчество, вся его противоречивая жизнь. О ней он рассказывал в телепередаче с Карауловым. Давно я не видел на экране такой искренности и чистоты помыслов. Это делает Александра Володина, человека, живущего одиноко, оторванно, в скромных условиях, не соответствующих современным понятиям о нормально пребывании на этом свете писателя, значительной фигурой нашей литературы и нашей жизни.

Он многое предсказал так, за рюмочкой. Помню, мы говорили о пьесе «Приблизительно в сторону солнца» и я сетовал на то, что она очень мала, коротенькая пьеска. Саша, как всегда, щурясь мучительно, сказал: «Конечно, маленькая. Но добавить ничего нельзя, ничего. — Махнул рукой и тут же продол-

жил: — Вообще-то время трехактных пьес кончилось». (А ведь тогда еще вовсю шли спектакли с двумя антрактами. Без этого спектакль считался неполноценным.) И добавил: «Уже идут двухактные, а в перспективе будут смотреться миниатюры, только малые пьесы. Кончается большая форма. Хорошо это или плохо — не знаю, но кончается». Сейчас это стало очевидным, однако тогда... Он эту разорванность сознания не только предсказал, но и начал осуществлять в своих маленьких пьесах. Во многом я ему следовал. Например, построением моих концертов. Обычно они состоят из целого десятка маленьких спектаклей. Отчасти это было навеяно Володиным.

Он говорил, никогда не пророчествуя, никогда не важничая. Всегда пряча глаза и щурясь от непрерывной самокритики. Он предвосхитил постмодернизм, но его творчество не совпадает с этим направлением только по одной линии. По содержанию. У Александра Володина оно всегда божественно. Когда я перечитывал сегодня ночью «Пять вечеров», я вновь был поражен удивительной, вполне пушкинской любовью к жизни в ее *малых проявлениях*. И в этом володинский ответ на вопрос о смысле жизни. Надо только вслушаться в слова писателя, не пренебрегать ими в угоду сегодняшнему дню и новой страшной морали. Она долго не продержится. Новая эпоха, может быть, продержится долго, но не новая мораль, когда прежде всего нужно и должно быть богатым и успешным, когда сама жизнь ничего не стоит, стоит только успех жизни.

Пробуждение, утренний хлеб, слова человека, который рядом, и ты его слышишь и понимаешь, и этот человек тебе не чужой... Сама любовь к жизни почти уничтожена. Она у Володина, и это совершенно не мешает ему быть ироничным, без ложной патетики. Он не похож на псалмопевца, и в стихах, и в прозе, и в пьесах — никакой назидательности. Он посмеивается, и все отношения его героев — это не дешевая романтизация жизни, а правда. Александр Моисеевич Володин вышел из войны, и вышел, не минув тягот коммунальных квартир, и отсутствия пятидесяти копеек на три дня вперед, и болезни, и смерти, и всего-всего. Но при этом он остается писателем, который способен своих героев научить любить жизнь, а не отрицать ее. Потому что жизнь на вилле в восемь этажей среди охранников есть отрицание жизни.

НА ШАРЕ ТЕСНЕНЬКОМ СТОЛПИЛИСЬ МЫ...

Было солнечно, сухо и чуть морозно, в таком прозрачном воздухе звуки становятся звонче. Шуришали шины машин, машин было много, машины привозили чиновников. Шуришание то нарастало, то стихало. Как шум прибоя. Может быть, Чехову, укутанному в белые полотна, казалось, что это шум моря в Ялте? Чиновники чуть смотрели на толпившихся у ограждения неприглашенных, смотрели, как на необязательные атрибуты торжественного открытия памятника писателю.

Александр Володин. А памятник Чехову мне понравился. У Чехова такой легкий шаг вперед, как будто он собирается куда-то идти, но куда точно, он... не очень знает. Олег Ефремов на открытии памятника мне показался грустным. Я говорил добрые слова о нем, а он потом тихо так заметил: «Сань, ну зачем ты обо мне? Не нужно было...» Ефремов через всю мою жизнь прошел и останется.

Он — свой сумятице человеческой жизни со всеми ее и уродствами и взлетами.*

Олег меня пригласил на торжественный вечер задолго, за месяц. Думаю, в этот день он хотел видеть рядом близких людей. И близких людей по тем временам, когда был молод и его театр был взрывчатым. На празднование я приехал, и показалось, что опоздал, да еще приглашение куда-то запропастилось... Камергерский переулок загорожен. И милиция стоит. Молю их: «Я из Ленинграда приехал, пустите меня, я из Ленинграда приехал». А милиционер отвечает: «Ну и поезжайте обратно в Ленинград». Что делать? Кто Олегу скажет, что я

* Курсивом в беседе даны цитаты из книги А. Володина «Записки нетрезвого человека».

был, да не пустили? И вдруг какая-то женщина меня узнала и бросилась целовать. Вот с этим поцелуюем я и прошел. В кабинете Ефремова, куда меня сразу провели, кого я вижу? Любимый мой Любимов, на все репетиции которого я ходил. И дальше еще близкие Олегу люди, кто-то с бородой, я и его поцеловал мимоходом. А тот человек с бородой, как потом оказалось, был Солженицын.

Ирина Николаева. Вас многое связывает с МХАТом?

— Шестиклассником я проник во МХАТ благодаря своему двоюродному брату. И первый спектакль был «Три сестры». Я тогда еще имена актеров не знал, но, как мне кажется, это были Тарасова, Еланская и Степанова. И спектакль меня потряс. Теперь думаю, это именно от того потрясения у меня в пьесах и прекрасные, и одинокие, и несчастливые. А когда чеховские сестры восклицают: «Только бы знать, как будет, как чудно будет через сто лет!», я думаю: если бы они узнали...

А в «Вишневом саде» Гаева играл Качалов, он играл наивного, беспомощного человека, но с поэзией в сердце, глубоко спрятанной, которая прорывалась наружу и трогала людей, хотя внешне роль была забавная, смешная, такой забавный, смешной, многоуважаемый шкаф.

...Чехов, у которого мы учились. Но у него герои пили чай и незаметно погибали, а у нас герои пили чай и незаметно процветали.

Было еще одно потрясение, давным-давно, в тридцатые годы. «У врат царства», спектакль по пьесе Гамсуна, по сути своей такой ницшеанский, в какой-то степени профашистский. У нас идеи философа, которого играл Качалов, перевели так, что они получились прокоммунистическими: якобы герой исповедует идеи коммунизма, и за это его забирают. Когда за Качаловым пришли жандармы, он шел, засовывая рукописи за пазуху желтой своей курточки, и почему-то он мне напомнил снегиря или голубя, такой беззащитный, как птица, идет на жертву, на смерть, и это мне помнится до сих пор. И на вечере его не упоминали, забыли Качалова, а он был первым символом интеллигентного, духовного и беспомощного в жизни человека.

— На торжественном вечере МХАТа, на мой взгляд, было много безвкусовых поздравлений. Конечно, выделялась Ангелина Степанова. Почему мы не слышали вашего выступления?

— Вы знаете, я очень давно не был в Москве. Поэтому со мной творилось черт знает что. Столько встреч, знакомые, незнакомые, все переплелось. Один актер мне впился в щеку — клялся, что жизнь прожил со мной, а я видел его много лет назад, даже забыл, он уже успел пожить в Израиле, вернулся. С другой стороны — актриса, которая уверяла, что написанные мной две роли она не так сыграла: «Но я знаю, какая актриса теперь вам нравится». Ну откуда она может знать? Олегу Ефремову я посвятил стихотворение и, когда мы были с ним наедине, прочитал его. Оно будет в подборке «Октябрь».

На вечере я хотел рассказать одну историю, связанную с МХАТом. Но вот из-за суеты праздничной не удалось. Случилось это очень давно, в тридцатые годы. В пионерском лагере я повесил над своей коечкой открытку, где был изображен Качалов в короткой накидке и в шляпе. Как-то проходил мимо старший пионервожатый и спрашивает: «Кто это тут у тебя висит в шляпе? Какой такой артист? А почему не Буденный или Ворошилов?» Я ему ответил что-то такое, из-за чего собрали на линейку все три лагеря. Били барабаны. Видно, старший пионервожатый почитывал газеты, где тогда была кампания против «искусства для искусства». Искусство должно быть для правительства, для партии, для Сталина. А этот так называемый пионер вон к чему призывает!.. И начальник пионерского лагеря в своем справедливом гневе закричал: «Мы таких расстреливали в девятнадцатом году!» Эту фразу я запомнил. Я был исключен из пионеров громко, радостно, всем лагерем. Под барабанный бой я прошел вдоль этой линейки.

— Вы плакали?

— Да что вы! Я уже тогда так любил театр, я был горд, что пострадал за искусство, которое для искусства, которое потом еще будет! И вот оно все еще бу-

дет, такое искусство, которое тогда было во МХАТе, оно еще будет... А эту открытку с Качаловым мне даже не дали забрать!

— ***И вы вернулись в Москву?***

— Вернулся, но домой я не имел права прийти раньше срока, так как жил у дальних родственников, и если раньше прийти, то они меня должны кормить. Наш дом находился на углу Сухаревской и 1-й Мещанской, ныне проспекта Мира. На площади был огромный рынок, и там была башня Сухаревская, такая оранжевая, в одном стишке я ее назвал «надменный палец рынка». На крыше нашего желтенького дома была деревянная башенка и девушка с серпом, и вот в этой башенке тайно мне пришлось прожить до якобы возвращения из лагеря. В доме был черный ход, поэтому я ни с кем не встречался. В башенке я ночевал, и меня подкармливали торговки, воришки, которые там обитали, потому что воровать я тогда не умел, как, впрочем, и сейчас не умею... Так что я пострадал за искусство, наверно, раньше многих других.

— ***Одну из своих книг вы назвали «Так беспокойно на душе». Точное определение вашего состояния, которое сопровождает вас всегда и везде: и в самом творчестве, и в отношении к своим пьесам и стихам, и в частной жизни.***

— Да, это так. Я хочу пояснить, что имело влияние на меня с юности до сегодняшних дней. Свою маму я разглядеть не успел — она умерла, не успел разглядеть отца — он тут же женился на женщине, у которой было условие — только без ребенка. Воспитывался я у дальних родственников, где чувствовал себя каким-то нахлебником... Жил я с двоюродным братом, высоким, красивым актером студии Алексея Дикого. Брат был моим кумиром. Как-то между делом он спрашивает у своей жены, не видя меня: «Скажи, как, по-твоему, Шурика, — то есть меня, — сможет когда-либо полюбить женщина?» А она глазом меня заметила и отвечает: «Ну почему, ну почему?..» Посмотрел я в профиль на себя в зеркало и понял — не сможет. Эта неуверенность в себе, в своей неполноправности и неполноценности у меня осталась с тех пор и сказывалась на всем.

Из-за чего только не мучился! Из-за того, что обидел нечаянно, и не думал. Из-за того, что опоздал, из-за того, что поступил глупо. Из-за женщин, порядочных и непорядочных, из-за порядочных больше. Из-за друзей, близких и не очень. Из-за близких больше. Никогда не мучился только из-за одного: из-за того, что мучаюсь понапрасну.

— ***Вы всегда так несвободны от самого себя?***

— Иногда я все-таки взрываюсь. Но чем это кончается... Вот, например. Меня все звали и звали на презентации, я очень не люблю эти презентации. Богатые люди, богатые фирмы устраивают пышный стол, и им для улады нужен кто-нибудь из интеллектуального мира. И вот они все приглашали и приглашали. Я всем отказывал, ссылаясь на болезнь жены, что правда. И вдруг, когда я уже озверел от всяких приглашений, звонят из Москвы и скороговоркой приглашают на церемонию вручения премии «Ника». И все как-то торопливо... И тут я взорвался, обложил, как мог. А через некоторое время приезжают в Петербург Григорий Горин и Зиновий Гердт и спрашивают: отчего я отказался от приза «Золотая Ника»? Оказывается, когда жюри единогласно присудило мне «Золотую Нику», то женщина, с которой я так грубо разговаривал, заявила, что Володин категорически против. Мне после этого было ужасно стыдно. За мое как бы высокомерие. И теперь я не знаю, перед кем мне оправдаться за это недоразумение.

— ***Ваши пьесы никак нельзя отнести к «театру поучения», вам также чужда громкая, обличительная публицистика. Вы сочувствовали людям, но тогда в пьесах нельзя было ни болеть, ни страдать, ни умирать. Не полагалось. И вы всегда мешали власти.***

— Наверное, мешал. Но это не заботило меня. На войне меня ранило, у меня в легком был осколок. Когда меня несли в госпиталь, я почувствовал, что не

могу дышать. И тогда промелькнуло: если бы мне дали прожить хотя бы год, что бы я за этот год сделал! Я... Я... Я бы написал «Войну и мир»! А мне дали мно-о-о-го лет.

Лет десять я ничего не делал, жил в нищете, кое-как... И тогда я с грустью подумал: как это смешно — год жизни... А вот проходят годы и годы.

Почему думают, что смерть — это страшно? Потому что больше не будет радостей жизни, ее удовольствий? Нет, смерть страшна не этим, а наступающим безразличием к радостям жизни и наступающим интересом к ее болям, ее лишениям и разочарованиям. Разумным, правильным разочарованиям во всем... Так смерть отнимает дни у жизни. Как будто ей мало — долгая жадная смерть отнимает у маленькой щедрой жизни.

И вдруг я решил написать пьесу. Почему пьесу? Я даже не имел представления, как ее писать. Правда, театр очень любил благодаря брату. У человека сведущего спросил, сколько страниц должно быть в действии. Девятнадцать. Почему девятнадцать? А сколько действий? Столько-то. И я написал первую свою пьесу «Фабричная девчонка». Сначала назвал ее «Ложь». Про вранье сверху донизу и снизу доверху. Потом мне показалось название претенциозным, пьеса уродливой, многословной, но все же с сомнением дал ее читать приятелю-журналисту. А через какое-то время он говорит, что вся «Комсомолка» читает пьесу в захлеб. И потом эта пьеса вызвала бурю полемики, которой я был поражен. Говорили, что это злобный лай из подворотни, вопрошали — что у автора за душой.

Прошло некоторое время, и неожиданно Товстоногов присылает ко мне своего завлита Дину Шварц за новой пьесой, тогда я уже написал «Пять вечеров», но мне за нее было так стыдно. Я категорически отказываюсь, пьеса-то не получилась, и ее давать Товстоногову — никогда! Спустя несколько дней она приходит вновь, такая несчастная, щека раздулась от флюса, вся перевязанная. И говорит: «Гога меня выгонит из театра, если я не принесу пьесу». «Ну хорошо, возьми, только с позором для меня. Товстоногов прочитает, и мне будет стыдно». Каково было мое удивление и смущение, когда я узнал, что Товстоногов начинает репетировать мою пьесу.

Так появился спектакль «Пять вечеров». Мне на просмотр этого спектакля дали рулончик билетиков, чтобы я пригласил друзей. Я раздаю эти билетики и все приговариваю: «Не ходите на этот прогон, это маленькая пьеса, маленький спектакль». Чудак, как будто кто-то мог не пойти к легендарному Товстоногову. После просмотра все на каком-то общем чувстве плакали, обнимались и в кулуарах и в фойе. Спектакль ошеломил всех потому, что был совсем не похож на все тогдашнее.

И начался другой шум. Почему одинокая женщина? Почему неустроенные судьбы? Все стали запрещать, запрещать...

— *Вы мне говорили, что потом, много позже, последнюю фразу пьесы «Пять вечеров» — «Только бы войны не было» — ставили вам в вину. Новоявленные неконформисты увидели в ней попытку оправдать строй, при котором все лишения прикрывались у нас угрозой внешнего врага.*

— Я так порадовался, что Леонид Филатов свою новую пьесу «Лизистрата» закончил этой же фразой, он все поставил на свои места. Я читал пьесу Филатова ночью и сначала смеялся и радовался остроумию автора, а потом, когда Лизистрата говорит горькие слова о родине и долге и когда женщины встречают своих мужей, у меня по щеке лились в подушку слезы. А что касается упреков, так они были всегда. Я всегда кого-то разочаровывал. Мою пьесу «Назначение» начальство охарактеризовало так: «Володин вбивает клин между народом и властью».

С Олегом Ефремовым мы условились, что новую пьесу «Назначение» я дам читать только ему, а потом — немедленно мне назад. Олег звонит: «Мы тут прочитали...» «Кто — вы?» — закричал я. «Ну, художественная коллегия». «А зачем ты дал, там Миша Козаков, там Волчек, Олег Табаков, зачем?» «Да мы на-

чинаем ее репетировать». Это был потрясающий спектакль и в единственном театре, так как пьеса «Назначение» сразу попала в черный список.

Было еще обсуждение этого спектакля на высшем уровне, министр культуры РСФСР собрал критиков и начальство. Они стали так елейно говорить: «Давайте перенесем этот спектакль на другой сезон». А уже до этого переносили два сезона. В общем, я понял — хотят замотать спектакль. И я тогда сказал фразу, которая в те времена не была так свободна в обиходе. (Ирочка, ты прости меня, пожалуйста, я ее сейчас произнесу.) Так вот, я сказал: «А ну вас к е... матери!» Сказал и ушел. За мной вслед кто-то побежал: «Вернись, как будто ничего не было».

Дома я понял, как я всех подвел, весь театр и Олега. По телефону я начал каяться Ефремову, а он в ответ: «Саня, ты поступил прекрасно! Знаешь, что было? Сначала все долго молчали, а после один чиновник, Родионов, говорит так раздумчиво: нам это не понравилось, а другим еще что-то. Всех слушать... тоже нельзя. Вы приходите ко мне завтра, коллегия театра, но без автора, без автора. Пройдем всю пьесу по страничке». Так по страничке, по страничке и разрешили. А почему? Ефремов мне все объяснил: «Иначе пошел бы слух, что ты обложил всех, включая министра, а теперь ну Родионов — умный мужик...» Вот так было с пьесами.

— *Вы в это время не писали стихов? Сергей Юрский уже тогда уловил в ваших пьесах своеобразный поэтический ритм вашего письма, вашего слога.*

— О стихах и речи не могло быть. Даже не думал, что я что-нибудь когда-нибудь напишу. Первые стихи появились очень поздно.

Когда-то у меня, тринадцатилетнего школьника, брат спросил: «Пастернака читал?» И дал книжку. Я, конечно, начал читать и ничего, естественно, не понял. Абсолютно ничего. Но время от времени меня изгоняли из дома. Мой дядя был эдакий король Лир, он показывал пальцем на дверь и кричал: «Вон!» И тогда под навесом у подъезда я вспоминал пастернаковские строчки, которые мне недоступны были — все про дождь, про дождь, про дождь...

«У капель тяжесть запонок...» или «...Так носят капли вести об отъезде, и всю-то ночь то цокают, то едут, стуча подковой об одном гвозде...»

Потом, зимой, когда выгоняли, я понял про снег:

«Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой».

И с тех пор Пастернак сопровождает меня всю жизнь... К Пастернаку ходили мои знакомые, ходили в гости, а я Пастернака боялся как огня. Я боялся проходить по Гоголевскому бульвару, потому что мне казалось, что он живет где-то там. Боялся: а вдруг он выйдет, и я его увижу? «О, куда мне бежать от шагов моего божества».

— *Вы были знакомы с Ахматовой?*

— Был. Один раз меня позвали к ней в Комарово. Там собрались ее друзья. И она сидела, царственная, во главе стола. Каждый говорил что-нибудь коротко, остроумно и громко, так как она уже плоховато слышала. Все ближе и ближе подходила и моя очередь, я лихорадочно соображаю: что я скажу, что я скажу? Как я могу что-то сказать ей? Я перед ней преклонялся. Тогда я делаю вид, что занят, что разговариваю с соседом на ухо. И вдруг Ахматова обращается ко мне. Растерялся я жутко и пробормотал то, что шептал соседу, какой-то бред, и... замолк. Кто-то бросил: «Да, разговорчивый гость у нас сегодня попался». А Ахматова: «Что вы, он весь вечер разговаривал, только про себя».

— *Как вы начали писать стихи?*

— Как-то неожиданно. Я пошел на спектакль. Но кто-то из актеров заболел. И администрация предложила вернуть деньги за билеты, но на следующий день. Вдруг зрители превратились в кричащую толпу, требующую вернуть немедленно: «Да как же! Да что же!» На меня это так подействовало. Возвращаясь домой, я винил и себя, и их, горько сожалел и просил прощения: «Простите, простите, простите меня, и я вас прощаю, и я вас прощаю... Забудьте, забудьте, забудьте меня, и я вас забуду, и я вас забуду, я вам обещаю — я помнить не буду,

но только вы тоже забудьте меня. Как будто мы жители разных планет. На вашей планете я не проживаю, я вас уважаю, я вас уважаю, но я на другой проживаю. Привет».

Все сочинилось в троллейбусе. Вот с этого и началось мое писание стихов. Ну, конечно, это не совсем стихи, но это было про то, что я чувствую, что было со мной. Про то, что я думаю. Конечно, несовершенные стихи, совершенно несовершенные стихи. Как сейчас пишут молодые, так совершенно я не могу, но у меня это было искренне совершенно.

Никогда не толпился в толпе. Там толпа — тут я сам по себе. В одиночестве посев, по отдельной иду тропе. Боковая моя толпа! Индивидуализма топь! Где ж толпа моя? А толпа заблудилась среди прочих толп.

— **Это стихотворение мы опубликовали в журнале уже более десяти лет назад. Тогда мы с вами встретились в Ленинграде, и я помню ваше лицо, полное неподдельного удивления: кто-то заинтересовался вашими стихами.**

— Да, в «Октябре» была моя первая публикация стихов, и она одна из лучших, хотя нескромно так говорить о себе. Когда я писал «Записки нетрезвого человека», мне подумалось: напишу о том же, но в стихах. Про то, чем я жил, тут же я это и писал. И про войну. Сейчас я дал вам в новую подборку стишков, который на фронте написан, тогда я даже рифмой толком не владел.

Сначала были встречи. С одним человеком, с другим человеком... Потом начались расставания. Расстаешься. Добро бы со знакомыми — с друзьями! Добро бы с друзьями — с любимыми! Зачем расставаться с любимыми? Ради других любимых? С которыми тоже расставаться. А с ними ради чего? Ради того, чтобы наконец расстаться со всеми вместе?

— Да, всю жизнь я с этим живу. Когда-то я написал повесть «С любимыми не расставайтесь». Конечно же, эта повесть мне показалась такой незначительной. Ее напечатали в журнале «Аврора». Я помню, прекрасная писательница Людмила Петрушевская принесла в этот журнал свою рукопись со словами: «Я хотела бы напечатать свои рассказы у вас, так как вы напечатали Володина». Это меня так тронуло... После публикации меня все просили сделать из этого пьесу.

В основе сюжета — любящие друг друга люди расходятся, и, чтобы написать пьесу, я стал ходить в суд на разводные дела. И там я столкнулся с самыми разными историями. Мучительными, когда было жалко женщину до слез. А у него другая, и она отпускает его: пусть ему будет хорошо. Были и другие: «На что вы претендуете?» — «На диван-кровать». — «А вы на что?» — «На телевизор». И в пьесе я перемежал историю главных героев этими судами. А между ними игры и песни, где в нашей стране живется лучше, веселее, но... не всем.

В фильме по этой пьесе играли Александр Абдулов и его жена Ирина Алферова. Они были тогда начинающие актеры и пришли пробоваться на роли второстепенные, я же присутствовал на этих пробах и, как только их увидел, пальцем на них и закричал — вот они! И сыграли — превосходно, талантливо. Героиня, которую играла Алферова, в конце попадает в сумасшедший дом, и это на фоне поющей страны. И опять фильм пытались запрещать. А вот теперь пришла идея (не мне, я даже точно не скажу — кому, может, режиссеру Кате Калининой), захотели сделать фильм через двадцать лет. Сценарий нового фильма написал Владимир Валуйцкий, а играть будут те же Абдулов и Алферова. К сожалению, и они в жизни прошли печальный опыт расставания. Называться будет «Через двадцать лет».

Там есть место, где герой где-то в ресторане заказывает такие блюда! Какие-то индюшки, фаршированные куропатками, или наоборот. И тут я против, когда люди голодают, когда люди погибают от безденежья. Режиссер уверяет, что это только названия и их никто произносить не будет. Это реквизит... Так вот, чтобы и реквизита такого не было.

В фильме предложили мне сыграть автора, то есть меня же. Ну, конечно же, я отказался и предложил Валентина Гафта. Сначала я не мог себе до конца объяснить: отчего Гафт? Разумеется, он прекрасный актер, но почему он должен играть *меня*? Внешне мы совершенно непохожи. Валентин такой красивый, высокий — и посмотрите на меня. А потом понял: у него такая же постоянная неудовлетворенность собой, как и у меня, все время терзает себя.

Мы с ним встретились в Ленинграде недавно, и он попросил мое стихотворение, которое хочет читать в фильме: «Война, война, сороковые, убитые остались там, а мы, пока еще живые, все допиваем фронтовые, навек законные сто грамм». Вот так и допиваю. У меня мучительная недооценка, за все, что я делаю, мне сразу стыдно. Утром у меня такое настроение, что я никчемный и так далее, и я начал по временам выпивать (не становясь, подчеркиваю, алкоголиком), а потом об этом написал стихотворение «Когда выпивали, вы не взлетали?». А сегодня я предложил вам назвать его в журнальной подборке «Маленьким гимном».

Как хорошо однажды понять, что ты — человек прошлого. Знакомые думают, что они знают тебя, а на самом деле они помнят тебя. Женщины прошлого красивы, деревья прошлого густы. Переулки прошлого, праздники прошлого, дожди прошлого, книжки прошлого... От прошлого можно не зависть. Каким я его вспомню, таким оно и будет.

— Я не верил, что какая-нибудь женщина меня сможет полюбить. Гаяля Волчек однажды сказала: «Саша, ты ведь такой, на тебя одна женщина посмотрит, ты и готов, потому что думаешь, что уже другая не посмотрит». Ну, на меня одна посмотрела, я и был готов, и у нас появился ребенок. Эта женщина умерла, ребенка я взял к себе. Младшему было шесть лет, когда старший приехал с женой из Америки. Мой старший сын — талантливый ученый, программист, когда здесь это казалось неперспективно, уехал в Америку. Приехали и долго разговаривали с малышом. По вечерам. А малыш был и хороший, и умный, но дома ему было трудновато. Не то что плохое отношение к нему, нет, не плохое, а никакое. Поэтому я часто его отправлял из дома на маленькую дворовую площадку в хоккей играть. Так вот они говорили, говорили с ним, а потом заявили, что хотят взять малыша с собой в Америку. И я подумал: это хорошо. Там ему с ними будет лучше, чем здесь. Вот тогда я стал писать такие стихи, которые можно объединить словами «Но — дети». Мою книгу тут собирали, хотели выпустить, да теперь уже не будет этого, после кризиса не до книг. Все стихи мои про то, что было, что случалось со мной, а не вообще. Хотя там чувства и про вообще есть, и много печальных.

— *Сейчас вы пишете? Или «меня покинул светлый дар стихов»?*

— Как кончилось, так отрезалось. Поэтому в задуманной книге будет глава «Соловьи онемели».

Разлюбил слова. Деревья сами по себе, а слова, какими их можно бы назвать,— сами по себе, где-то. Птицы, оркестранты, женщины, самолеты, самосвалы, поименное голосование — сами по себе, а слова, предназначенные для них,— где-то.

Сейчас у меня жизнь какая? Жена болеет, молчит, я с ней молчу. Женщина, которая меня любила, очень красивая и очень умная, как-то нашу общую знакомую попросила: «Спроси у него, почему он на мне тогда не женился?» А потому, что не мог сказать жене, что я ужоу, не мог сказать эти слова. Это было невозможное. С тех пор уже двадцать лет прошло, иногда по ночам она звонит. У меня есть стихотворение о ней, но его нельзя публиковать, оно записано ею, ее рукой... Вот так я испортил жизнь этой женщине и жене, которая все знала. Сначала догадывалась, потом я ей сказал... Врать-то я не могу. Если нет разговора, то и нет, а если спрашивают, то у меня нет слов, чтобы обойти правду. Так было всегда. И везде. До сих пор вспоминают: «Что он говорил тогда на всяких

творческих встречах! Мы боялись его слушать, мы думали, нас всех вместе с ним посадят».

— **Вы никогда не брали на себя роль борца.**

— Если бы предложили, взял бы. Я дружил с Володей Войновичем, но он со мной говорил совсем о другом, о творчестве...

Тогда я еще ничего не писал, мое имя ничего не значило. Да и пребывал в другой атмосфере, учился на Мещанской улице, жил театром и Пастернаком. А те, кто воспитывался в ИФЛИ, были другие люди, они этим жили. Меня спросил в телепередаче Андрей Караулов: «Вот Сталина вы боялись?» Я ответил: «Не помню. Личных отношений у меня с ним не было. Но я боялся участкового, что он не продлит мне временную прописку». В передачу это не попало...

У меня есть такие стихи: «Нас времена все били, били... И способы различные были». Хотя вот было такое происшествие. Я о нем уже как-то говорил. Послали меня в маленький городок под Ленинградом, не помню, в какой, прочитать лекцию в школе для детей и взрослых. О чем я мог говорить? О Пастернаке, который получил Нобелевскую премию, о Солженицыне, который был тогда напечатан, о правозащитниках... А потом меня вызывают в райком партии и читают письмо, где все мое выступление застенографировано, но в конце было одно предложение, которое, по мнению доносчика, должно было стать последним штрихом моего отвратительного образа: «К тому же он был нетрезв». Меня спросили: «Вы это говорили?» «Да». «А что вы пили?» «Ну, водку и пиво». «Да разве можно водку пивом запивать? Коньяк нельзя пивом запивать, коньяк нельзя с водкой мешать, вино нельзя...» А я в ответ: «Да? А я не знал, да что вы говорите! А мне как-то хорошо после водки с пивом». «Да что вы!» И после этого, надо сказать, доверительного и поучительного разговора они бросили в печку это письмо.

Стыды. Не ходил на Красную площадь с теми, семерыми, против наших танков в Чехословакии. Это например. А сколько лихорадочных, глупейших поступков, они же, как правило, и плохие?.. Ладно, у Соловьева: «Я стыжусь, следовательно, существую». Или: «Спокойная совесть — изобретение дьявола». Для утешенья на полторы минуты. А как с этим жить по утрам? Ведь стыды-то не выдуманные, настоящие...

— **Вы свой юбилей будете отмечать?**

— Ни за что!.. Мне неприятны и тяжелы все эти застолья, все говорить будут, а я — сидеть как дурак. На днях мне звонят, так как по всему городу развешены объявления: «Пять вечеров современной петербургской драматургии». Я должен был прийти на открытие и освятить, тоже мне — Державин. А потом на всех спектаклях представлять. Ну, это не по мне.

Еще один день рождения. В детстве поздравляли старшие, и твоя жизнь становилась для тебя значительной, праздничной... Старших нет. А поздравления младших не поднимают тебя, как прежде, в собственных глазах...

Беседу вела Ирина НИКОЛАЕВА

Александр ВОЛОДИН

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Судьба

Рассеянно меня топтала,
без злости, просто между делом.
Рукой махнула, перестала,
а растоптать и не успела.
Потом слегка посовестилась
и вяло оказала милость:
подкинула с небесной кручи
удачи и благополучья.

А под конец, зевнув устало,
вдруг закруглилась, как сумела,—
несчастьями не доконала,
счастливым сделать не успела.

1938-й, 39-й, 40-й...

Тогда служили по три, четыре, пять лет, не отпускали никого. До предстоящей войны, которая оказалась неожиданной.

Казарма, красноармейская служба.
Мальчишки, виновные без вины.
Уставы, учения, чистка оружия.
Почетные лагерники страны.

Служили, служили, служили, служили...
Бессрочное рабство. Шинели — ливреи.
Несметная армия в мирное время.
Эпоха нежизни, года-миражи.

* * *

Аккуратно перед наступленьем
все по кружкам разливают водку.
Порошенный снегом суп глотают,
хлеб дожевывая на ходу.

Мы с Суродиным сидим в сторонке.
Может быть, последний ломоть хлеба,
может быть, последний раз из фляги
водку разливаем пополам.

Выпили. Чтоб тот, кто уцелеет,
помнил этот день оглохший, белый,
и домой вернулся, и за друга
две хороших жизни пережил!

У него в спине была воронка.
Мелкая воронка, но в спине.

1942

Из дневника

Нас времена всё били, били,
и способы различны были.
Тридцатые. Парадный срам.
Тех посадили, тех забрили,
загнали в камеры казарм.

Потом война. Сороковые.
Убитые остались там,
а мы, пока еще живые,
все допиваем фронтовые
навек законные сто грамм.

Потом надежд наивных эра,
шестидесятые года.
Опять глупцы, как пионеры,
нельзя и вспомнить без стыда...

Все заново! На пепелище!
Все, что доселе было, — прах:
вожди, один другого чище,
хапуга тот, другой, что взыщешь,
едва держался на ногах...

* * *

Снега незрячие. Слепые
дожди шивают с небом землю.
Ее заносят тихой пылью
ветра, от года к году злее.

Несут тяжелые уроны
войска от танковых атак.
Убитых вороны хоронят
на безымянных высотах.

И кажется, быть пугу миру.
Народы мечутся в падучей.
На снос назначена квартира.
Другая где? Найдется лучше?

* * *

Отпустите меня, отпустите,
рвы, овраги, глухая вода,
ссоры, склоки, суды, мордобитья —
отпустите меня навсегда.

Акробатки на слабом канате,
речки, заводи, их берега,
на декорационном закате
нитевидные облака,
мини-шубки, и юбки, и платья,
не пускайте меня, не пускайте,
на земле подержите пока!

* * *

Неверие с надеждой так едины,
 то трезвое неверье верх берет
 и блик надежды угасает, стынет,
 но так уже бывало. В прошлый год,
 и в прежний век, и в те тысячелетья
 надежды все обманывали нас.
 И вновь неверью нечем нам ответить,
 и свет надежды все слабее светит,
 слабее светит, как бы не погас...

* * *

Олегу Ефремову

Как безупречна гибель в блеске сцены
 Порок кляня. И шпагою звеня.
 Но в жизни

смерть постигли перемены.

Сначала речь покинула меня.
 Порок бушует, как е... мать,
 и прежде бесновался в мире этом.
 А я замолк. Не пользуясь моментом,
 хотя по роли требуется мат.
 Стою без слов. Не досказав. Немой.
 Не уползти, не скрыться за кулисы.
 Текст расхватили подставные лица,
 хотя, признаться, не ахти какой.
 А правда ныне смело вопиет,
 и требует снести и переставить,
 и срочно непотребное исправить.
 Разверст ее кровотокающий рот.

И вот — вперед. Ликуя и трубя.
 Такое время. Полоса такая.
 Забыл слова. Смолкаю. Отвыкаю.
 Сначала отвыкаю от себя.

Маленький гимн

К черту подробности жизни. Детали!
 Когда выпивали, вы не взлетали?
 Над скрупулезьем недели, над бытом,
 которым, сознаться, почти что добиты,
 в котором тонули, сосредоточась
 на униженьях и почестях, то есть
 на тех же подробностях и деталях.
 Когда выпивали, вы не взлетали?
 Жизнь не теряла вялость и прелость?
 Вам не легчало? Вам не летелось?
 И вот уже нет рангов и кланов,
 и жизнь обретает другие мерки.
 В размытом виде светится главное,
 а второстепенное меркнет...

* * *

Давно уже я не справляюсь
с отяжелевшим бытием.
Оно в войну еще сломалось.
Со сломанным вот так живем.

Пить и молиться. На замок
замкнувшись. А по телефону
жена ответит: «Занемог,
кремирован и похоронен...»

Но дети! Чисты ваши лица.
Как счастливо я с вами жил!

Я по утрам за вас молился,
а вечерами с вами пил.

Боюсь, что жизнь меня накажет
продленьем долгим. Все теперь
живут подолгу. «Рано,— скажет.—
Придется доживать тебе».

И детям буду странен я,
беспомощен, нескладен, болен...
Другим запомните меня.
Не в нынешней, а в прежней роли...

* * *

Открыться жизни! Распахнуть наружу
окно мое. Я сон души нарушу!
Как долго заперта была в глуши.
Распахнута душа моя, дыши!

Смотри во все глаза, что происходит
в открытом мире! Появился СПИД!
Кто едет, кто дорогу переходит.
Кто в семь проснулся, кто до часу спит!

Какие толпы населяют Землю!
Какие дети на траве растут!
Как наш народ теледебатам внемлет!
Какие компроматы реют тут!

Какие перемены происходят!
То к лучшему, то к худшему они.
Какие громы в поднебесье бродят...
Проснулась ты, душа моя?
Усни.

* * *

От обожанья уклонялись.
Различно опускались вниз.
Те слишком быстро соглашались,
те слишком долго береглись.

Но некогда одна из вас,
сама своей не зная силы,
неясным светом заслоняясь,
нас обожанию учила.

Чтобы потом когда-то, где-то
и вы, встречаясь на пути,
светили нам таким же светом,
как некогда она. Почти.

* * *

Недвижно пылают закаты.
Рассветы восходят сурово.
Готовы к убийствам солдаты
и беженцы к бегству готовы.

Готовы супруги к разлуке,
готовы к беде властелины.
Тем временем полдень над лугом
склоняется, жаркий и длинный.

Готовы к обманам святоши
и к недоеданию дети.
Готовы могилы.
И все же
рассветы восходят и светят...

* * *

Здесь перестроек механизмы,
приоритеты плюрализма
и что-то брезжит впереди.
Но долгосрочные прогнозы
нам обещают только грозы
и в лучшем случае дожди.
Под недостроенною кровлей
начальство с приостывшей кровью
сидит разрозненной толпой.
А впереди?.. На все вопросы
ответ прямой: «Возможны грозы
и дождь на годы проливной».
Хоть наша вера и ветшает —
прогноз не врет. Не обещает
тепла. Спасибо и на том.
Но вдруг, подростки, наши дети
снесут сырые бревна эти?
Прогноз пророчит и погром.

* * *

Во Франции неважные дела.
Квартиры дорожают и вообще...
Но Франция вполголоса поет
Под контрабас, ударник и рояль.

В Италии, глядишь, то наводнение,
То Папа умер, то землетрясение —
Она поет, поет под мандолину,
Или гитару, или просто так.

Америка в преступности увязла
И с неграми никак не разберется —
И те поют. И белые, и негры.
Приплясывая перед микрофоном,
Блистая приглушенным саксофоном...

А нам и Бог велел. Поем народные.
Цыганские. Старинные. Походные.
Блатные. Философские. Победные.
Полезные. Безвредные. И вредные.

На шаре тесеньком
Столпились мы,
Друг другу песенки
Поем из тьмы...

Плес

Здесь некогда я жил в гостинице,
еще счастливым был тогда.
Приехал с городом проститься,
другие минув города.

Здесь некогда, ведомый счастьем,
я на холмах набрел на чашу,
иначе как назвать не знаю,—
земная впадина средь чащи
простерлась, сдержанно блистая.

Травнистый кратер всей Земли.
Господня, думалось, криница.
Березы наискось росли,
счастливые над ней склониться.

И мнится: рощу перейти —
и чаша тихо заблестит.
А вот ищу — и не найти.
И местные о ней не знают.

И каждый мудрой головой
покачивает: мол, едва ли.
Тут все известно, а такой,
как вы искали, не видали.

Нет чаши. Нет березок. Свет
не светится на дне криницы.
Душа могла и ошибиться,
и счастья не было. И нет.

* * *

Это, что ли, жизнь кончается?
Пять. Четыре. Три...
Под ногой доска качается —
и конец игры?

Это значит — притомились?
До свиданья всем?
Но со счета где-то сбились.
Десять! Восемь! Семь!

Сроки снова отменяются.
Это мне за что?..
Правилам не подчиняются.
Триста! Двести! Сто!



Загадки Альбиона

Прошло всего несколько десятков лет, как детектив отвоёвал у литературоведов право быть причисленным к сонму жанров, составляющих так называемую высокую литературу. Еще в 1950-х годах лишь детективам Эдгара Аллана По да Уилки Коллинза было позволено войти в университетский курс зарубежной литературы, да и то с оговорками: мол, детективный сюжет не определяет ценность их произведений — классических образцов англоязычной словесности. И в самом деле не определяет, ибо детектив появился на свет в XIX столетии как дитя нравоучительных, социальных, авантюрных новелл и романов, отлично усвоившие их достижения, недаром непревзойденный новеллист Э. А. По стал основоположником нового жанра. Более того, в эпоху великих научных открытий детектив — с легкой руки любопытного ко всему новому в научном мире По — был своего рода ответом мистикам, принимавшим все непонятное или неизвестное за божественный промысел или адский умысел. Да и вечный трудяга Шерлок Холмс до сих пор не перестает поражать нас своими разнообразнейшими познаниями.

В XX век детектив пришел как жанр развлекательной литературы, но с четко выраженным кредо «справедливость торжествует», далеко не всегда подразумевавшим наказание злодеев (что было, кстати, задано еще в рассказах По). Частный сыщик или полицейский в качестве расследователя преступления на переломе веков уже не столько высокообразованные люди, которые способны найти ключ к тайне, ставящей в тупик всех остальных, сколько профессионалы, отважные и дошнские знатоки своего дела, противники преступника и, следовательно, положительные герои, стоящие на страже общественного порядка и более или менее романтизированные. Самым запоминающимся из них стал Нат Пинкертон — во всяком случае, в России.

Постепенно утверждаясь как социальная, антифашистская, психологическая, историческая проза, детектив не терял притягательности для массового читателя и ни при каких обстоятельствах не отказывался от своего кредо, кто бы ни оказывался борцом за справедливость — забавный бельгиец или деревенская старушка, любитель орхидей или шпион, психолог-любитель или профессионал-полицейский. Занимательный сюжет, положительный герой (или героиня), победа добра над злом — пожалуй, основное, что так или иначе объединяет и выдающиеся произведения этого жанра, ставшие явлением мировой прозы, и то, что мы обычно называем «читивом», но это разделение в наши дни целиком и полностью определено талантом автора. Впрочем, так было всегда. Ведь и Диккенс, и тем более Достоевский тоже писали детективы. Достаточно вспомнить роман «Преступление и наказание». Чем не детектив? Убийца и следователь. Их противостояние. И справедливость торжествует, причем определенная не только людским законом. Не исключено, что, будь роман Достоевского издан сегодня, жанр, в котором он написан, назвали бы психологическим детективом.

Из представленных ниже авторов лишь англичанка Дороти Л. Сейерс (1883—1957) — признанный критиками и читающей публикой классик в жанре детективной прозы, но и она писала и публиковала стихи и пьесы, преподавала языки и переводила с французского классическую литературу. Дороти Сейерс великолепно владеет искусством занимательной интриги и «говорящего» портрета, превращающего каждый ее рассказ в ироничную и узнаваемую, по крайней мере читателями Теккерея, «картинку с выставки» английского общества. Кстати, лорд Питер Уимси, который проводит расследование в рассказе «Жемчужное кольцо», — персонаж всех лучших детективов автора. Кэтрин Мэнсфилд (1888—1923) — писательница новозеландского происхождения, близкая к Блумсберийской группе английских писателей, утверждавших вслед за Генри Джеймсом приоритет психологической прозы и возможность более глубокого проникновения в душу человека. Ее роль в истории английской словесности соответствует роли Мопассана в истории французской и Чехова — в истории русской словесности. Английский писатель

Ален Александер Милн (1882—1956) наверняка с детства знаком не одному поколению российских читателей, ибо его перу принадлежит повесть-сказка «Винни-Пух и все-все-все» о любопытном медвежонке, любившем сочинять «кричалки», «пыхтелки», «сопельки», «шумелки». Кстати, одна из них отчасти помогает догадаться, почему создатель Винни-Пуха обращался и к жанру детектива тоже:

Опять ничего не могу я понять,
Опилки мои в беспорядке,
Везде и повсюду, опять и опять
Меня окружают загадки.

(Перевод Б. Заходера)

Хотя современная американская детективная литература имеет дело скорее с мафией и гангстерами, но и в ней случаются произведения «традиционно английские», например, шуточный рассказ Лена Грэя, признанный одним из лучших детективных рассказов 60-х годов. Английский поэт и писатель Роберт Грейвс (1895—1986) у себя на родине знаменит стихами, историческими романами («Я, Клавдий», «Божественный Клавдий», «Царь Иисус», «Дочь Гомера» и другими), книгой «Мифы Древней Греции», теоретическим трудом в области мифографии «Белая богиня, историческая грамматика поэтического мифа»... Почтенный профессор Оксфордского университета при всем разнообразии своих трудов, требовавших максимума познаний и при жизни сделавших его классиком, любил еще и пошутить; правда, не только эта, но и многие другие его шутки (и не только шутки) сочетают в себе, казалось бы, несочетаемое — юмор и трагедию.

Л. ВОЛОДАРСКАЯ

А. А. МИЛН

УБИЙСТВО В ОДИННАДЦАТЬ ЧАСОВ

Да, сэр, лично я читаю детективы, но большинство полицейских ни за что в этом не признаётся. Они смеются над детективами, потому что в жизни все совсем не так. Может, оно и правильно, не знаю, но, спрашивается, зачем мне читать полицейские отчеты, от которых мне и на работе нет продыху? Чем меньше детективы похожи на мою жизнь, тем лучше. И читаю я их, верно, по той же причине, что и другие. Надо же человеку хоть немного отдохнуть от самого себя!

Вы никогда не задумывались, почему убийцу в детективе обязательно застреливают, или давят машиной, или сбрасывают с утеса? Нет его — и дело с концом. Никакого тебе суда. А представьте, что он дядюшка невесты! Вот уж весело ей будет проснуться в медовый месяц да вспомнить, что его как раз должны повесить.

Но есть еще кое-что. Доказательства. Все эти любители дедукции и индукции очень умные, не спорю, и они могут вычислить убийцу, но вот уж улик им ни за что не отыскать. Спросите любого полицейского. Все они знают по полдюжине убийц, по которым плачет веревка, но... Нет доказательств. Ведь читателю что ни подсуну, он всему рад. Разве его любимый сыщик может ошибиться? А я говорю о доказательствах, которые должны убедить присяжных. О тех самых доказательствах, от которых один пшик остался после того, как судья отверг одну половину, а адвокат — другую. От свидетелей и вовсе никакого толку никогда нет: не подвели — и то слава Богу. Любителю легко. Ему лишь бы найти убийцу и хорошенько все ему объяснить, а тот уж сам в последней главе наложит на себя руки. Попробовал бы такой сыщик побыть на моем месте, когда у меня черт знает сколько начальства, не считая, естественно, судьи и присяжных... Убийцы? А что убийцы? Они сотнями разгуливают по улицам, это вам не детективы читать.

Знал я когда-то одного сыщика-любителя. Умный был и работал прямо как в книжках. В тот раз он мне большую помощь оказал. Мы оба знали убийцу. А толку что? Я уж и так, и сяк, а дело ни с места. Нет доказательств — и все тут. Я вам расскажу, если хотите.

Пелхам-плейс — отличное место. Мистер Картер, живший там, очень любил птиц. Он устроил в парке — как это теперь называется? — птичий заповедник. Знаете, лес кругом, озеро, речушка и птицы, какие только есть на свете, — дрозды, зимородки и всякие другие. Он их изучал и фотографировал для своей книги. Не знаю уж, какая у него получилась бы книга, только он ее не написал. Убили его. В июне. Ударили по голове так называемым тупым предметом и бросили в лесу. Записей у него было много и фотографий тоже, а вот книгу он не написал.

И завещание мистер Картер не написал, поэтому имущество было поделено поровну между его четырьмя племянниками — Амброузом и Майклом Картерами и Джоном и Питером Уайменами. Амброуз, самый старший, жил при дяде и хотел передать заповедник государству, но остальные не согласились, хотя их дядя всегда об этом мечтал. А потом война, и заповеднику пришел конец.

Амброуз — мой сыщик-любитель — помогал дяде и с птицами, и с книгой. Он говорил, что следить за птицами — все равно что следить за людьми: хорошо развивается наблюдательность, а ведь это важно и для сыщиков. Его правда. Джон был актером, но почти все время безработным актером, а Питер незадолго до несчастья обручился, хотя его адвокатская практика еще не приносила особого дохода, так что оба постоянно нуждались в деньгах. Майкл Картер — двоюродный брат Амброуза — занимался бизнесом, но жену он себе взял транжирю из транжир. Вот так-то.

Сначала я познакомился с Амброузом. Он позвонил в участок и сообщил, что убили мистера Генри Картера из Пелхам-плейс. Наш доктор был занят другим делом, поэтому я взял с собой лишь сержанта и шофера. Не знаю уж, отчего я решил, что труп будет в доме, и потому немного удивился, когда мистер Амброуз Картер, ожидавший меня у двери, сказал нашему шоферу:

— Поезжайте налево, а на первой развилке поверните направо. — Потом он тоже сел в машину. — Прошу прощения, инспектор, но вы ведь не будете возражать, если я пока покомандую? Он в лесу.

Мне понравилось, как он себя держит, и вообще...

Случилось-то вот что. Мистер Картер отправился в заповедник около десяти утра. Обычно он проводил в нем весь день и возвращался только к ужину, но бывало, оставался и на ночь. Тогда уж до рассвета. Поэтому вечером его никто не хватился.

— Где он ночует в лесу? — спросил я.

— В шалаше. Увидите.

— А как у него с едой?

— И еда, и фонарь — все у него есть. Там очень уютно. Я и сам несколько раз оставался.

— Когда же вы забеспокоились?

— Когда утром он не приехал, чтобы принять ванну и позавтракать. Мы с Джоном, это мой двоюродный брат, подумали, может, он заболел. Джон в лесу... с телом. Но там чужих не бывает. Это ведь настоящий заповедник.

Если чужих не бывает, значит, убийца — один из родственников. Вот и пришла пора познакомиться вас с семейством. У Амброуза и Джона весьма выразительные лица, хотя и совсем разные. Джон Уаймен — высокий, смуглый, красивый. Амброуз Картер — постарше, и лицо у него очень подвижное, которое легко принимает любое выражение. Роста он среднего. Когда-нибудь, наверное, растолстеет.

Вскоре он остановил машину, и мы увидели прекрасное лесное озеро, окруженное деревьями. Глаз не оторвешь! Джон Уаймен сидел на бревне и курил сигарету. Когда мы подошли, он сказал:

— Целый час жду.

Амброуз извинился. Джон, естественно, никого не видел и не слышал, и я отправил его домой с сержантом Хасси, которому приказал подождать доктора и привезти его ко мне.

— Вы дядюшку любили? — спросил я Амброуза.

— Хотите знать, не я ли убийца? — усмехнулся он.

— Вообще-то я не это имел в виду.

— Прошу прощения, инспектор. Мы с ним неплохо ладили. Работа мне нравилась, но не могу сказать, любил я его или не любил. Он был как будто... не человек. Его интересовали только птицы, а к людям он был равнодушен.

— Понятно.

Мистер Картер лежал на спине. Голова и правое запястье у него были разбиты, словно он, защищаясь от первого удара, поднял руку. Похоже, убили его давно.

— Когда вы в последний раз видели его живым?

— Вчера в половине десятого утра,— ответил Амброуз.

— Он умер часа через два или три после этого. Точно мы узнаем, когда придет доктор.

— А часы?

Я наклонился взглянуть на запястье. Разбитые часы показывали одиннадцать. Убийство в одиннадцать часов, сказал я себе. Отличное название для детектива.

— А знаете,— сказал вдруг Амброуз,— я могу поклясться...

— В чем?

— Он носил часы на левом запястье,— проговорил он и отошел в сторону, словно сболтнул лишнее.

— Где вы и мистер Уаймен нашли его?

— Здесь.

— И что особенного заметили?

— Заметил, что у него повреждены рука и часы, но не обратил на это внимания. Правда, у меня промелькнула мысль: вроде часы он носил на другой руке,— ну я и удивился.

— Вы уверены?

— Абсолютно уверен. Посмотрите сами. На другой руке должен быть след.

Все правильно. Я бы тоже это выяснил со временем, но Амброуз оказался посмекалистее, недаром ведь за птицами следил. Тут он подошел поближе и вдруг, остановившись возле головы своего дяди, тихо хмыкнул.

— В чем дело, сэр?

— Посмотрите, инспектор. Убийца сломал дяде Генри руку до того, как убил его, потом надел часы и раздавил их, чтобы вы подумали, будто убийство произошло в одиннадцать часов.

— Значит, он поставил стрелки на нужное ему время...

— Правильно.

— И убийство произошло вовсе не в *одиннадцать* часов...

— Правильно. И...

— И это значит, что у убийцы на одиннадцать часов алиби. — Я был горд своей догадливостью.— Но мы не знаем, на какое время у него нет алиби. Не знаем, когда он убил.

Земля была сухой. Следов никаких. Мне прислали на подмогу двух полицейских, но и они не нашли ничего похожего на орудие убийства. Наверное, его бросили в озеро. Сразу после приезда доктора я собирался задать домочадцам убитого несколько вопросов, а тем временем с полным почтением внимал мистеру Амброузу. Почему бы и нет, если уж он решил поиграть в Шерлока Холмса. Мы сели на бревно и закурили.

— Пойдемте дальше, сэр,— сказал я.

— Вы о чем?

— Что вы еще припрятали в рукаве насчет времени убийства?

— Ничего, инспектор, уверяю вас. Вы и сами все понимаете.

— Пока нет. Вы меня опережаете.

— Неужели? — просиял он.— Сначала было бы неплохо обозначить временные границы преступления, я имею в виду по состоянию тела.

— Придется подождать доктора Хикса. Но он укажет время только приблизительно, в пределах пяти-шести часов.

— Жаль. Ну посмотрим. Первым делом...

Он внезапно замолчал, словно ощутил некоторую неловкость.

— Что, сэр?

— Где вы ищете убийцу, инспектор? Среди нас или среди чужих?

— Я пока не ищу.

— Думаю, у чужих больше причин.

— Это почему же?

— Мне так кажется. Мне так кажется, черт возьми.

— Будьте откровенны, — попросил я. — Убийца — это убийца, даже если он родственник.

— Верно. — Он бросил докуренную сигарету и взял другую. — Предположим, бродяга или просто прохожий, идя через лес, свистит, стучит палкой и беспокоит птиц. Как всегда, дядя бросается на него, чтобы прогнать, завязывается драка. Бродяга защищается, теряет голову и... Все.

— А часы?

— Правильно, инспектор. Часы. Во-первых, бродяге не до часов. Во-вторых, какое у него может быть алиби? В-третьих, он бы побоялся манипулировать с часами, ведь он не знает, когда начнут искать тело.

— Значит, убийца рассчитал время?

— Да. Он знал, что дяди долго никто не хватится. Впрочем, об этом знали многие.

— Думаю, вы знакомы со всеми садовниками и лесничими?

— Конечно. Давайте немного потеоретизируем. Предположим, вы убиваете человека в три часа, а часы переводите на два или четыре. Вы бы что предпочли?

— А вы, сэр? — спросил я.

— Два часа. Это же очевидно.

— Очевидно?

— Я ставлю на два часа, потому что у меня уже есть алиби на два часа. А если поставлю на четыре, то еще неизвестно, что из этого выйдет. Даже если я кому-нибудь помозолю глаза, кто знает, что этот человек выкинет? А вдруг он забудет обо мне? Или солжет? Я должен быть уверен в своем алиби, поэтому перевожу стрелки *назад*. Даже если я не планировал убийство, так все равно лучше.

Он был прав. Может быть, я бы тоже до этого додумался, а может, и нет, кто знает.

— Ну ладно, — продолжал он. — Убийство произошло *после* одиннадцати часов. Когда? Если сразу после одиннадцати, то у убийцы было совсем мало времени. До дома минут двадцать. Он ведь шел пешком, потому что вряд ли посмел бы оставить поблизости машину. Думаю, он дал себе час. Если у вас алиби на одиннадцать часов, то вы убиваете в двенадцать и ставите часы на одиннадцать.

— А почему не убить в два или в три часа? Еще безопаснее.

— Ланч, — сказал Амброуз.

Молодец!

— Неужели убийца позволит ланчу нарушить свои планы?

— При чем тут убийца? Я говорю об убитом. Ведь вы же определите, когда он в последний раз ел.

— Ах да, как же я забыл?

— Дядя Генри ел между половиной первого и половиной второго, так что не было бы смысла ставить часы на одиннадцать, если бы он уже поел. Думаю, инспектор, время смерти — от половины двенадцатого до половины первого, скорее всего двенадцать часов.

Логично.

— Итак, сэр, — сказал я, — если предположить, что убийство произошло в двенадцать, то у убийцы есть неопровержимое алиби на одиннадцать часов и нет алиби на двенадцать.

— Вы правы, инспектор.

— В таком случае, сэр, я бы хотел спросить вас: где вы были в одиннадцать и в двенадцать часов?

Амброуз громко засмеялся.

— Так и знал, что вы спросите,— сверкнул он глазами.— Просто как чувствовал.

— Мне придется всех спросить, сэр, не только вас.

— Дайте подумать. Я пошел к Вестонам, поболтать за ланчем с друзьями. Из дома вышел сразу после десяти, потом около гаража разговаривал с шофером и садовником примерно до половины одиннадцатого. В половине первого был у Вестонов. До них четыре мили по полю, да и день был жаркий, так что я не очень торопился.

— А почему вы не поехали на машине, сэр?

— Миссис Майкл собиралась в город за покупками. Кроме того,— заметил он, похлопав себя по животу,— пешая прогулка помогает сохранять стройность.

— Вы кого-нибудь встретили?

— Не помню.

— Кто-нибудь знал о ваших планах? — спросил я.

— Да. За завтраком мы говорили о том, кто что будет делать. Майкл... Впрочем, вы, наверное, предпочтете сами узнать у него. Прошу прощения.

Однако я решил, что мне не мешает знать, о чем они говорили, даже если их планы остались невыполненными, поэтому я попросил его продолжать.

— Майкл всегда привозит домой кучу газет. Он из тех, кто работает, даже когда спит. Я разрешил ему занять мою комнату и обещал прислать выпивку, а он предупредил жену, что будет занят все утро. Питер и его девушка... Инспектор, думаю, вы сами знаете, какие могут быть планы у жениха с невестой. Мне хотелось сыграть в гольф с Джоном, но он ждал звонка в одиннадцать, а потом собирался погулять по парку.

Вдруг он вскочил. Видно, его осенила какая-то идея, и я поинтересовался — какая, потому что меня тоже осенила идея.

— Дядины записи! — воскликнул он.— Какие же мы идиоты!

— Я как раз подумал о них.

Если человек наблюдает за птицами, то он постоянно что-нибудь записывает, по крайней мере когда делает фотографии. Убежище ученого мне очень понравилось. За большим букром и кустами его не так-то легко было разглядеть. Шалаш как шалаш, но очень удобный. В дневнике последняя запись помечена «10.27»!

— Что скажете? — спросил я мистера Амброуза.

— Странно,— ответил он, перелистав несколько страниц.— И это после всех наших теоретизирований. Не мог же он полтора часа не делать записей. А!..

— Что?

— Последняя запись сделана внизу страницы. Это совпадение?

— Думаете, следующая страница вырвана?

— Да.

— Если так, то впереди тоже должно не хватать страницы.

Так и оказалось. Не хватало страницы за март. Все сошлось, и мистер Амброуз снова обрел довольный вид.

Что ж, сыщик-любитель поработал на славу. А теперь я расскажу вам, что получилось у профессионала. Завтрак мистера Картера был его последней едой. Если время ланча 12.30, то, следовательно, он был убит между 9.45 и 12.30. Убийство вполне могло произойти и в двенадцать часов, если бы не алиби... Помните, убийца должен был иметь алиби на одиннадцать часов, а не на двенадцать? И тут-то все пошло вкривь и вкось. У лесника Роджера вообще никакого алиби не было, а у другого рабочего было алиби на все утро. Мистер Майкл Картер якобы не выходил из комнаты Амброуза Картера, по крайней мере он так утверждал.

— Никто к вам не приходил? — спросил я Майкла.— Вспомните, пожалуйста.

— Служанка принесла виски с содовой. Я не просил, но все-таки выпил.

— Когда это было, сэр?

— Не помню. Может быть, она помнит.

Всем своим видом он показывал, что слишком занят делом и не может обращать внимание на всякие пустяки.

Дорис подтвердила насчет виски, но точное время вспомнить не смогла: что-то около одиннадцати. У мистера Питера и его невесты алиби было неопровержимое. Так же у шофера и миссис Майкл. Конечно, можно сказать, что показания влюбленной невесты не очень надежны, но, с другой стороны, зачем мистеру Питеру возиться с часами, если он мог рассчитывать на девушку? Разочаровал меня мистер Джон Уаймен. Ему позвонили в 10.30, а не в 11.00, после чего он взял клюшку и мячи и отправился играть в гольф. Это подтвердила миссис Майкл.

Вот как выглядел список подозреваемых в результате опроса:

1. Майкл Картер. Пил виски около одиннадцати, следовательно, у него алиби на 11.00, а на 12.00 алиби нет.

2. Роджерс. Но только в случае, если Джон Уаймен перевел стрелки часов и вырвал страницу из дневника. А зачем? Испугался, что его заподозрят? Он больше всех нуждался в деньгах и обсуждал с Амброузом, как заговорить о них с дядей.

3. Любой бродяга, но только с помощью Джона Уаймена. Маловероятно.

Почему Джон Уаймен не поставил часы на 10.30, на время, когда у него было алиби? Никакого смысла. Если исключить этих двоих, то остается Майкл Картер. Но тут пришла Дорис и заявила, что ошиблась насчет времени. Она, видите ли, заболталась с другой служанкой и отнесла виски в двенадцать часов.

Вечером я еще раз все обдумал, так как утром мне предстояло докладывать начальству. Сел в свое любимое кресло, раскурил трубку, поставил рядом бутылку и положил ноги на другое кресло.

Первым делом — часы. Убийца мудрил с часами, чтобы нас запутать. Что у нас есть? Отметина на левом запястье, надетые не на ту руку часы, вырванная из дневника страница. Ну и что? «Прекрасно,— подумал я.— Лучше не бывает! Убийца *прекрасно* все устроил».

Как же я сразу не догадался? Зачем убийце убеждать меня, что одиннадцать — неправильное время? Да затем, что оно правильное. Двойной блеф. Зачем надевать часы на правое запястье и делать вид, будто не осталось никаких следов? Конечно же, убийство произошло в одиннадцать, сколько бы мне ни твердили, что это не так.

Кто же мог его совершить?

Мистер Майкл Уаймен. У него нет алиби на 11.00. В 10.35 все из дома ушли, и он оставался один до 12.00, когда Дорис принесла ему виски.

Амброуз и Джон. У них тоже нет алиби на одиннадцать часов.

Я стал думать дальше.

Все указывало на то, что преступление совершил один из племянников. Если тот, кто это сделал, старался меня убедить, будто убийца должен иметь алиби на 11.00, то он не сомневался в его наличии. Только при этом условии он мог чувствовать себя в безопасности. А что получается? Майкл знал, где был Амброуз в 11.00? Нет. И Джон тоже не знал. Он не знал, где были все остальные в 11.00. Постой-постой: он не знал, где был Амброуз. А Амброуз?.. Я вскочил с кресла и крикнул:

— Амброуз!

Он заказал для Майкла виски на одиннадцать часов. Так он обеспечил алиби Майклу! В одиннадцать часов, как ему было известно, Джон ждал звонка. Алиби Джона. Ну кто мог предположить, что оба алиби не сработают? Амброуз! Сыщик-любитель. Он обратил мое внимание на отметину на левом запястье, на разбитые часы, на отсутствие страницы в дневнике. Он доказал, что убийство было совершено в двенадцать часов, когда все его братья, как назло, имели алиби! Амброуз!

Вот так, сэр. Если бы не мой сыщик-любитель, я бы ни за что не справил-

ся. Здорово он мне помог. Только что толку? Мы оба знаем, кто убийца, а доказательств-то никаких.

Лен ГРЭЙ

МАЛЕНЬКАЯ СТАРУШКА ИЗ КРИКЕТ-КРИК

Арт Боуэн и я с головой зарылись в бумаги, когда вошла моя секретарша Пенни Топ.

— Ну, Пенни, что там?

— Господин Каммингс, в приемной женщина. Она хочет работать у нас.

Пенни положила заявление на мой стол.

— Хорошо, хорошо. Надеюсь, она не только что из университета...— И тут у меня глаза полезли на лоб.— Пятьдесят пять лет! — завопил я.— Какого черта?

Арт взял у меня заявление.

— Успокойся, Ральф. Не можем же мы выгонять людей только за то, что им больше лет, чем нам хочется. А вдруг старушка умеет работать?

Старик Арт у нас миротворец. Настоящий скаут.

— Ладно,— все еще неуверенно проговорил я.— Мэйбл Джампстоун. Большой стаж. Кажется, нам подходит. Хочешь задать ей пару вопросов?

— Конечно. Почему бы и нет? Давай вместе.

Вообще-то в нашей страховой компании так поступать не полагалось. Мы должны были по одиночке разговаривать с претендентами и нести за них персональную ответственность.

— Звать? — надменно спросила Пенни, выражая тем самым свое отношение к очередной кандидатке.

— Зови, Пенни. Давай сюда мисс Джампстоун.

Она вошла, улыбаясь и кивая головой, в черном костюме, вышедшем из моды, должно быть, еще до первой мировой войны. Пурпурную шляпку украшали пластмассовые цветочки. Старушка напомнила мне мою экономку Иду Крабтки, чьей единственной страстью было гоняться в желтом «паккарде» за кошками.

— Привет! — громко сказала она, усевшись на стул.

Я смотрел на Арта, который весь подался вперед, забыв закрыть рот и выпучив от изумления глаза.

— Э... Мисс Джампстоун,— сказал я.

— Мэйбл, пожалуйста.

— Хорошо. Мэйбл. Мистер Боуэн, мой коллега.

Я махнул рукой в сторону Арта, который бормотал что-то малопонятное себе под нос.

— У вас очень интересная анкета, Мэйбл. Вы написали, что родились в Крикет-Крик, штат Каролина.

— Правильно, молодой человек. В доме Джона и Мэри Джексонов,— подтвердила она с гордой улыбкой.

Арт еще больше подался вперед.

— Джона и Мэри Джексонов?

— О да! Они разводили гладиолусы.

Он попытался улыбнуться. Молодец старина Арт.

— Да-да, конечно. Должно быть, я забыл. Дай мне анкету, Ральф.

Мэйбл и я смотрели друг на друга, и каждый раз, когда она мне подмигивала, я переводил взгляд на потолок.

Арт оторвался от анкеты.

— Вы проработали в страховой компании десять лет. Почему вы ушли?

Молодец Арт. Оказывается, он умеет ловить людей врасплох. Вот уж чего никогда за ним не замечал.

Мэйбл пожалала плечиками.

— Молодой человек, вы когда-нибудь жили на севере? Совершенно другой мир. Холодный, пасмурный. Я не могла не уехать. Я сказала Гарри... Это мой муж. Он недавно скончался. Боже, упокой его душу. Ну вот, я ему сказала, что мы должны переехать сюда. Мистер Боуэн, вы не представляете, как я люблю солнце. Но вы, верно, никогда не бывали в Крикет-Крик, — прибавила она.

И это было правдой. Не думаю, чтобы Арт даже слышал о Крикет-Крик. У него вдруг сделался такой вид, будто больше всего на свете ему хотелось убежать и спрятаться. А Мэйбл весело кивала ему.

— Мэйбл, — сказал я, — вы должны будете содержать наши бумаги в порядке. Это нетрудно. У нас ведь небольшая контора.

— Вот как?

— Именно. Иногда вам придется печатать на машинке. Вы умеете печатать?

— О Боже, конечно! Хотите проверить?

— Да, да. Прекрасная идея. Сейчас отыщем машинку. Ты идешь, Арт?

— А как же! — усмехнулся он.

Мы вышли из конторы, и Арт шепнул мне:

— Держу пари, у нее не больше десяти слов в минуту.

Оказалось больше девяноста. Каретка летала взад и вперед с такой скоростью, что у Арта заболела шея.

Мэйбл вручила мне три страницы. Я не смог найти ни одной ошибки. Арт изучал каждую страницу так, словно искал отпечатки пальцев.

Мэйбл вернулась в мой кабинет, а Арт и я прошли дальше по коридору и завернули за угол.

— Что ты думаешь? — спросил Арт.

— Она самая лучшая машинистка в этом здании.

На другой день Арт просунул голову в мою дверь.

— Проверил, почему она ушла с предыдущей работы?

— С ней все в порядке. Мы ее берем.

— Вот удивятся тут! — рассмеялся Арт.

За два месяца Мэйбл Джампстоун стала самой популярной личностью во всем здании. В дни рождения коллег она приносила кексы и подавала их во время двенадцатичасового перерыва. Люди, у которых были затруднения, теперь валом валили к ней за советом. Она приходила раньше всех и уходила позже всех. И не пропустила ни одного рабочего дня. Ни одного.

Шесть месяцев спустя Арт неожиданно ввалился в мой кабинет и тяжело плюхнулся на стул. Глаза у него были стеклянные.

— Что с тобой? — спросил я.

— Почтовые переводы, — простонал он.

Мы получали довольно много переводов от наших клиентов и раз в неделю, в пятницу, отвозили их в банк. Была пятница.

— Ну и что, Арт? Давай же, говори!

— Харви отправился в банк. Он звонил десять минут назад. Его ограбили. Ударили по голове. Догадываешься, кто?

— Кто?

— Мэйбл. Мэйбл Джампстоун. Наша маленькая старушка.

— Ты шутишь! Не может быть, Арт.

Он покачал головой.

— Харви сказал, что она сама захотела его сопровождать. А потом вытащила из своей сумочки пистолет и приказала ему убираться. Деньги и машина Харви исчезли без следа.

— Не могу поверить.

— Но это правда. Каждое слово. Что будем делать?

Я щелкнул пальцами.

— Анкета. Идем.

Мы побежали в комнату, где хранились документы, открыли папку с надписью «Сотрудники», но вместо бумаг Мэйбл нашли лишь аккуратно напечатанную записку: «Выхожу в отставку. Искренне ваша, Мэйбл».

Имя тоже было напечатано. Ни подписи, ничего. Мэйбл никогда ничего не писала. Она все печатала на машинке.

Арт умоляюще посмотрел на меня.

— Ты помнишь хоть что-нибудь из ее анкеты?

— Ради Бога, Арт, это было шесть месяцев назад! — Я немного подумал. — Помню только одно...

— Что?

— Она жила в Крикет-Крик. Интересно, такое место существует?

Мы проверили. И не нашли его.

Домой я вернулся поздно. Полицейские нам очень сочувствовали и даже не засмеялись, когда мы сказали, что нашей грабительнице пятьдесят пять лет. Они попросили фотографию или образец подписи.

У нас не было ни того, ни другого...

Я открыл банку с пивом и вошел в комнату.

Мэйбл сидела на кровати и аккуратно раскладывала семьдесят восемь тысяч долларов на две равные кучки.

Я улыбнулся и окликнул ее:

— Мама!

Дороти Л. СЕЙЕРС

ЖЕМЧУЖНОЕ КОЛЬЕ

Сэр Септимус Шейл один раз в году (и только один раз в году) умел настоять на своем. Все остальное время он позволял своей молодой жене заполнять дом модной железной мебелью, демонстрирующей законы физики, и авангардистскими художниками и поэтами, отрицающими всякие законы, а также наслаждаться коктейлями, верить в теорию относительности и одеваться так экстравагантно, как ей только угодно. Но Рождество должно было быть Рождеством. В общем, этот простодушный человек в самом деле находил удовольствие в пудинге с изюмом, шутихах и хлопушках и свято верил, что все остальные «в глубине души» любят то же самое.

Поэтому на Рождество он уезжал в свое поместье, расположенное в Эссексе, приказывал слугам завесить кубистские электрические лампы ветками омелы, закупить деликатесов у «Фортнам и Мейсон», повесить чулки у изголовий кроватей из полированного орехового дерева и единственный раз в году убрать все электрические обогреватели, зато положить в камин настоящие поленья, не говоря уж о большом полене, которое издавна принято сжигать в сочельник.

После этого он звал всех домашних и гостей к себе и, до отвала накормив всякой диккенсовщиной, а потом рождественским обедом, заставлял разыгрывать шарады и прочую детскую чепуху, завершая праздник «прятками» в потемках.

Так как сэр Септимус Шейл был очень богатым человеком, то гости радостно ему подыгрывали, а если им этого не хотелось, они предпочитали скрывать свои чувства.

У сэра Септимуса был еще один милый обычай. На каждый день рождения своей единственной дочери, приходившийся на канун Рождества, он дарил Маргарите по жемчужине. Их уже набралось двадцать, и коллекция стала столь значительной, что ее фотографии появились в колонках светской хроники. Жемчу-

жины поражали не столько величиной, сколько чистотой, совершенной формой и почти невесомостью; словом, они были очень дорогие.

На сей раз Маргарите предстояло получить двадцать первую жемчужину, а это, что ни говори, повод для особо пышных торжеств. Сначала все танцевали. Потом произносили речи.

В рождественский вечер самые близкие родственники и друзья приехали есть индейку и играть в игры эпохи королевы Виктории.

Кроме сэра Септимуса, леди Шейл и их дочери, было одиннадцать гостей: брат хозяина дома — Джон Шейл, его жена, сын и дочь, которых звали Генри и Бетти, жених Бетти — честолюбивый молодой парламентарий Освальд Трюгуд, тридцатилетний кузен леди Шейл — принятый во всех домах Джордж Комфри, приглашенная Джорджу в пару Лавиния Прескотт, приглашенная Генри Шейлу в пару Джойс Триветт, дальние родственники хозяйки дома Ричард и Берил Деннисон, которые весело проводили время Бог знает на какие деньги, и лорд Питер Уимси, приглашенный ради Маргариты, но без всяких на то оснований. Были, конечно же, Уильям Норгейт, секретарь сэра Септимуса, и мисс Томкинс, секретарь леди Шейл, без чьих организаторских способностей никакие празднества вообще не состоялись бы.

Обед закончился — нескончаемая череда супа, рыбы, индейки, ростбифа, пудинга, пирога, замороженных фруктов, орехов в сопровождении пяти сортов вина, радостных улыбок сэра Септимуса и саркастических насмешек леди Шейл. Прелестная Маргарита в колье из двадцати одной жемчужины, мягко поблескивавших на ее нежной шейке, отчаянно скучала. Впрочем, все переевшие и перепившие гости втайне мечтали о горизонтальном положении, когда им пришлось тащиться в гостиную и играть в «музыкальные стулья» (мисс Томкинс за роялем), «найти тапок» (вновь под руководством мисс Томкинс), изображать шарадупантомиму (костюмы мисс Томкинс и мистера Уильяма Норгейта). Задняя гостиная (сэр Септимус обожал старомодные названия) на время стала прелестной уборной, скрытой раздвигающимися дверьми от зрителей, которые ерзали на алюминиевых стульях и царапали каблуками черный стеклянный пол, сверкавший под ярким светом электрических ламп.

Присмотревшись к гостям, Уильям Норгейт предложил леди Шейл перейти к менее подвижным играм, и леди Шейл, как всегда, предложила бридж, но сэр Септимус, как всегда, отверг это предложение.

— Бридж? Чепуха! Чепуха! Ты и так каждый день играешь в бридж. А сегодня Рождество. Надо играть всем вместе. А что если «зверь, овощ, камень»?

Сэр Септимус обожал интеллектуальные игры и довольно умело задавал наводящие вопросы, чтобы помочь играющим угадать, о каком спрятанном предмете идет речь. Немного поспорив, гости сдались, поняв неизбежность очередного этапа развлекательной программы, и сэр Септимус удалился за дверь...

Уже разгадали — среди прочего — фотографию матери мисс Томкинс, пластинку «Хочу быть счастливой» (попутно проведя почти научное исследование материала, из которого делаются пластинки, с помощью мистера Уильяма Норгейта, заглянувшего в «Британнику»), колюшку из ручейка в саду, планету Плутон, шарф миссис Деннисон (смутивший всех, так как не был настоящим шелковым, то есть не принадлежал миру зверья, и не был из искусственного шелка, а был из стекляруса, то есть принадлежал к минералам), но никак не могли определить, куда отнести произнесенную по радио последнюю речь премьер-министра... После чего было решено сыграть в последний раз и перейти к «пряткам». Освальд Трюгуд удалился за дверь, и все принялись обсуждать следующий предмет, как вдруг сэр Септимус спросил дочь:

— Эй, Марджи, где твое колье?

— Я его сняла, папа, чтобы не порвать. Оно на столе. Нет, его тут нет. Мама, ты не брала?

— Не брала. Если бы я его видела, то взяла бы. Разве можно быть такой безалаберной?

— Папа, колье у тебя! Ты меня разыгрываешь!

Сэр Септимус решительно отверг обвинение. Все вскочили и принялись искать колье. В пустой комнате с металлической мебелью не так много мест, куда его можно спрятать. Через десять минут, устав от безрезультатных поисков, Ричард Деннисон, который сидел как раз возле того места, где прежде лежало колье, ощутил некоторую неловкость.

— Странно, знаете ли,— сказал он Уимси.

В это мгновение Освальд Трюгуд просунул голову в дверь и спросил, не пора ли ему войти.

Внимание присутствующих переключилось на другую комнату, так как решили, что Маргарита ошиблась. Она-де оставила колье в той гостиной, и надо только поискать среди костюмов... Поискали... Все перевернули вверх дном; и хозяевам, и гостям стало не до шуток.

Прошел час. Жемчужины как сквозь землю провалились.

— Они где-то в этих двух комнатах,— сказал Уимси.— В задней комнате нет второй двери, так что никто не мог ни уйти, ни прийти. Разве в окно...

Нет. На всех окнах оказались тяжелые ставни, справиться с которыми было не под силу одному человеку, и от этого предположения отказались. Все чувствовали себя неловко, потому что... потому что...

Самым хладнокровным, как всегда, показал себя мистер Уильям Норгейт.

— Я думаю, сэр Септимус, все вздохнут с облегчением, если будут обысканы.

Сэр Септимус пришел в ужас, однако гости, заимев наконец-то лидера, встали за Норгейта стеной. Дверь закрыли, и дамы и мужчины разошлись в разные комнаты.

Обыск закончился безрезультатно, разве что дал интересную информацию о том, что носят при себе разные люди. Естественно, у лорда Питера Уимси оказались при себе пинцет, увеличительное стекло и складная линейка, ведь он был признанным Шерлоком Холмсом в высшем свете. Однако никто не ожидал, что Освальд Трюгуд носит при себе таблетки от печени, а Генри Шейл — карманное издание «Од» Горация. Джон Шейл держал в карманах огрызок красной сургучной печати, уродливый талисман и пятишиллинговую монету. А Джордж Комфри — складные ножницы и три кусочка сахара, какие подают в ресторанах. Уж не страдал ли он тайной kleптоманией? Аккуратный Норгейт загрузил свои карманы белой тряпкой, тремя разной величины веревочками и двенадцатью булавками, вызвавшими всеобщее недоумение, пока кто-то не вспомнил, что именно на нем лежала ответственность за украшение комнат и за игры в рождественскую ночь. Ричард Деннисон, смущаясь и похохатывая, достал дамскую подвязку, пудру и половину картошки, как он сказал, помогавшую ему от ревматизма, которым он страдал, тогда как остальные предметы принадлежали, судя по его словам, его жене.

У дам самыми интересными вещами оказались книжка по хиромантии, три заколки и фотография ребенка (мисс Томкинс), китайская сигаретница с секретом (Берил Деннисон), *очень* интимное письмо и крючок, чтобы поднимать петли на чулках (Лавиния Прескотт), накладные ресницы и маленький пакетик с каким-то белым порошком, возможно, от головной боли (Бетти Шейл). Все застыли, когда из сумочки Джойс Триветт появилась нитка жемчуга, но, увы, искусственного.

Короче говоря, обыск тоже оказался безрезультатным, к тому же все, तो-ропливо раздеваясь и одеваясь, чувствовали себя не в своей тарелке.

Наконец кто-то произнес грозное слово:

— Полиция.

Сэр Септимус вновь пришел в ужас. Только полиции не хватает! Он не позвонит. Жемчужины найдутся. Надо еще раз осмотреть комнаты. Неужели лорд Питер Уимси с его-то опытом... как бы это... таинственных пропаж ничего не может сделать?

— Как? — переспросил лорд.— О, клянусь Богом, конечно... Все, что смогу... Только никто не думает, будто?... Я хочу сказать, никто не думает, будто это я?..

Леди Шейл решительно перебила его:

— Никто ничего не думает. Мы *никого* не подозреваем, а если бы и заподозрили, то вас — в последнюю очередь. Вы слишком много знаете о преступлениях, чтобы их совершать.

— Ну, хорошо. Правда, после того, как тут всё исходило...

Он пожал плечами.

— Боюсь, отпечатков вам не найти, — оживилась Маргарита. — Но ведь мы могли что-нибудь и просмотреть.

Уимси кивнул.

— Я попытаюсь. Пожалуйста, посидите пока в большой гостиной. Но один из вас пусть все-таки останется со мной. Со свидетелем как-то спокойнее. Сэр Септимус, думаю, лучше всего остаться вам.

Лорд Уимси выпроводил всех из задней гостиной и принялся ее осматривать. Сэр Септимус не отставал от него ни на шаг и повторял все его движения. Вскоре оба тяжело дышали от напряжения. К счастью, вкус леди Шейл весьма упрощал поиски.

В один прекрасный момент Уимси растянулся на полу, желая заглянуть под металлический столик, и неожиданно чем-то заинтересовался настолько, что преобильно ударился локтем о ножку, пытаясь пролезть дальше, чем позволял его рост. Тогда он достал из кармана складную линейку и, по-видимому, преуспел.

По крайней мере в руке у него, когда он вылез, была булавка. Кстати, не обычная булавка, а вроде тех, на какие энтомологи насаживают бабочек, — очень острая, очень блестящая и с очень маленькой головкой.

— Господи! — не удержался сэр Септимус. — Что это?

— Кто-нибудь из ваших гостей увлекается энтомологией?

— Как будто нет... Я спрошу...

— Нет, нет!

Уимси наклонил голову, разглядывая черный стеклянный пол, с которого на него смотрело его собственное лицо.

— Понятно, — в конце концов проговорил он. — Я знаю, как все было. Сэр Септимус, не беспокойтесь, мне известно, где жемчужины, правда, неизвестно, кто их взял. Пока, смею вас уверить, они в полной безопасности. Никому не говорите о булавке. Вообще ни о чем не говорите. Заприте гостиную и возьмите ключ, а за завтраком... за завтраком поговорим.

Сэр Септимус удивился, но возражать не стал.

Лорд Питер Уимси всю ночь глаз не сводил с двери в гостиную. Однако никто не пришел. То ли вор предполагал ловушку, то ли был уверен, что возьмет жемчужины, когда сам захочет. Тем не менее Уимси не считал, что потратил время напрасно. Он составил список людей, в одиночку выходявших в заднюю гостиную во время последней игры.

Сэр Септимус Шейл.

Лавиния Прескотт.

Уильям Норгейт.

Джойс Триветт и Генри Шейл (правда, они выходили вместе, заявив, что иначе ничего не разгадают).

Миссис Деннисон.

Бетти Шейл.

Джордж Комфри.

Ричард Деннисон.

Мисс Томкинс.

Освальд Трюгуд.

Уимси также составил список людей, которых можно было бы заподозрить в желании завладеть жемчужинами как редкостью или средством облегчить финансовые затруднения. Увы, этот список полностью совпадал с первым, за исключением, конечно же, сэра Септимуса, поэтому оказался бесполезным.

У обоих секретарей прекрасные рекомендации, но... Деннисоны едва сводят концы с концами... Бетти Шейл носит в сумочке странный порошок, и вообще в свете поговаривают... Генри безобиден, зато Джойс Тревитт крутит им, как хочет, а она-то, как говаривала Джейн Остин, «та еще беспутница»... Комфри занимается спекуляциями... Освальда Трюгуда слишком часто видят на бегах...

Когда пришли слуги, Уимси сделал вид, будто ему не спалось, и поэтому он первым спустился к завтраку. Тотчас появились расстроенные сэр Септимус, его жена и дочь, и Уимси заговорил с ними о погоде и политике.

Мало-помалу собрались все, но никто ни слова не сказал о жемчужинах до конца завтрака. Зато потом Освальд Трюгуд сразу же взял быка за рога:

— Ну, как наш детектив? Вы уже все знаете, Уимси?

— Не все.

Сэр Септимус откашлялся и произнес речь:

— Это ужасно утомительно и неприятно. Хм-м. Придется, боюсь, обратиться к полиции. А тут еще Рождество. Хм-м. Не могу видеть всю эту мишуру.— Он махнул рукой слугам.— Уберите все. Чепуха какая-то. Хм-м. Сожгите.

— А мы так старались,— проговорила Джойс.

— Не стоит, дядя,— сказал Генри Шейл.— Не расстраивайся. Они найдутся.

— Позвать Джеймса? — спросил Уильям Норгейт.

— Нет,— ответил Джордж Комфри.— Мы сами справимся. К тому же надо чем-то заняться.

— Правильно,— поддержал его сэр Септимус.— Начнем прямо сейчас. Видеть это не могу.

Он схватился за ветку падуба, с треском сломал ее и бросил в огонь.

— Ага! — воскликнул Ричард Деннисон и, вскочив на стол, сорвал с лампы ветку омель.— В огонь ее!

— Неужели вам не жалко? — воскликнула мисс Томкинс.— Новый год еще не наступил!

— Не жалко! Все сорвем. И с лестницы тоже. И в гостиной!

— Разве она не заперта? — спросил Освальд.

— Нет. Сэр Питер сказал, что жемчужин там нет, поэтому ее отперли. Правильно, Уимси?

— Правильно. Клянусь своей репутацией, их там нет.

— Ну что ж,— сказал Комфри.— Тогда за дело! Лавиния! Ты и Деннисон занимаетесь передней гостиной, а я — задней. Давайте кто быстрее.

— Но ведь до приезда полиции нельзя ничего трогать,— откликнулся Деннисон.

— К черту полицию! — вскричал сэр Септимус.— Зачем им ветки?

Освальд и Маргарита, смеясь, снимали гирлянды с лестницы. Уимси, стараясь не привлекать к себе внимание, ушел в другую гостиную, где работа тоже кипела вовсю. Джордж поставил двадцать шиллингов против шести пенсов, что опередит Лавинию и Деннисона.

— Не помогайте,— сказала Лавиния, обращаясь к Уимси.— А то будет нечестно.

Уимси ничего не ответил, но дождался, когда они закончат, а потом что-то прошептал сэру Септимусу на ухо, и тот, догнав Джорджа Комфри, положил ему руку на плечо.

— Лорд Питер хочет с тобой поговорить, мой мальчик.

Комфри с неохотой подчинился.

— Мистер Комфри,— сказал Уимси,— думаю, вы это не смогли найти.

И он протянул ему на ладони двадцать одну жемчужину.

— Изобретательно, очень изобретательно, правда, можно было бы и проще,— сказал Уимси.— Но ему не повезло, потому что вы, сэр Септимус, не вовремя вспомнили о жемчужинах. Он ведь рассчитывал, что пропажу не заме-

тят, пока не начнется игра в «прятки». Тогда жемчужины могли бы быть в какой угодно комнате, и мы бы не стали запираť дверь гостиной. Он все продумал заранее и поэтому принес булавку. А тут еще мисс Шейл сняла колье, что-бы оно ей не мешало. Неслыханная удача.

Он ведь уже бывал на ваших рождественских праздниках и отлично знал, что вы ни за что не пропустите игру в «зверь, овощ и камень». Значит, у него было не меньше пяти минут, тогда как ему всего-то надо было разрезать нитку, сжечь ее в камине, нанизать жемчужины на булавку и воткнуть булавку в ветку омелы. Правда, ветка под самым потолком, но есть стеклянный столик, на котором не останется следов, да и кому придет в голову осматривать ветку в поисках лишних ягод? Я бы ни за что до этого не додумался, если бы не нашел обретенную булавку. Тогда я понял, что жемчужины уже не на нитке. Остальное просто. Ночью я снял их с омелы. Вот они. Представляю, какой Комффри получил сегодня удар!

Что он тот человек, которого мы ищем, я понял, когда он предложил нам самим снять ветки и украшения со стен и отправился в заднюю гостиную. Мне только жаль, что я не видел его лица, когда он полез за омелой и не нашел жемчужин.

— И вы до всего этого додумались, когда нашли булавку? — спросил сэръ Септимус.

— Да. Я понял, где спрятаны жемчужины.

— Но вы ни разу не посмотрели наверх.

— Они отражались в полу, и я как раз подумал, до чего же ягоды омелы похожи на жемчужины.

Кэтрин МЭНСФИЛД

ЯД

Почтальон запаздывал. Когда мы вернулись, писем еще не было. — *Pas encore, Madame,* — пропела Аннет и убежала в кухню.

Мы вошли со свертками в столовую, где нас уже ждал ланч. Как всегда, вид стола, накрытого на двоих и совершенного в своей завершенности, ибо за ним не было места третьему, привел меня в состояние нервного возбуждения, словно, пролетев над белой скатертью, сверкающей бокалами и округлой вазой с фрезиями, в меня ударила серебряная молния.

— Черт бы побрал этого старика! Ну, что могло с ним случиться? — воскликнула Беатрис. — Милый, положи это куда-нибудь.

— Куда?..

Повернувшись ко мне, она чарующе улыбнулась.

— Куда-нибудь... Не знаю.

Зато я отлично знал, что не в моей власти угодить ей, поэтому предпочел бы простоять месяцы и годы, не выпуская из рук бутылку ликера и конфеты, нежели рискнуть и нанести даже едва ощутимый удар по ее совершенному чувству порядка.

— Ну, ладно. Давай мне. — Она положила на стол свертки, свои длинные перчатки, поставила корзинку с фигами. — Стол, накрытый для ланча... Рассказ... Не помню чей. Кто его написал?... — Она взяла меня под руку. — Пойдем лучше на террасу. — Я заметил, что она вся дрожит. — *Ca sent,* — произнесла она едва слышно, — *de la cuisine...*

Мы уже два месяца жили на юге, но я только недавно заметил, что она каждый раз переходит на французский, стоит ей заговорить о погоде, еде или о нашей любви.

Мы присели на перила под навесом, и Беатрис, изогнувшись, стала глядеть вниз на белую дорогу меж двух рядов кактусов. Прелесть ее ушка, всего-навсе-

го одного ушка, его красота была столь ошеломительна, что оторваться от его созерцания я смог лишь для того, чтобы посмотреть вниз на необъятное сверкающее море и пролепетать неслышно:

— Ах, какое ушко... Самое-самое...

Она была в белом платье, которое украшали лишь нитка жемчуга и букетик ландышей, приколотый к поясу. На среднем пальце левой руки поблескивало кольцо с жемчужиной. Обручального кольца она не носила.

— Зачем, mon ami? Зачем нам притворяться? Кого это интересует?

Конечно же, я соглашался с нею, хотя отдал бы душу, чтобы стоять с ней в большом, непременно большом и модном соборе, и чтобы там собралось много народу и было много старых священников, и хор пел «Голос, коему внимал Эдем», и мы соединили руки, и пахло духами, а потом были бы красный ковер, и конфетти, и свадебный пирог, и шампанское, и белая атласная туфелька... если бы мне удалось надеть ей на палец обручальное кольцо.

Дело не в том, что я в восторге от подобных представлений, просто я знал, что только таким способом смогу положить конец свободе — разумеется, ее свободе.

Боже мой! Какой ужасной пыткой было мое счастье! Каким невыносимым мучением! Я смотрел на дом, на окна нашей комнаты, укрытые зеленой соломкой, и думал о том, как она приходила ко мне в зеленом сумраке, улыбаясь своей неповторимой — слабой и всемогущей — улыбкой, предназначенной одному только мне. Теперь она обняла меня за шею и принялась ласково гладить по голове, внушая мне страх.

— Кто ты?

— Кто? Женщина.

...Это она поет в высоком окне за тюлевыми занавесками, когда в сиреновом сумраке первого теплого весеннего вечера зажженные фонари похожи на жемчужины и невнятное бормотание наполняет расцветающие сады. Это она поет в высоком окне за тюлевыми занавесками. Когда кто-то проезжает в лунном свете по незнакомому городу, это ее тень падает на переливчатое золото штор. Когда загорается лампа, это она в тишине проходит мимо двери. И это она, бледная, закутанная в меха, глядит на осенние сумерки из проезжающего мимо авто...

Короче говоря, мне было двадцать четыре года, и, когда она ложилась на спину, так что жемчужины скользили у нее по шее к подбородку, и со вздохом говорила: «Милый, мне хочется пить. Donne moi un orange», — я готов был не раздумывая броситься за апельсином даже в крокодилю пасть... Если бы в ней был апельсин.

Хочу из перьев два крыла,
Чтоб малой птахой стать.

Так пела Беатрис.

— Ты не улетишь от меня? — спросил я, беря ее за руку.

— Если только недалеко. На дорогу.

— Зачем на дорогу?

— Он не идет...

— Кто? Старый дурак почтальон? Разве ты ждешь письмо?

— Нет. Но все равно это сводит меня с ума. — Неожиданно она рассмеялась и прильнула ко мне. — Вон там... Смотри... Видишь? Он похож на синего жука.

Щека к щеке, мы глядели на медленное восхождение синего жука.

— Милый, — шепнула Беатрис, и произнесенное ею слово, трепеща, повисло в воздухе, словно взятая на скрипке нота.

— Что?

— Не знаю! — весело рассмеялась она. — Прилив... Может быть, прилив любви?

Я обнял ее.

— Ты не улетишь?

— Нет! Нет! — с милой поспешностью проговорила она. — Ни за что на свете! Правда, нет. Мне здесь нравится. Нравится здесь жить. Наверно, я могла бы жить здесь долго-долго. Никогда не была так счастлива, как в эти два месяца. Милый, ты само совершенство!

— Полно! Ты как будто прощаешься со мной.

— Ах, нет, нет! Ты не должен так шутить. — Ее маленькая ручка скользнула под белый пиджак и легла мне на плечо. — Ты был счастлив? Скажи, был?

— Счастлив? Я счастлив? Боже мой! Если бы ты только знала, что я чувствую! Чудо мое! Моя радость!

Я спрыгнул с перил и подхватил ее на руки, а потом, держа Беатрис в объятиях и спрятав у нее на груди лицо, спросил чуть слышно:

— Ты моя?

В первый раз за все время, что мы были вместе, в первый раз за все месяцы, полные безнадежного ожидания, даже считая последний месяц райского блаженства, я совершенно поверил ей, когда она сказала:

— Твоя.

Скрип калитки и шаги почтальона разъединили нас. У меня вдруг закружилась голова, и я улыбнулся, чувствуя себя довольно нелепо. Беатрис направилась к плетеным креслам.

— Ты идешь? — спросила она. — Ты идешь за письмами?

Я... Право, я шел, но меня почему-то шатало, и, к счастью, Аннет оказалась проворнее.

— *Ras de lettres*, — крикнула она на бегу.

Наверное, отдавая мне газету, она удивилась моей веселой улыбке. Радость переполняла меня. Приблизившись к шезлонгу, в котором лежала моя любимая женщина, я подбросил газету в воздух и пропел:

— Писем нет, дорогая!

Помолчав, она медленно проговорила, снимая оберточную бумагу:

— Забыта жизнь, и жизнь меня забыла.

Бывают мгновения, которые можно пережить, только схватившись за сигарету, и тогда она становится даже не союзницей, а тайной подружкой, которая все знает и все понимает. Куришь и смотришь на нее... улыбаешься или хмуришь брови в зависимости от обстоятельств... глубоко затягиваешься и медленно выпускаешь дым... Для меня наступило как раз такое мгновение. Я подошел к магнoлии и, сколько хватило легких, вдохнул ее аромат. Потом я вернулся к Беатрис, чтобы вместе с ней просмотреть газету, но она отшвырнула ее от себя.

— Ничего нет, — сказала она. — Совсем ничего. Всего один процесс с отравлением. Муж то ли убил жену, то ли не убил, а двадцать тысяч человек прикованы к залу суда, и после каждого заседания два миллиона слов разлетаются по всей земле.

— Глупый мир! — воскликнул я, бросаясь в стоявший рядом шезлонг.

Мне не терпелось забыть о газете и возвратиться к тому мгновению, которое предшествовало появлению почтальона. Однако по ее голосу я понял, что ничего не получится. Что ж. Я готов был ждать, если понадобится, пятьсот лет, потому что теперь я знал...

— Не такой уж глупый, — возразила Беатрис. — Эти двадцать тысяч объединяет не только праздное любопытство.

— О чем ты, дорогая?

Господи, как же мне все было безразлично!

— О преступлении! — вскричала она. — Неужели ты не понимаешь? О преступлении! Они же как зачарованные. Больные люди, которые не могут оставить без внимания даже случайную фразу о своем недуге. Возможно, этот человек совсем не виноват, но зато они сплошь отравители. Ты никогда не задумывался, сколько людей гибнет от разных ядов? — Она даже побледнела от волнения. — Если супруги друг друга не травят... Супруги или любовники, все равно... Это исключение. О, ты не представляешь, — воскликнула она, — сколько яда

люди поглощают с чаем, с вином, с кофе! А сколько яда проглотила я сама, не подозревая... да и подозревая тоже... Это был риск! Если кто-то выживает, то лишь по одной причине.— Она рассмеялась.— Из страха отравителя перед смертельной дозой. Для нее нужны крепкие нервы. Однако рано или поздно неизбежное свершается. Стоит только один раз подсыпать чуточку яда, и назад пути нет. Это как начало конца. Ты согласен? Ты меня понимаешь?

Ответа она не ждала. Лежа на спине, она отколола от пояса ландыши и теперь держала их перед глазами.

— Мои мужья... оба... давали мне яд,— сказала Беатрис.— Первый почти сразу переборщил с дозой, зато второй был настоящим мастером своего дела. Он подсыпал мне яд понемножку, изредка, по-умному... пока один раз утром, проснувшись, я не ощутила, что все мое бедное тело до самых кончиков пальцев отравлено. Как раз вовремя!

Мне было отвратительно — особенно сегодня — спокойствие, с каким она говорила о своих мужьях, и я уже собрался остановить ее, как она печально воскликнула:

— Почему? Почему меня? Что я такого сделала? Почему меня убивали?.. Не иначе это сговор!

Я попытался ее утешить, сказал, что она слишком хороша для нашего ужасного мира... Слишком прекрасна... Слишком совершенна... Даже пошутил, что своей безупречностью она пугает людей.

— Ведь я не пытался тебя отравить.

Беатрис коротко рассмеялась и прикусила стебелек ландыша.

— Ты?! — изумилась она.— Да ты и мухи не обидишь!

Почему-то меня это задело. Но тут прибежала Аннет с аперитивами, и Беатрис, привстав, подала мне бокал, блеснув жемчужиной на жемчужном пальчике, как я его называл. Разве я мог на нее сердиться?

— А ты,— спросил я, беря у нее из рук бокал,— ты ведь тоже никого не отравила?

Тут мне в голову пришла мысль, которой я поспешил поделиться с Беатрис.

— Ты поступаешь иначе. Правда, я не знаю, как назвать тех, кто не только не убивает людей, а, наоборот, своей красотой дарит жизнь всем... почтальону, лодочнику, кучеру, цветочнице, мне...

Она задумчиво улыбнулась и так же задумчиво поглядела на меня.

— О чем ты грезишь, прекраснейшая из прекраснейших возлюбленных?

— Ты пойдешь после ланча на почту? Прошу тебя, милый. Право, я ни от кого ничего не жду... Но ведь глупо, если письма есть, не забрать их. Зачем ждаты до завтра? Ужасно глупо.

Склонив набок очаровательную головку, она крутила в пальцах стебелек ландыша, а я поднес бокал к губам и стал пить... нет, смаковать вино, не отрывая глаз от темной головки и размышляя о почтальонах, и о синих жуках, и о расставаниях, которые не настоящие расставания, и о...

Боже милостивый! Неужели у меня настолько разыгралось воображение? Нет, это не игра воображения! У вина, которое я пил, был необычный горьковатый привкус...

Роберт ГРЕЙВС

ОН ПОШЕЛ КУПИТЬ НОСОРОГА

—...очень разумный и очень тихий молодой человек,— закончила свой рассказ миссис Тиссер.— И всегда вовремя платил за комнату. Я считаю, он был не в себе...

— Свидетельнице не задавали вопрос о психическом состоянии потерпевшего,— перебил ее секретарь.— От нее требуются только факты.

— Миссис Тиссер,— вмешался коронер,— вам не задавали вопрос о психи-

ческом состоянии потерпевшего. От вас требуются только факты. Присяжные хотят как можно больше узнать о поведении покойного Ангуса Гамильтона Тигха в последний день его жизни.

Однако миссис Тиссер не так-то легко было сбить с толку.

— Ваша честь, поведение молодого джентльмена подтверждает, что он был не в себе.

— Объясните, пожалуйста,— уступая, потребовал коронер.

— Ваша честь, он вел себя очень странно. За завтраком, когда я поставила перед ним поднос, он сказал: «Миссис Тиссер, всю жизнь я поступал неправильно. Всегда открывал рот вместо того, чтобы закрывать его». О, я очень долго молила Господа, чтобы он заговорил об этом, потому что несчастный молодой человек храпел, как свинья. И я сказала: «Мистер Тигх, очень рада услышать это от вас. Запишитесь на прием к доктору Торну. Он прооперирует ваш нос, и вам никогда больше не придется мучиться». «Но мне же нравится,— возразил он, сверкая глазами.— Вся система оживает. К тому же нет ничего дешевле. Все равно что сидеть на солнышке или расчесывать волосы. Вы согласны?»

Мы все мрачно переглянулись, а миссис Тиссер тем временем продолжала:

— Я сказала, что не согласна и что уменьшу квартирную плату на шиллинг в неделю, если он избавится от своего ужасного недостатка. А он рассмеялся, прямо скажу, дьявольски расхохотался, и я ушла. Никогда еще он не позволял себе насмешек надо мной. Я, правда, всерьез не обиделась, но его поведение в то утро было необычным.

— Миссис Тиссер, вы свидетельствовали, что ваш разговор состоялся сразу после восьми часов. Вы еще видели мистера Тигха в то утро?

— Видела, ваша честь, минут через пять. На лестнице. Он показался мне очень взволнованным. Сказал, что идет покупать сияние и теперь все будет делать правильно. «Сияние?» — переспросила я, подумав, что ослышалась. «Ну, носорога, если вам это больше нравится, миссис Тиссер»,— ответил он со злоеющей усмешкой.

— Что было потом?

— Ваша честь, минут через десять — пятнадцать он вихрем взлетел по лестнице, а еще через полминуты я услышала странный звук, как будто в гостиной что-то взорвалось. Потом я увидела, как он выбежал в открытую дверь, одним прыжком пересек коридор, ворвался в спальню, а там напрямиком на балкон. Я закричала и постаралась побыстрее спуститься по лестнице.

— Благодарю вас, миссис Тиссер. Этого довольно. Остальное и так понятно. Мы осмотрели стеклянную дверь и повреждения на перилах балкона. Последний вопрос, миссис Тиссер. Вам что-нибудь известно о личной жизни вашего жильца?

— Если вы желаете знать, не водил ли он к себе молодых женщин, то не водил, ваша честь. В этом отношении он был на редкость приличным молодым человеком. Его занятия медитацией, как он сам говорил, заменяли ему «родителей, детей и жену тоже». Вот только...

— Мы вас слушаем, миссис Тиссер.

— Однажды вечером он признался мне в любви к даме, с которой ни разу не виделся. Она как будто целиком завладела его сердцем. Поначалу я решила, что это какая-нибудь кинозвезда, но он сказал, что не имеет ни малейшего представления о том, как она выглядит, и не понимает ни единого ее слова. Тогда я в первый раз усомнилась в его здравомыслии. А неделю назад я убирала в его комнате и случайно наткнулась на письмо. Я прочитала первую строчку: «О, моя дивная Има!» Воспитание не позволило мне читать дальше. Я и сейчас не понимаю, как получилось, что я... Полагаю, он ее придумал. Один раз он ездил в Лондон и вернулся, сияя от счастья. «О, вы не поверите, миссис Тиссер!» — воскликнул он. Я спросила: «Вы говорите о даме?» И он ответил: «Миссис Тиссер, я провел с ней целый вечер». «Вы наконец встретились?» «Духовно»,— сказал он.

После миссис Тиссер мы выслушали еще нескольких свидетелей, которые говорили о состоянии здоровья Ангуса Гамильтона Тигха, но так и не смогли

прийти к каким-нибудь определенным выводам. Он не переутомлялся, у него не было финансовых затруднений, его не шантажировали. Доктор Торн не пользовал его ни от чего серьезнее вывихнутой лодыжки. Среди студентов-медиков он не завел себе друзей, а близкие родственники жили в Канаде.

Потом мы удалились в совещательную комнату. Поскольку мы не сомневались, что миссис Тиссер не толкала его с балкона, то сочли необходимым поберечь чувства семьи и к очевидному вердикту «самоубийство» приписали «в помрачении рассудка».

С нами не согласился только мистер Пинк, бывший химик. Потребовав тишины, он твердо заявил:

— Дамы и господа, думаю, у нас есть все основания перечеркнуть этот вердикт. Начнем с того, что у меня нет помрачения рассудка, хотя я тоже люблю, нет, обожаю великую перуанскую певицу Иму Сумак и никогда ее не видел. И по-испански не понимаю ни слова. Ни у кого нет такого голоса! Целых пять октав, и в каждой он звучит чисто, как колокол. Бедняжка Тигх! У меня редкая коллекция ранних записей Имы, которые, несомненно, доставили бы ему огромное удовольствие. Если бы я только знал, что он разделяет мою любовь к ее гениальному голосу!

И еще одно соображение, которое гораздо важнее для нашего дела. Когда мы осматривали труп, я обратил внимание на побелевшую правую ноздрю.

Мы все уставились на него, ничего не понимая, а он продолжал:

— В посмертное заключение, на мой взгляд, вкралась ошибка. Там речь должна идти не о сиянии, а о чихании, и не о носороге, а о носорожке, если изъясняться языком табачника Хэкетта в Холодной Гавани, который до сих пор торгует ими. Полицейские легко выяснят, что в восемь пятнадцать Тигх побывал у табачника. Покупка наверняка у него на письменном столе. А на столике возле кровати я обнаружил знакомую книгу по физиологии. Найдите в оглавлении «чихание» и, открыв нужную страницу, вы прочтаете примерно следующее:

«ЧИХАНИЕ: рефлекс верхних дыхательных путей, причиной которого является раздражение нервных окончаний в слизистой оболочке носа или сильное раздражение светом зрительного нерва. Человек, который чихает, делает глубокий вдох, потом сжимает губы, отчего легочная мокрота с силой вылетает через нос».

Я помню, какое впечатление на меня произвел этот отрывок много лет назад, когда я учился в колледже. Я сказал себе почти так же, как покойный Тигх: «Всю свою жизнь я поступал неправильно. Вместо того чтобы закрывать рот, я его открывал». В следующий раз, едва я почувствовал щекотание в носу, я крепко сжал зубы и — о ужас! — пролетел по комнате как камень, выпущенный из пращи. К счастью, у нас не было балкона. Но я пребольно ударился об угол камина. Позвольте мне заявить, что Ангус Гамильтон Тигх умер мучеником медицинского эксперимента. Он не более желал покончить с собой, чем я когда-то.

Итак, мы вынесли вердикт «Смерть в результате несчастного случая» с частным определением в адрес нюхательного табака, вызывающего чихание, что, думаю, совершенно безразлично широкой публике.

Перевод Л. ВОЛОДАРСКОЙ



Юрий БУРТИН

Три Ленина

НЭП В СВЕТЕ ТЕОРИИ КОНВЕРГЕНЦИИ

9

И в октябре 17-го, и во время гражданской войны у Ленина было множество приверженцев (как и противников, конечно). Однако никогда звезда его не стояла так высоко, как в последние три года его жизни — в период нэпа и в самой непосредственной связи с ним. Вот всего два характерных свидетельства — из разных идеологических сфер. Из них одно относится к деревне, другое к городу, но суть одна и та же.

Первое — признание Троцкого, сделанное на одном из закрытых партийных совещаний, в апреле 1923 года, вскоре после того, как Ленина окончательно разбил паралич. «...Нужно было сообщить об ухудшении его здоровья. Мы (Политбюро.— **Ю. Б.**) спрашивали себя с естественной тревогой, какие выводы сделает беспартийная масса, крестьянин, красноармеец, ибо крестьянин в нашем государственном аппарате верит в первую голову Ленину. Помимо всего прочего, Ильич есть великий нравственный капитал госаппарата во взаимоотношениях между рабочим классом и крестьянством. Не подумает ли крестьянин, спрашивали себя многие в нашей среде, что с длительным отстранением от работы Ленина переменится его (госаппарата.— **Ю. Б.**) политика?» (Л. Д. Троцкий. К истории русской революции. М., 1990, с. 240).

Второе — о реакции в массах на смерть Ленина — принадлежит уже цитированному Н. Валентинову: «Мой антикоммунизм ни при каких условиях не может сделаться из меня лжесвидетеля. Я должен сказать, что, если взять, например, Москву, огромная масса ее населения к смерти Ленина отнеслась, несомненно, с печалью, с чувством какой-то важной утраты. Я не говорю о коммунистической партии... Но печаль... чувствовалась в рабочей среде, среди мелких служащих и части беспартийной интеллигенции, с введением НЭПа ставшей активно работать в советском аппарате; НЭП, новая экономическая политика, удалявшая удушающие страну порядки военного коммунизма, создала симпатию к Ленину в слоях, далеко стоящих от какой-либо политики» (с. 143—144). Тут же о себе самом: «...Ленин последнее время был для меня больше всего смелым зачинателем НЭПа, человеком 1921 г., а не человеком 1917 г., захватившим власть, разогнавшим Учредительное собрание...» (с. 145).

Как явствует из этих выдержек, скорбь, охватившая в те дни страну, не заключала в себе ничего иррационального; она лишь удостоверяла, что выход из всеобъемлющего кризиса, в который ввергли Россию гражданская война и политика «военного коммунизма», был найден Лениным правильно, что страна пошла в исторически верном направлении, что уже за первые полтора-два года своего осуществления новая экономическая политика достигла впечатляющих успехов в восстановлении народного хозяйства и была одобрена подавляющим большинством населения.

Но вот тут-то и возникает вопрос: почему при всем том век нэпа оказался столь коротким?

Сказались объективные трудности, обусловленные тяжестью исходного состояния экономики? Да, они были поистине громадными. Слабо урбанизированная, в основном мелкокрестьянская страна (свыше 80 процентов населения — в деревне), отсталое, низкопродуктивное и низкотоварное сельское хозяйство на базе совершенно примитивной техники. Промышленность, в том числе крупная (угледобыва-

ющая, металлургическая, машиностроительная), есть, но ее удельный вес в экономике незначителен, к тому же вследствие войны и разрухи уровень промышленного производства составляет при переходе к нэпу лишь одну пятую-одну четвертую довоенного. В результате — резкая диспропорциональность народного хозяйства, неспособность промышленности удовлетворить даже минимальные бытовые и производственные потребности деревни, возвращающая ее к первобытному натуральному хозяйству. Ко всему прочему вследствие упадка промышленности и обусловленной им безработицы поток избыточного сельского населения в город замедлен, а процесс дробления наделов, наоборот, ускорен, что обещает в недалеком будущем возврат к безземелью и дальнейшее ухудшение общеэкономической ситуации. Как же двигаться с такими гирями на ногах да еще в условиях почти полной политической и экономической изоляции советской республики?

Все это так, но ведь благодаря введению нэпа что-то уже стронулось, процесс восстановления народного хозяйства пошел весьма быстрыми темпами. Почему бы ему в том же направлении не развиваться и дальше, постепенно распространяясь на все более капиталоемкие отрасли?

Правда, некоторые историки народного хозяйства (в частности, известный экономист Г. И. Ханин в статье «Почему и когда погиб НЭП» — «ЭКО», Новосибирск, 1989, № 10) высказывают обоснованные сомнения в утверждениях официальной статистики, что восстановительный период закончился уже к середине 20-х годов, — по их расчетам это произошло много позже. Указывают и на то, что с переходом от реанимации прежних производственных мощностей к новому строительству темп развития не мог не замедлиться. Но и приняв все это во внимание, мы еще не видим причин, чтобы названные трудности должны были стать для новой экономической политики непреодолимыми.

Тогда, может быть, дело в преемниках Ленина, в том, что они уклонились от того курса, который он проводил в 1921—1922 годах, либо, напротив, оказались беспомощными, слепыми догматиками, не способными скорректировать этот курс соответственно изменившимся обстоятельствам?

Опять-таки нет, ни то, ни другое. На протяжении большей части 20-х годов новая экономическая политика остается официальной политикой РКП — ВКП(б), и нельзя не признать, что общее ее направление вполне совпадает с тем, какое она получила при Ленине. С другой стороны, и в несамостоятельности, безынициативности его преемников тоже не упрекнешь. Как отмечает современный автор, «уже первые три-четыре года осуществления новой экономической политики продемонстрировали исключительный динамизм экономических процессов в стране, постоянный поиск оптимальных путей организации системы управления народным хозяйством, непрерывное изменение уже найденных форм с целью их приспособления к новым условиям хозяйствования» («Хозяйственный механизм новой экономической политики», с. 52).

Конечно, совершались и ошибки (кто же их не делает!), подчас вызывавшие весьма острые кризисные явления: «ножницы цен» в 1923 году, товарный голод в 1924—1925-м, срывы в хлебозаготовительной кампании 1927—1928 годов. Но все такие промахи, как и негативные их последствия, не были столь непоправимыми, чтобы объяснить падение нэпа.

Что остается? Злая воля коварного и жестокого властолюбца Сталина, сметавшая на своем пути любые преграды? Да, и этот фактор не сбросишь со счетов, особенно если иметь в виду резкость и неожиданность прекращения нэпа. Но, чтобы эта злая воля могла достичь своих целей, одной ее явно недостаточно. Что-то должно было дать ей силу, на что-то она должна была опереться.

Все три объяснения — как порознь, так и в совокупности — могут быть приняты лишь как частичные, как дополнительные к чему-то главному. К чему именно? Главной и решающей причиной недолговечности нэпа стали, на мой взгляд, некоторые органические пороки той модели нэповской системы, фундамент которой был заложен Лениным в 1921—1922 годах. Иначе говоря, в том, что Бухарин — помни-те? — назвал первым стратегическим планом Ленина. Таких основных пороков, не устранимых в рамках данной модели нэпа, я вижу три: один относится к экономике, другой — к идеологии, третий — к политическому строю.

Едва ли не центральной экономической проблемой 20-х годов была задача «социалистического накопления», то есть аккумуляции государством средств на нужды индустриализации, жизненная необходимость которой признается всеми течениями в большевизме — от Троцкого до Бухарина. Однако камнем преткновения в этом деле являлась наряду с нехваткой и изношенностью техники хронически низ-

кая производительность живого труда в государственном секторе народного хозяйства.

Известно, какое значение придавал повышению производительности труда Ленин. Тысячекратно цитировались его слова о том, что она — в последнем счете — самое главное для победы нового общественного строя. В 20-е годы этой проблемой неустанно занимаются все — от партийных деятелей, экономистов, социологов, специалистов по научной организации труда (работы А. Гастева и др.) до Маяковского, посвятившего ей одно из своих агитстихотворений:

Постоял здесь, мотнулся туда —
Вот и вся производительность труда,

заканчивавшееся призывом:

Рабочий, уничтожь гульбу и простой!

И что же в итоге? По расчетам Г. И. Ханина, в конце 20-х годов «годовая производительность труда снизилась на 23% по сравнению с 1913 г.» («ЭКО», 1989, № 10, с. 71).

Тут получался замкнутый круг: низкая производительность труда оборачивалась высокой себестоимостью продукции, а та, в свою очередь, съедала ожидаемые накопления, которые могли бы пойти на техническое перевооружение промышленности. Поднять же производительность мешала незаинтересованность работника и всего предприятия в количестве, качестве и дешевизне продуктов производства. Заинтересованности же не было не по каким-то частным и случайным причинам: ее отсутствие определялось такими фундаментальными обстоятельствами, вытекавшими из самой сути социалистической революции, как устранение полноценного, ответственного собственника, частного или коллективного, отключение или значительное ограничение, даже при нэпе, рыночных стимуляторов экономической эффективности.

Все это имело и аспект политический. Ведь стратегия новой политики базировалась на презумпции, что в соревновании с частником госсектор не только не проигрывает, но обязательно будет теснить его и ассимилировать. Низкая производительность труда и высокие издержки производства делали госсектор неконкурентоспособным, а его политическую задачу невыполнимой.

Словом, ситуация вновь складывалась драматическая: выведя Россию из того отчаянного положения, в каком она находилась по окончании гражданской войны, новая экономическая политика оказывалась, однако же, недостаточной, чтобы открыть для страны ясную перспективу модернизации и экономического роста. В значительной мере отсюда — ожившие в середине 20-х годов сомнения в том, можно ли не только строить, но и построить социализм в отдельно взятой (к тому же слаборазвитой) стране, без поддержки ее со стороны задержавшейся мировой революции. Подловив на таких «капитулянтских» нотках своих основных соперников в борьбе за власть, Сталин с блеском разделался с ними, но проблема выхода из нового тупика от этого не стала более легкой. Выход, конечно, был возможен, но... ценой отказа от принятой в 1921—1922 годах модели нэпа.

Другой коренной порок заключался в самой идеологии новой экономической политики, включая исходный ленинский замысел. Здесь пора обратить внимание на то, что идеология эта, выраженная в «генеральной линии партии», была чрезвычайно противоречивой.

С одной стороны, ее краеугольными камнями были несколько идей, по-прежнему представлявшихся большевикам аксиомами. Непреложным считалось, что социализм исторически выше капитализма. До «коренной перемены всей точки зрения на социализм» это убеждение разделял и Ленин. Соответственно государственная («социалистическая») собственность выше частной, государственный сектор экономики прогрессивнее частного. Поскольку «рост госхозяйства есть рост социализма» (Бухарин, 1925 г.), государственная промышленность — естественный фаворит советской власти, которого любой ценой нужно питать и поддерживать — хотя бы и за счет других секторов народного хозяйства.

В том же духе решалась важнейшая для эпохи нэпа проблема соотношения плана и рынка. Плановое регулирование хозяйства (не исключавшее прямых административных воздействий) признавалось единственно соответствующим принципам социализма, рынок же как форма связи между производителями считался явлением низшего порядка. Последнее относилось и к товарно-денежным отношениям вообще: представление «о грядущем бестоварном социализме» настраивало на необходимость целенаправленно их «преодолевать» (см. «Нэп и хозрасчет», с. 23).

Все это, повторяю, с одной стороны. А с другой — те же самые большевики, наученные горьким опытом «военного коммунизма», вынуждены были отдать себе отчет в том, что в предложенных им конкретных обстоятельствах места и времени аксиомы марксизма непосредственно не работают, более того, заводят в тупик. Надежды на оживление хозяйственной жизни и дальнейший экономический рост им пришлось связывать прежде всего с «несоциалистическими» факторами: с частником, с рыночной конкуренцией, с товарно-денежными отношениями на основе твердого, золотого рубля.

Отсюда — лежащая в основе новой экономической политики идея временного и ограниченного «допуска» частного производства и капитала, коммерческого расчета во взаимоотношениях государственных предприятий не только с частным сектором, но и между собою. Идея, безусловно, здравая, давшая немедленный и спасительный эффект, однако насквозь противоречивая, непоследовательная, а потому в долгосрочном плане бесперспективная.

Лучше всего это можно видеть на отношении государства к частному капиталу. Частник «допущен», но допущен заведомо временно и не как суверенный участник экономической жизни. Отношение к нему властей все более напоминает отношение в семье к нелюбимому пасынку, которого до времени терпят в доме, но на каждом шагу демонстрируют желание поскорее сбить его с рук. «В конкретной обстановке 20-х годов наименование «частное предприятие» превратилось в своего рода «клеймо» социальной неполноценности, по отношению к обладателю которого господствовавшая доктрина предписывала: временное допущение, борьбу и постепенное вытеснение... таким образом в самой своей постановке наглухо закрывая перед частным предпринимательством всяческие перспективы» («Историческое значение нэпа». Сб. статей. М., 1991, с. 46). Зная, что в любой момент его могут и прихлопнуть, «нэпман» действует преимущественно в сфере торговли, где его деньги могут вернуться к нему быстрее, и боится вкладывать их в производство, хотя как раз ради этого он в основном и был «допущен» (см.: Ю. Ларин. Частный капитал в СССР. М.-Л., 1927; И. Г. Мингулин. Пути развития частного капитала. М.-Л., 1927).

То же и с рынком: объявлены коммерческий расчет, хозяйственная самостоятельность трестов и синдикатов, свобода торговли, но свобода эта изначально мыслится как относительная и далеко не полная. Потребовалось совсем немного времени, чтобы после кризиса сбыта 1923 года она оказалась в значительной мере урезанной: «принудительными ценами было охвачено большинство продуктов производства» («Нэп и хозрасчет», с. 19). Однако рынок на базе принудительных цен — это вовсе не тот рынок, который способен стимулировать экономический рост, высокую эффективность общественного производства, во имя чего его опять-таки и «допустили».

Противоречивость партийной идеологии нэпа предопределила ее неизбежное раздвоение, а тем самым и идейное расщепление самой партии, в которой уже при Ленине стали складываться две противоборствующие тенденции — «правая» и «левая». Обе признавали необходимость нэпа, но весьма сильно разошлись между собой как в его теоретической интерпретации, так и в своих предпочтениях и акцентировках. Первая положила во главу угла то новое, специфическое, что отличало нэп от «военного коммунизма». Вторая делала упор на «аксиомах» классического марксизма, верности традициям большевизма и духу Октября. Первая брала свое начало преимущественно в «Ленине № 2», который хоть и был первоисточником упомянутой двойственности, тем не менее уже в первые месяцы нэпа все более явно клонилась «вправо». Напротив, сторонникам второй тенденции был ближе октябрьский Ленин, а в нэповском — то, что было общим для них обоих.

Несмотря на то что до конца 20-х годов генеральная линия партии в значительной мере совпадала с позицией «правых», последовательных приверженцев этой позиции было немного. Рассказывая о своих разговорах с А. И. Свидерским, в 1921 году занимавшим пост заместителя наркома земледелия, Н. Валентинов отмечает: «Когда я указал ему, что у меня такое впечатление, что в партии не все охотно идут за Лениным, Свидерский стал объяснять, что, в сущности, дело обстоит много хуже, ибо мало кто с Лениным вполне согласен... Полностью согласны с ним, может быть, только Красин и Цюрупа; все другие или молчат, или упираются» (с. 67). Стоит отметить, что на первом без Ленина, XII съезде партии Л. Б. Красин (до 1923 года нарком внешней торговли, затем полпред и торгпред СССР в Англии) оказался чуть ли не единственным «мальчиком для битья». По его адресу прозвучало примечальное обвинение (в речи Л. Б. Каменева, входившего вместе с Зиновьевым и Сталиным в триумvirат, фактически заправлявший тогда в Политбюро): «...Красин сказал сме-

лую, блестящую речь, которая есть, по-моему, политический манифест тех товарищей, которые из всей нашей политики поняли и приняли только НЭП. Вот центр тяжести речи тов. Красина. (Голоса: «Правильно!»)» (XII съезд РКП(б). Бюллетени. М., 1923, с. 116).

К категории «правых коммунистов» Валентинов относит также наркома финансов Г. Я. Сокольникова, в 1922—1923 годах давшего стране твердый рубль (который, правда, оставался таковым недолго. См.: Г. И. Ханин, с. 82), и особенно Ф. Э. Дзержинского. Грозный шеф ВЧК характеризуется им на посту председателя ВСНХ как «неоспоримо правый, даже самый правый коммунист», покровитель «буржуазных» специалистов, радетель крестьянских нужд, последовательный защитник частного капитала и торговли, человек, который, «проживи он еще десяток лет», непременно «кончил бы жизнь с пулей в затылке в подвалах Лубянки» (с. 166). К той же категории принадлежали Бухарин, главный после Ленина теоретик и пропагандист нэпа, А. И. Рыков, М. П. Томский и другие убежденные сторонники «генеральной линии», из которых в 1929 году Сталин сформирует так называемый «правый уклон».

Противоположный фланг представлен был прежде всего Троцким, при Ленине вторым человеком в партийно-государственной иерархии. На том же XII съезде он пугал делегатов «рыночным дьяволом», «опасностью оказаться захлестнутыми рынком» и утверждал: «Мы новую экономическую политику завели для того, чтобы на ее основе подовать ее... расширяя плановое начало. Это плановое начало... надо распространить на весь рынок, поглотить его и уничтожить» (XII съезд РКП(б), сс. 226, 249—250). Со сходных позиций выступали, в частности, Е. А. Преображенский, теоретик неэквивалентного обмена между городом и деревней в интересах «социалистического накопления», и Г. Л. Пятаков, заместитель Дзержинского в ВСНХ и его постоянный антагонист. По словам Валентинова, «в глубине души никакого НЭПа Пятаков не признавал. НЭП он считал величайшей ошибкой» и с радостью предсказывал, что «никакой НЭП не остановит неминуемого превращения мужика в пролетария совхоза или колхоза» (сс. 160, 257).

Несколько позднее эстафету левацких взглядов приняли Зиновьев, Каменев и их сподвижники, требовавшие усиления классовой борьбы с нэпманом и кулаком. Эта тенденция, шедшая от гражданской войны и «военного коммунизма», была весьма сильна в партийных кругах и со временем только усиливалась. Вероятно, Сталин не слишком сгустил краски, когда в декабре 1925 года рисовал такую картину: «Если задать вопрос коммунистам, к чему больше готова партия — к тому, чтобы раздеть кулака, или к тому, чтобы этого не делать, но идти к союзу с середняком, я думаю, что из 100 коммунистов 99 скажут, что партия всего больше подготовлена к лозунгу: бей кулака. Дай только — и мигом разденут кулака. А вот что касается того, чтобы не раскулачивать, а вести более сложную политику изоляции кулака через союз с бедняком, то это дело не так легко переваривается» (XIV съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М., 1926, с. 48).

Что касается самого Сталина, чьим единственным мотивом в то время было устранение соперников в борьбе за власть, то «левых» он считает наиболее выгодным бить «справа», ссылаясь на позднего Ленина и успехи нэпа, а затем, когда приходит пора делиться со вчерашними союзниками — «правыми», стремительно «левет» и опять-таки прибегает к ссылкам на Ленина, только более раннего, 1918—1920 годов. При этом он опирается на выпестованную им партбюрократию, чье горячее желание «раздеть кулака» больше не сдерживает, а, наоборот, искусно разжигает.

Противоборство названных двух тенденций окрасило всю политическую атмосферу 20-х годов. Возможно, Ленин, вводя новую экономическую политику, догадывался о том, что двойственность ее идейной основы может иметь своим следствием раскол партии, и пытался его предотвратить. Не отсюда ли странное на первый взгляд совпадение: на X съезде РКП(б) по его докладам принимаются вроде бы разнонаправленные решения — о замене продразверстки налогом и о запрещении внутривнутрипартийных фракций? И не потому ли в конце жизни, предлагая новую версию нэпа, Ленин в своем «завещании» вновь с особым нажимом предостерегает свою партию от раскола?

Но вернемся к порокам первоначальной версии нэпа. Обусловленная противоречивостью его теоретической базы, внутривнутрипартийная борьба 20-х годов отличалась одной любопытной особенностью. Если в персональном плане «левые» регулярно проигрывают «правым», первыми теряют свои посты, потом партбилеты, а в недалеком будущем и головы, то в политическом плане они скорее выигрывают, ибо с течением времени сама «генеральная линия» ощутимо сдвигается влево, вбирает в себя идеи и умонастроения разбитых противников.

Общему поветрию поддается даже Бухарин. Как показывает С. Коэн, его герой, уступая давлению хозяйственных затруднений и господствующему в партии умонастроению, к концу 20-х годов заметно левеет, в его выступлениях начинают звучать, по существу, антинэповские нотки. В октябре 1926 года Бухарин объявил о важном изменении в официальной аграрной политике, проводившейся с 1925 года. Объясняя, что за последние два года «командные высоты» государства укрепились, что смычка с крестьянскими массами обеспечена, а кулачество социально «изолировано», он заявил, что стало возможным начать «наступление против кулака», чтобы ограничить его «эксплуаторские тенденции». «Его пересмотренная стратегия развития экономики в значительно большей степени строилась на вмешательстве государства, на более строгом контроле над частным капиталом...» Он предлагал «расширить «социалистический сектор», но одновременно продолжать эксплуатацию «полудружественного и полувраждебного или откровенно враждебного» частного сектора» (С. Коэн. Бухарин, сс. 311, 312, 313).

В результате частника зажимают все туже, с рыночных регуляторов все чаще соскальзывают на административные. «Государственная опека, администрирование сверху, слабость хозрасчетных стимулов на уровне входивших в тресты предприятий оборачивались бесхозяйственностью и низкой эффективностью... промышленности», что, «в свою очередь, приводило к новому циклу усиления административного вмешательства. И так по спирали до тех пор, пока в государственном секторе вместо рынка не воцарилась система, лишь внешне облеченная в стоимостные формы» («Нэп и хозрасчет», с. 22).

И тут со всей очевидностью обнаруживался третий важнейший порок реализовавшейся версии нэпа — глубокое противоречие между его экономической и политической системами.

В начальных разделах статьи мы характеризовали общественный строй, складывавшийся на основе нэпа как смешанный, доконвергентно-конвергентный тип социализма, сочетание конвергентного экономического базиса с доконвергентной политико-идеологической надстройкой. Сейчас пришло время обратить внимание на то, что это сочетание не могло быть гармоничным, равно как и на то, что указанные начала не могли просто соседствовать между собою: политика — отдельно, экономика — отдельно. Государство «диктатуры пролетариата» властно воздействовало на экономические процессы и отношения, деформируя их соответственно своей политической доктрине; обратное же воздействие было лишь опосредованным и намного более слабым.

Сказанное заставляет несколько уточнить и определение самой нэповской экономики. Конвергентность ее была, конечно, ограниченной, более того — в значительной (и возрастающей) степени условной. Направление — к конвергентной экономике — взято было в 1921 году правильно, но та **мера** конвергентности, которая была заложена в изначальном плане нэпа и которую могла позволить себе большевистская партия, оказалась совершенно недостаточной для прочности нового курса, для долговременного и устойчивого экономического прогресса.

В свою очередь, и в экономике (производительность труда), и в идеологии, и в политике мера эта определялась одним и тем же — неизжитым наследием «военного коммунизма». Мертвый хватал живого. Не преодолев это наследие, реализовавшаяся версия нэпа в себе самой носила и прорастивала семена своей собственной гибели. Сталину оставалось только выбрать подходящий момент и, провокационно обострив ситуацию, скомандовать аппарату: «Фас!»

Существовала ли альтернатива такому развитию событий?

В цитированной статье «Почему и когда погиб НЭП» Г. И. Ханин пронизательно замечает, что будущая гибель нэпа была предопределена еще в начале 20-х годов, когда был упущен «последний шанс» на основе «коренного пересмотра понятия социализма» придать совершающимся изменениям по-настоящему «радикальный характер» («ЭКО», 1989, № 10, с. 80). Правда, он, мне кажется, сильно преувеличил «идеологическое потрясение», вызванное «крахом военного коммунизма», и соответственно готовность партийной массы пойти на «коренной пересмотр» той идеи, во имя которой она взяла власть и за которую только что воевала. Крах этот был для многих отнюдь не очевиден. И что говорить о «коренном пересмотре», если даже переход к нэпу, поначалу сводившийся всего лишь к отмене продразверстки да

и в дальнейшем совершившийся как постепенный, многоэтапный (хотя и быстрый) процесс, оказался для значительной части партийных кадров столь сильным толчком, что трудно было устоять на ногах. Однако за вычетом этих неточностей в аргументации автор не прав только в одном: оставив вне поля зрения ленинское «завещание», он не обратил внимания на то, что попытка «коренного пересмотра» была-таки предпринята, и как раз в то время, о котором он пишет, притом не кем иным, как вождем большевистской революции. Предпринята, но, по существу, отвергнута созданной им партией. «Последний шанс» был упущен не случайно: именно в данной точке между Лениным и его соратниками образовался зияющий разрыв. Мы со школьной скамьи затвердили: «Партия и Ленин — близнецы-братья». Сейчас пора сказать: формула Маяковского неоспорима по отношению к Ленину Октября, лишь с очень большими оговорками применима к Ленину 1921—1922 годов и абсолютно неверна, если попытаться приложить ее к позднему Ленину. «Партия против Ленина» — так можно было бы озаглавить настоящий раздел статьи, выясняющий отношения между политическим завещанием Ленина и реальной политикой РКП — ВКП(б) начиная с 1923 года.

Более всего нас интересует здесь идеология нэпа, но сначала — о некоторых других проявлениях указанного противостояния.

Озабоченный тем, что «соблазн выступления в правительственную партию в настоящее время гигантский», чем вызывается быстрее ухудшение ее качественного состава, Ленин еще в марте 1922 года трижды обращается в Оргбюро ЦК с требованием ужесточить условия приема, а общую численность РКП(б) уменьшить до 300—400 тысяч человек. Руководство ЦК выполняет это требование «с точностью до наоборот». Еще любимый вождь не успел умереть, как XIII партконференция указывает, что «основной задачей в данной области является вербовка (!) новых членов», после чего за два года численность партии возрастает втрое (см.: О. Р. Лацис. Перелом. М., 1990, сс. 211—213). Таким образом, к XIV съезду, этому центральному событию внутривнутрипартийной борьбы 20-х годов, перед нами уже партия, на две трети изменившая свой состав.

Реакция партийной верхушки собственно на ленинское «завещание», на его важнейшие пункты еще более красноречива.

Возьмем для примера записку Ленина «О придании законодательных функций Госплану» (продиктована 27 декабря 1922 года, напечатана лишь 33 года спустя). Центральная ее мысль состоит в том, «чтобы решения Госплана не могли быть опрокинуты обычным советским порядком», то есть по произволению Политбюро или СНК, «а требовали для своего перерешения особого порядка, например, внесения вопроса на сессию ВЦИК. Выступая против «председательства в Госплане» кого-либо «из наших партийных вождей», Ленин выдвигал на первое место совсем другие критерии: «Я думаю, что во главе Госплана должен стоять человек с большим, многими десятилетиями измеряемым опытом практической работы в области либо техники, либо агрономии. Я думаю, что такой человек должен обладать не столько администраторскими качествами, сколько широким опытом и способностью привлекать к себе людей».

Направленная на повышение самостоятельности хозяйственных органов и специалистов за счет ослабления диктата «вождей», эта мера не встретила поддержки в партийном руководстве. Хотя пункт о Госплане был включен в резолюцию XIII партконференции, в ней не было даже намека на учет ленинских рекомендаций.

Поразительна история статьи «Как нам реорганизовать Рабкрин». Суть статьи — в предложении объединить высшие органы партийного и государственного контроля (ЦКК и Рабкрин), с тем чтобы объединенный контрольный орган наделен был правом следить за всеми действиями партийной олигархии, обуздывая ее всевластие и стремление окружить свою деятельность покровом тайны. «... члены ЦКК, обязанные присутствовать в известном числе на каждом заседании Политбюро, должны составить сплоченную группу, которая, «не взирая на лица», должна будет следить за тем, чтобы ничей авторитет, ни генсека, ни кого-либо из других членов ЦК, не мог помешать им сделать запрос, проверить документы и вообще добиться безусловной осведомленности и строжайшей правильности дел». Наряду с рекомендацией в три — пять раз увеличить число членов самого ЦК, преимущественно за счет «рядовых рабочих и крестьян», это была попытка (конечно, уже запоздалая, ограниченная, паллиативная) предотвратить превращение диктатуры партии в режим личной власти одного или нескольких «вождей».

Датированная 23 января 1923 года статья была в тот же день передана для публикации в «Правду». Но дальше с ней происходят удивительные вещи. По словам

Троцкого, подтверждаемым и другими источниками (см.: «Правда», 1988, 25 марта), редактор газеты Бухарин «не решился печатать статью Ленина, который со своей стороны настаивал на ее немедленном помещении». Крупской приходится обратиться за помощью к Троцкому. На созванном по его предложению заседании Политбюро «все присутствующие: Сталин, Молотов, Куйбышев, Рыков, Каменев, Бухарин — были не только против плана Ленина, но и против помещения статьи... Ввиду настоячивых требований Ленина о том, чтобы статья была ему показана в напечатанном виде, т. Куйбышев, будущий нарком Рабрина, предложил на указанном заседании Политбюро отпечатать **в одном экземпляре** специальный номер «Правды» со статьей Ленина, чтобы успокоить его...»: дескать «пусть парализованный старик воображает, что его произведение читают сотни тысяч людей» (Н. Валентинов, сс. 299—300).

Когда это издевательское предложение не проходит и статью все же решают печатать обычным порядком, она, во-первых, подвергается цензуре (в вышеприведенной выдержке вычеркнуто важное уточнение: «ни генсека, ни кого-либо из других членов ЦК»), а во-вторых, вслед за публикацией в губкомы партии летит специальное циркулярное письмо Политбюро и Оргбюро от 27 января 1923 года, разъясняющее, что статья Ленина — не более как дневниковые записи тяжело больного, плохо информированного человека, печатающиеся по его настоянию лишь для того, чтобы его не волновать (см.: Евгений Плимак. Политическое завещание В. И. Ленина. М., 1988, с. 69). Этот циркуляр, подписанный А. Андреевым, Н. Бухариным, Ф. Дзержинским, М. Калининным, В. Куйбышевым, В. Молотовым, А. Рыковым, И. Сталиным, М. Томским и, что всего удивительнее, самим Л. Троцким, то есть почти всеми членами тогдашнего высшего партийного руководства, — документальное свидетельство прямой конфронтации, в которую оно вступило со своим лидером.

Ленин создал эту партию, был ее мозгом и волей, ему она всем обязана, включая свою октябрьскую победу, и вот теперь «эпигоны и эпигончики, такая мелочь, как Калинин и Куйбышев» (Н. Валентинов, с. 299), решают или не допустить в печать его тревожные итоговые размышления. Он еще жив, тот же XII съезд желает ему скорейшего выздоровления, однако в партийных верхах его уже списали. Передавалась глумливая фраза «Ленину капут», якобы сказанная Сталиным в связи с мартовским параличом, и несколько более ранняя ленинская: «Я еще не умер, а **они**, со Сталиным во главе, меня уже похоронили». Теперь «ученики и соратники» озабочены главным образом тем, как наиболее благовидным образом «предложение Ленина **обезвредить**, сделать так, чтобы под покровом нескольких внешних изменений (увеличение членов ЦК и ЦКК)... всем по-прежнему продолжала командовать маленькая группка во главе с генеральным секретарем» (там же, сс. 300, 301).

Финал этой истории наступил очень скоро. Когда на XIV съезде, пытаясь вернуть партию к сути ленинского плана, Крупская выступила в пользу объективности ЦКК и ее независимости от Политбюро и ЦК, то услышала в ответ: «О какой независимости здесь говорят?» (Н. Янсон); «Мне думается, что Надежда Константиновна... должна отказаться от своего предложения «объективности» ЦКК» (Д. Лебедь); «Надежда Константиновна... говорила о демократии, об объективности, о беспристрастности, о товарищеской полемике, о спокойствии и т. д. Ну, знаете, немножко истрепаны эти слова о демократии... Я уже говорил о той маниловщине, которая сквозит в этих словах Надежды Константиновны» (С. Гусев); «Надежда Константиновна сказала, что не нужно было (ЦКК.— Ю. Б.) выставлять лозунга «объединения вокруг ЦК»... такая объективность и такая независимость не только должна быть признана нецелесообразной, но и самым решительным образом должна быть осуждена» (председатель ЦКК В. Куйбышев. XIV съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М., 1926, сс. 576, 601—602, 610, 625).

Наконец, вопрос о Сталине, столь важный для Ленина, что своему заявлению на сей счет он даже формально придал статус завещания — специального обращения к первому после своей смерти съезду партии. Предвидя, что сочетание «необъятной власти» генсека ЦК с его дурными личными качествами может получить в дальнейшем «решающее значение», Ленин рекомендует съезду «назначить на это место другого человека», который был бы «более терпим, более лоялен и более внимателен к товарищам». О, конечно, он не догадывается, что «грубость» и «капризность» — далеко не худшие из сталинских пороков, но и они представляются Ленину слишком опасными с точки зрения угрозы раскола партии, чтобы можно было ими пренебречь.

Выполняя волю покойного, Крупская в преддверии XIII съезда (май 1924 г.)

приносит «Письмо к съезду» в ЦК — и тут начинается цепь почти невероятных событий. Давно ли вся партийная верхушка над гробом «вождя мирового пролетариата» в слезах клялась в вечной верности его заветам? Однако вместо того, чтобы просто передать «Письмо» по принадлежности, включив его обсуждение и принятие соответствующего решения в формируемый порядок дня съезда, Политбюро, которому этот документ отнюдь не адресован, по сути дела, его перехватывает — самочинно берет на себя решение его судьбы. Обнаруживая высокое мастерство дворцовой интриги, правящая олигархия срочно собирает специальный пленум ЦК, который принимает постановление не выносить «Письмо» на обсуждение съезда, а ограничиться ознакомлением с ним по делегациям. То есть и в данном случае руководство партии вступает в прямую конфронтацию с Лениным, затыкает ему рот и посмертно.

Что же съезд? Ведь как бы то ни было это высшая партийная инстанция, правомочная отменить любое решение Политбюро и ЦК. Каждый делегат мог выступить и потребовать обсуждения столь судьбоносного для партии документа. Ничего подобного не происходит. Вслед за Политбюро съезд не пикнув кладет предостережение и рекомендацию Ленина под сукно. Аналогичным образом поступает и XIV съезд. Притом, если на XIII «Письмо к съезду» просто замалчивалось, то на XIV оно уже почти в открытую обстреливается в ряде выступлений. Сталин: «Да, товарищи, человек я прямой и грубый, это верно, я этого не отрицаю (Смех)». Гусев: «Теперь насчет «необъятной» власти Секретариата и генерального секретаря, о чем говорили здесь. Вопрос поставлен так же абстрактно, как он ставился годика два тому назад, когда впервые мы услышали эти слова о «необъятной» власти... Покажите хоть один факт злоупотребления этой властью». Куйбышев: «Тов. Сталину бросили обвинение в том, что он не может... объединить вокруг себя силы старой большевистской гвардии. Мне кажется, это есть совершенное извращение действительного положения вещей» (XIV съезд, сс. 499, 601, 628).

Между тем действительное положение вещей заключается в том, что худшие опасения Ленина начинают сбываться тотчас и в самой полной мере. Уже в 1923—1924 годах, до XIII съезда и на самом съезде, верхушка ЦК устраивает обстоятельную экзекуцию Троцкому, самонадеянно бросившему ей вызов; его критика внутрипартийного режима квалифицирована как «меньшевистский уклон». Год спустя, на XIV съезде, раскол партии становится совершившимся фактом; сталинское большинство ведет войну на уничтожение против ленинградской делегации, возглавляемой Зиновьевым, а также других своих активных оппонентов из состава ЦК. После того как Сталин при помощи Бухарина разделяется с Зиновьевым и Каменевым (заодно столкнув их лбами с Троцким), он уже полный хозяин положения и ему остается лишь поочередно добивать своих недавно могущественных соперников.

И опять-таки: единственным человеком, для которого последняя воля Ленина не пустой звук, оказывается только его вдова. На XIII съезде она выступает за прекращение «дискуссии» и против инквизиторских требований, чтобы «оппозиция» немедленно покалась с трибуны. На XIV берет слово трижды. Напомнив, что Ленин «с чрезвычайным волнением смотрел на судьбы нашей партии», и нарушая заговор молчания вокруг «специальных заметок, которые известны делегатам прежнего партийного съезда» (с. 671), она пытается остановить вакханалию — избивание новой «оппозиции». Ее поминутно перебивают издевательскими репликами, ей устраивают настоящую обструкцию. К следующему, XV съезду ВКП(б), где положение Сталина уже таково, что он сам инициирует ограниченную огласку ленинского «Письма», в числе полностью капитулировавших перед ним мы видим и Крупскую.

В этот момент Троцкий уже отправляется в ссылку, двое других исключены не только из Политбюро и ЦК, но и из партии. Затем очень скоро доходит черед и до Бухарина. В 30-е годы, за единичными исключениями, всю «ленинскую гвардию» Сталин уничтожит уже физически, после чего посланный им убийца раскроит ледорубом череп Троцкого. Но даже и это составит лишь малую часть той чудовищной цены, которую уплатит наш народ за нежелание партийной верхушки прислушаться к предостережениям своего вождя.

Правда, «единство партии» тем самым будет восстановлено, но это уже совсем не та партия да и не партия вовсе.

Если в данном контексте мы посмотрим, в каком реальном отношении находилась официальная идеология и политика середины и второй половины 20-х годов к той принципиально новой социально-исторической концепции, которая складывалась у Ленина в последние месяцы его жизни, всего полнее выразившись в статьях «О кооперации» и «Лучше меньше, да лучше», то увидим ту же картину. Никакой прямой полемики, наоборот, при случае изъявления всяческого почтения, но по су-

ти совершенная глухота. Положите мысленно рядом с этими статьями резолюции съездов и все другие официальные документы указанного периода — увидите совпадение в отдельных словах и деталях (будь то необходимость государственной поддержки кооперации или важность «культурной революции»), однако общий смысл, дух, целое там и тут различны до противоположности.

Там, где у Ленина «коренная перемена всей точки зрения на социализм», у партии — никакой перемены. Если для позднего Ленина социализм и нэп в социально-экономическом плане почти тождественны, различие же между ними лежит преимущественно в сфере грамотности, традиции, навыков рационального хозяйствования — словом, уровня «цивилизованности», то для партии нэп — неизбежное зло, в лучшем случае обходной маневр в борьбе за социализм. Если для Ленина сосуществование и взаимодействие общественной собственности с частным интересом и рынком — стратегическая линия по меньшей мере на десятилетия, то для партии — не более чем тактический прием, которого пока приходится придерживаться, но от которого хотелось бы избавиться как можно скорее.

Совершенно очевидно, что важнейшие теоретические обретения позднего Ленина не нашли понимания даже у наиболее искренних и мыслящих приверженцев новой экономической политики, от большинства же партийных голов попросту отскочили, как от стенки горох. Если его практические предложения, касающиеся, скажем, подконтрольности Политбюро или смещения Сталина, были пусть умышленно проигнорированы, но хотя бы поняты партаппаратом, то стержневые идеи его «завещания» даже при желании некому было бы выполнять. Поэтому их либо оставляли без комментариев, смутно чувствуя: тут что-то не то, не наше, во что лучше не углубляться, — либо истолковывали таким образом, чтобы замазать их несоответствие официально-партийной идеологии, подтянуть к основополагающим постулатам большевизма.

Ленин делает упор на кооперации, которая «в нашем случае совершенно совпадает с социализмом», — это он имел в виду сплошную коллективизацию.

Ленин говорит о «коренной перемене всей точки зрения на социализм» — это он имел в виду концепцию нэпа как переходной ступени от социалистической революции к завершающему этапу строительства социализма.

Ленин говорит, что нэп — уже, собственно, и есть социализм и для полного превращения первого во второе нужен лишь более высокий уровень цивилизованности населения, — это он имел в виду, что светлая цель уже близка...

В годы сталинских пятилеток приспособление ленинского «завещания» к политическим нуждам текущего дня стало особенно трудной задачей, но — «нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять». Ленин признает законность «частного интереса», даже «частного торгового интереса», говорит о необходимости «соединения» его с общественным — это он имел в виду личную материальную заинтересованность работника в выполнении и перевыполнении норм выработки, а что касается торгового интереса, то вот, пожалуйста, у нас же не запрещены ни потребкооперация, ни колхозные рынки. Ленин говорит: «Лучше меньше, да лучше», уговаривает «проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед» — как совместить это с господством количественных показателей, с лозунгом «пяtilетку в четыре года», с требованиями ускорения любой ценой, что отразилось даже в заглавиях тогдашних романов: «Время, вперед!», «Не переводя дыхания», — в названиях кинотеатров («Гемп»).... Что ж, ведь указания покойного вождя относились к иному времени и другим задачам...

Словом, потребовались немалое искусство и изворотливость, чтобы, не входя в противоречие с культом Ленина как гениального провидца, скрыть, что в своих предсмертных прозрениях и догадках он от своей партии да и большинства других современников ушел вперед на целую историческую эпоху.

Естественно, что при этом он должен был оказаться в полном одиночестве.

Ленин — фигура трагическая. Эту мысль высказывали многие из тех, кто думал о нем самостоятельно и всерьез. Например, А. Д. Сахаров: «...я не могу не ощущать значительность и трагизм личности Ленина и его судьбы, в которой отразилась судьба страны, понимаю его огромное влияние на ход событий в мире» (Андрей Сахаров. Воспоминания, т. 1. М., 1996, с. 55). С 60-х годов у нас начал выходить из употребления образ трибуна революции, страстно ораторствующего с зажатой в кулаке кеп-

чонкой над лесом флагов и морем голов. Равно как и тот благостномудрый дедушка Ленин, которого художники типа Н. Жукова и Вл. Серова рисовали то за чайком с ходоками из деревни, то в окружении детей. Кстати, этот слащавый образ у многих уже давно вызывал чувство протеста. Показательна запомнившаяся А. Д. Сахарову фраза мальчика-одноклассника: «Напрасно говорят, что Ленин был добреньким. У него любимое выражение было р-растр-релять. (Юра изображал ленинскую карто-вость)» (там же). Теперь же все чаще место подобных плакатных или идиллических изображений занимал человек, печально, сурово, даже несколько неприязненно смотревший нам в глаза с трех-четырех своих поздних фотографий.

В трагедии Ленина, особенно его конца, есть ряд слагаемых помимо длительных физических страданий.

Он умирал, с мучительной ясностью увидев, сколь могущественна исподволь нарастающая бюрократическая стихия. Действительно, какая судьба! В качестве вождя социалистической революции Ленин дал выход веками накапливавшемуся в народе протесту против бедности, угнетения и унижения, порыву социальных низов к лучшей жизни, справедливости, свободному труду, земле и миру. Чтобы обеспечить необходимые условия для достижения этих целей, он и его партия строят систему «диктатуры пролетариата», по идее сугубо временную, как леса для возведения дома. Но проходят считанные годы — и система, создававшаяся как нечто переходное, служебное, на глазах своего архитектора отвердевает, окостеневает, становится самодовлеющей, самоцельной. Порождая целый слой новой, уже советской, коммунистической бюрократии, все более откровенно руководствующейся собственными корпоративными интересами, система эта столь же беззастенчиво поворачивается задом к тем, ради кого и от чьего имени ее строили. В докладе XI съезду партии, говоря о том, как ведет себя госаппарат по отношению к новой экономической политике, Ленин использует такой образ: «Вырывается машина из рук; как будто бы сидит человек, который ею правит, а машина едет не туда, куда ее направляют», и «очень часто совсем не так, как воображает тот, кто сидит у руля машины».

Ту же горечь и тревогу вызывают у Ленина и отношения со своим непосредственным окружением. Он умирал, сознавая, что его рекомендации и предостережения отвергаются или игнорируются, что изолирован своими, казалось, ближайшими соратниками, которые почти в открытую сговариваются за его спиной, что превращают его в «безвредную икону», а стоит ему умереть, как они переделаются между собой в борьбе за первенство и власть, чем подорвут, если не погубят, дело его жизни.

Но главное — он умирал в самом начале нового пути, едва приступив к осуществлению своей новой экономической политики, и не мог быть уверенным, что без него она не будет извращена или свернута. Что касается «завещания», то есть тех мыслей, к которым Ленин пришел в последние три-четыре месяца до своего окончательного погребения в немоту, то по отношению к ним он и вовсе почти ничего не успел. Он высказал несколько идей, обозначив лишь самые общие контуры более радикальной концепции нэпа, основанной на «коренной перемене» во взглядах на соотношение между капитализмом и социализмом. Уже и это было очень много — найти критерии, указать опорные точки принципиально нового подхода к проблеме социализма в России, такие, как приоритетное внимание крестьянскому хозяйству и кооперации частных собственников, уровень грамотности и «цивилизованности» населения. Модель развития, построенная на таких опорных точках, в своем логическом продолжении и осуществлении обещала стране, как увидим, совершенно иную судьбу. Но одновременно этого было и очень мало, так как сам-то Ленин этих логических линий не прочертил хотя бы пунктиром.

Раньше любые, даже куда менее крутые и важные повороты своей мысли и политики он многократно разжевывал, обосновывал и разъяснял, приучая к ним свою аудиторию, поворачивая перед ней проблему то одной, то другой теоретической и практической стороной, и таким образом доносил свое убеждение до самых неподатливых голов, теперь же ни на что подобное у него не было ни сил, ни времени. Он сказал один раз и замолчал, лишенный возможности удостовериться, что хоть кем-либо услышан и понят. Тем более он не успел превратить свои новые мысли о нэпе и социализме в сколько-нибудь отчетливую программу действий. Когда Бухарин говорит о «втором стратегическом плане Ленина», он прав по сути своей мысли, но неточен в форме ее выражения: до уровня «плана» «завещание» отнюдь не достроено. Нет здесь и мало-мальски разработанной прогностической модели того, что определено было выше как «другой» социализм, — разве что отдельные ее элементы.

А поскольку к тому же принципиально новые идеи Ленину приходилось облекать в «старые слова», прорываясь сквозь их заведомую неадекватность (статья

«О кооперации» — наиболее яркое проявление испытанных им тогда мук слова), то и понять его было намного труднее, чем обычно. Нужно ли удивляться тому, что даже для наиболее близких к нему людей мировоззренческий сдвиг позднего Ленина остался книгой за семью печатями, а на официальной идеологии и практике послеленинского нэпа он вообще не отпечатался ни одним значимым штрихом?

Трагедия смерти на старте, трагедия недосказанности и непонятости, отсутствия отклика, обратной связи — вот одно из тех измерений трагичности судьбы Ленина, на которые до сих пор не обращалось должного внимания.

Однако, приняв все это в расчет, попробуем взглянуть на дело с обратной стороны. Представим себе, что было бы, если бы в 1924 году автор нэпа не умер, а выздоровел, после чего прожил еще, скажем, лет десять. Насколько сильно такая поправка к отечественной истории могла бы повлиять на ее направление и ход? Официально-партийный ответ на этот вопрос был однозначен: партия и без Ленина unequivocally следует ленинскому курсу. Это был миф, не подлежащий сомнению и проверке. Но, собственно, таким же мифом, элементом фольклора было и противоположное убеждение, весьма широко распространенное в массовом неофициальном сознании, особенно 20—30-х годов: при Ленине все было бы не так — легче, разумнее, справедливее. В повести С. Залыгина «На Иртыше» (1964) характерен обмен репликами между уполномоченным по коллективизации и кем-то из крутолучинских мужиков:

— Это ленинский план кооперации!..

— План-то есть — Ленина-товарища нету...

Нельзя сказать, чтобы эта народная политология не имела под собой оснований, но у нее был тот недостаток, что она рассматривала допущение «если бы Ленин остался жив» в отвлечении от реальных обстоятельств. Поставленная в конкретный исторический контекст, проблема выглядит намного более сложной.

В самом деле, представим себе, что Ленин получил достаточный запас времени, чтобы не только додумать, довести до логического завершения свои новые теоретические представления, но и подробно их обосновать. И что благодаря этому его-таки поняли. Поняли бы, что его предложение «не ломать, а оживлять» капитализм — не тактический ход, а долговременная и принципиальная политическая линия, что предлагаемая им «коренная перемена всей точки зрения на социализм» — не оговорка и не публицистическая гипербола, а действительный отказ от Марксова социализма в пользу конвергентного. Если бы осознали, что ныне их вождь в самом деле исповедует «другой», не революционный социализм, что «чудовищные» (Бухарин) для марксиста вещи произносятся им вполне сознательно, что теперь он действительно реформист, все более явственно порывающий с «ленинизмом», — как ко всему этому должны были отнестись его современники?

Можно с высокой долей уверенности полагать, что в широких слоях населения его позиция встретила бы сочувствие и поддержку. Однако как восприняла бы ее партия? При всем его авторитете трудно сомневаться в том, что весьма значительная, если не преобладающая, часть большевиков должна была бы в этих условиях отвернуться от него как от изменника делу революции. Если даже в качестве временного отступательного маневра нэп многими соратниками Ленина был принят не без насилия над их революционными чувствами, то что говорить о ситуации, когда тот же нэп — с новыми буржуями в ресторанах, с театрами, где их жены «блистают нарядами, мехами и жемчугами» («Социалистический вестник», 1922, № 1, с. 11), — им было бы предложено считать уже, по сути, состоявшимся социализмом! Не оказался ли бы тогда Ленин в еще большем одиночестве? А тот раскол партии, которого он так боялся и который пытался предотвратить, не наступил ли бы он в таком случае гораздо раньше?

То и другое более чем вероятно. И как ни горько было бы Ленину наблюдать подобный исход, жаловаться ему было бы не на кого. Ведь он сам и создал эту партию именно такой — «партией нового типа», чьей определяющей чертой были жесткий догматизм, сектантская нетерпимость ко всякому инакомыслию, к любым течениям даже социалистической мысли, кроме того «единственно правильного», которого придерживалась она сама. Чтобы обрести способность к активному самоизменению, к смелому, ни перед чем не останавливающемуся духовному поиску, этой партии нужно было — ни много ни мало — умереть и родиться заново, в совершенно ином, едва ли не противоположном качестве. В противном случае ей ничего не оставалось, как — теперь уже в открытую — порвать со своим основателем. А ему выбирать: либо, жертвуя своими убеждениями (что было совсем не в его характере), отступить к первоначальной, преодоляемой им концепции новой экономической по-

литики, — и в таком случае при Ленине события развивались бы примерно по той же схеме, что и без него, — либо, напротив, еще дальше отходить от старого большевизма, до предела углубляя указанный разрыв.

Итак, наш ответ на поставленный выше вопрос, была ли в 20-е годы альтернатива принятой половинчатой модели нэпа, не может быть однозначным. Теоретически альтернатива существовала и в общих чертах даже была указана — в форме последних ленинских работ. Но диктаторски правившая страной коммунистическая партия, к которой непосредственно адресовался ее лидер, оказалась неспособной ее увидеть, принять и осуществить.

В таком положении страна и вышла на историческую развилку 1928 — 1930 годов — момент ликвидации нэпа, момент начала новых грандиозных и жестоких перемен в народной судьбе. Альтернативы 20-х годов получили здесь свое продолжение, хотя и в существенно измененном виде.

12

Как выглядела гибель нэпа, хорошо известно. Все, что в свое время принесла с собой новая экономическая политика, было уничтожено, перевернуто вверх дном. Государственные тресты по большей части ликвидированы, оставшиеся же лишены даже той ограниченной самостоятельности, какой располагали прежде, синдикаты упразднены вовсе. Частный сектор, за исключением приусадебного участка колхозника, стерт с лица земли. Кооперация полностью огосударвлена. Та же участь постигла профсоюзы: они вновь стали «школой коммунизма», то есть подручным средством в руках партаппарата. Что касается деревни, то ей пришлось сначала пережить возврат к продразверстке («чрезвычайные меры» на хлебозаготовках 1927—1928 гг.), а затем и подвергнуться «великому перелому» — насильственной «коллективизации», как бы вернувшей ее в эпоху крепостного права. Наконец, в общеэкономическом плане отказ от нэпа сопровождался ликвидацией рыночных стимулов и отношений, лишением денег значения «всеобщего эквивалента», с сохранением за ними, как в 1918—1920 годах, лишь условно-расчетных функций. Место рынка в качестве регулятора и двигателя экономики прочно, на многие десятилетия заняла «командно-административная система», с директивным «планированием» и ценообразованием, фондируемым распределением всех видов ресурсов и готовой продукции, уравнильно-низким потреблением для большинства населения и существенно более высоким, иерархически дифференцированным (но в этих рамках также уравнильным) для номенклатурного меньшинства. Сходные изменения происходят и во всех других сферах общественной жизни: внутрипартийных отношениях, деятельности советов, законодательстве, в том числе трудовом, в книгоиздательстве, журналистике, образовании, общественных науках, литературе и искусстве. Сохранявшиеся в них даже в годы гражданской войны и заметно усилившиеся в период нэпа элементы разномыслия, терпимости, соревновательности, политического и культурного плюрализма (разумеется, относительного и ограниченного) исключаются теперь начисто, выжигаются каленым железом. Все эти меры вели в одном и том же направлении и в совокупности представляли собой тотальный социально-экономический переворот, крутизной и масштабностью своей по меньшей мере соизмеримый с введением того же нэпа, а по-настоящему говоря, намного его превосшедший. Достаточно напомнить, что новая экономическая политика не ломала вековечный деревенский уклад, напротив, шла ему навстречу, «коллективизация» же не оставила от него камня на камне. В сущности, даже Октябрьская революция была менее радикальной, нежели сталинская «революция сверху».

Каким образом Сталину удалось в 1929—1930 годы совершить то, на чем десятью годами раньше сломала зубы политика «военного коммунизма»? Это весьма интересный вопрос как в конкретно-историческом, так и в общетеоретическом плане, однако его обсуждение слишком далеко увело бы нас за тематические рамки настоящей статьи. Поэтому ограничусь всего одним замечанием. Между 1920-м и 1927 годом пролегла полоса, когда крестьянство видело для себя от советской власти в основном хорошее и уже привыкло ей доверять, не ждать от нее насилия и обмана. Тем большим потрясением были для него «чрезвычайные меры» 1927—1928 годов, а особенно сам «великий перелом», на который деревня ответила сотнями локальных крестьянских восстаний. И все же доверие к большевикам как к партии нэпа не могло выветриться повсеместно и сразу. В мысленном разговоре со Сталиным, одним из центральных эпизодов цитировавшейся «Страны Муравии», ее герой вслед за страш-

ными словами о том, что означает для него понуждение идти в колхоз:

И жизнь — на слом, и все — на слом,
Под корень, подчистую,—

спешит добавить:

А что к хорошему идем,
Так я не протестую.
И с тем согласен я сполна,
Что будет жизнь отличная...

За отсутствием непосредственного опыта «отличной» колхозной жизни он искренен в этом заверении. Так что не только своими противоречиями, но отчасти и успехами, своей положительной стороной сам нэп помогал себя сокрушить...

Так или иначе «революция сверху» совершилась. То, что ей пришлось столь тщательно выкорчевывать все остатки нэпа, в былые времена сильно мешало официальному истолкованию последнего как «этапа социалистического строительства». Зато ей самой это служит едва ли не исчерпывающей характеристикой. Социально-историческая суть перемен, которые произошли в нашей стране на рубеже 20-х и 30-х годов, заключалась в повторном и теперь уже всеобъемлющем распространении диктаторского режима на экономику, в устранении конвергентности, в замене смешанного нэповского социализма принципиально иным общественным строем — внутренне однородным, последовательно доконвергентным социализмом тоталитарного типа, который с того времени утвердился у нас на десятки лет.

Строй этот обнаружит ряд несомненных преимуществ. Те противоречия и трудности, с которыми не удавалось справиться реализовавшейся модели нэпа, он — на свой лад — разрешит весьма просто. Например, эффективным средством повышения производительности труда в первой половине 30-х годов явится карточная система, во многих случаях ставившая величину пайка в жесткую (а часто и жестокую, скажем, для слабосильных подростков) зависимость от выполнения норм выработки. А во второй половине десятилетия, когда карточки отменят, в руках государства появятся новые рычаги «укрепления трудовой дисциплины»: будет выпущен ряд «антирабочих законов» (А. Сахаров — указов и постановлений, предусматривавших уголовную ответственность за «самовольную» смену места работы и за прогулы, равно как и за приравнивавшиеся к ним опоздания. Что касается «социалистического накопления», то в условиях колхозного строя оно также перестанет быть сколько-нибудь трудной проблемой: львиную долю хлеба и всякой иной своей продукции колхозы в обязательном порядке («первая заповедь») должны будут «продавать» государству по копейным ценам, в десятки раз ниже рыночных, машины же и горючее покупать у него втридорога. Таким образом — систематически и упорядоченно, на законных основаниях и в масштабах, которые даже не снились Е. Преображенскому, — будет осуществляться перекачка средств в город из деревни, пока не разорит ее дотла.

Как покажет время, такой строй, при котором все силы нации подчинены единой воле, способен обеспечить высокую степень концентрации энергии общества и в короткое время выжать из него максимум возможного, особенно если при этом удастся воодушевить массы некоей яркой, привлекательной идеей. В указанных условиях задача индустриализации и модернизации страны решается не виданными прежде темпами. Однако у этого варианта развития есть и своя обратная сторона. Это, во-первых, слишком высокая цена, которую обществу приходится платить за создание тоталитарной системы и ускоренную модернизацию, — в нашем случае цена эта измерялась многими миллионами растоптанных человеческих жизней. Во-вторых, у «мобилизационной экономики» — короткое дыхание, что уже в 20-е годы с большой точностью предвидели некоторые трезвые умы.

В резолюции XV съезда партии «О директивах по составлению пятилетнего плана развития народного хозяйства» (в которой виден почерк Бухарина) читаем: «В вопросе о темпе развития необходимо иметь в виду крайнюю сложность задачи. Здесь следует исходить не из максимума темпа развития на ближайший год или несколько лет, а из того соотношения элементов народного хозяйства, которое обеспечивало бы длительно наиболее быстрый темп развития. С этой точки зрения нужно решительно раз и навсегда осудить оппозиционный лозунг повышения цен (на продукцию промышленности.— Ю. Б.): этот лозунг не только привел бы к бюрократическому перерождению и монополистическому загниванию промышленности, не только ударил бы по потребителю и, в первую очередь, по рабочему классу и бедноте города и деревни... он через некоторое время дал бы резкое снижение темпов раз-

вития, сузив внутренний рынок, подорвав сельскохозяйственную базу промышленности и заstopорив технический прогресс индустрии» (XV съезд ВКП(б). Стенографический отчет, т. 2. М., 1962, с. 1443).

Эти пророчества, как известно, оправдаются с лихвой. За начальным рывком первых «сталинских пятилеток» с неизбежностью последует прогрессирующее снижение темпов роста. То, что в краткосрочном плане дало бурное ускорение экономического развития, в долгосрочном вызвало существенное, а затем и катастрофическое его замедление, перешедшее в безвыходный застой.

Спорят: был ли состоявшийся тоталитарный выход из нэпа — со всем, что он дал стране и что у нее отнял, — неотвратимым, единственно возможным? Широко распространена точка зрения, согласно которой рассуждать о каких-то иных путях исторического развития бессмысленно: раз таков был ход событий, значит, в предложенных обстоятельствах ничего другого и быть не могло, как бы ни оценивать случившееся, считать ли его благом для страны или, напротив, величайшим злом. На таком представленном строится как апология сталинизма, так и его наиболее радикальная критика, прямоком выводящая сталинский социализм из Октябрьской революции и всей последующей советской истории.

Среди тех, кто оспаривает такой взгляд, упоминавшийся американский историк Стивен Коэн: «Как нет железной исторической необходимости, не существует и таких ситуаций, которым не было бы исторических альтернатив. Поэтому без изучения нереализовавшихся альтернатив не может быть ни полного представления о прошлом, ни верного объяснения исторических событий» («Переосмысливая советский опыт», с. 79).

В соответствии с этой бесспорной, на мой взгляд, посылкой автор высказывает уверенность, что альтернатива сталинской «революции сверху» существовала и заключалась она не в чем ином, как в продолжении экономической политики 20-х годов. Его положительный герой — Бухарин, который «выступал за эволюционную политику, которая позволила бы крестьянскому большинству и частному сектору процветать и «вращаться в социализм» через рыночные отношения» (там же, с. 85). «Все эти возможности не выходили за рамки параметров НЭПа», — подчеркивает С. Коэн (с. 94), настаивая на жизнеспособности и перспективности «нэповской альтернативы», — и в таком убеждении он также не одинок.

Спор длится уже несколько десятилетий, однако не может прийти ни к какому итогу: каждая из названных позиций имеет определенный резон, и в то же время обе они по-своему уязвимы, ибо каждая на свой лад предлагает упрощенное, облегченное решение весьма сложной проблемы. Если сказать совсем коротко, слабость первой позиции заключается прежде всего в том, что ее сторонники, прочерчивая прямую линию от Октября к тоталитаризму 30-х годов, по существу, «теряют» нэп, то есть либо вовсе упускают его из виду, либо преуменьшают исключительное своеобразие этого периода советской истории. В свою очередь, их оппоненты точно так же «теряют» те органические пороки реализовавшейся версии нэпа, о которых говорилось выше, в результате чего в той или иной степени приукрашивают, идеализируют последнюю. Отсюда — необходимость увидеть проблему в каком-то ином ракурсе. Я полагаю, что теория конвергенции и в данном случае способна нас выручить.

Если верно определение общественного устройства периода нэпа как смешанного, доконвергентно-конвергентного типа общества и если мысленно продлить его существование за пределы 20-х годов, то ему, по логике вещей, должны были противостоять не одна, а две — полярные по отношению друг к другу, но в одинаковой мере однородные — общественные структуры: целиком доконвергентная, с одной стороны, последовательно конвергентная — с другой. Всего же их оказывается три (подчеркиваю: не два, а три), принципиально возможных альтернативных варианта развития: «левый», реализовавшийся в нашей истории, и два гипотетических, мыслимых лишь теоретически, а именно: «средний», который представлял бы собой прямое продолжение генеральной линии 20-х годов, и «правый», значительно более радикальный по сравнению со знакомой нам моделью нэпа. Наличие этих трех вариантов — для краткости их можно обозначить соответственно как «антинэп», «продленный нэп» и «ультранэп» — целиком меняет всю картину. Кстати, тут есть переключка с ситуацией «трех Лениных», и она, как увидим, не случайна.

Какие исторические перспективы мог иметь каждый из указанных путей развития? Применительно к сталинско-брежневскому «антинэпу» перспектива общезвестна и еще раз очерчена выше. Проблему представляют гипотетические «продолжения» нэпа — как в его прежнем, так и в радикально трансформированном виде.

С 60-х годов в нашей исторической публицистике (в частности, в некоторых ра-

ботах О. Лациса) начинает пробиваться крамольная мысль, что если бы курс XV съезда на разностороннее и пропорциональное развитие народного хозяйства, едва будучи провозглашен, тут же не был отброшен; если бы был выдержан заданный в 20-е годы умеренно-быстрый темп индустриализации и коллективизации, с соблюдением принципа добровольности при организации колхозов и с сохранением достигнутого уровня жизни основных слоев населения,— то даже с точки зрения темпов промышленного строительства и наращивания обороноспособности было бы гораздо лучше. Проигрыш в скорости на старте предвоенного десятилетия был бы возмещен выигравшем на финише.

Рассматривая ситуацию под несколько иным углом зрения, С. Коэн солидаризируется с мнением Р. Медведева в том, что, окажись во главе партии Бухарин, «не было бы ни коллективизации в ее сталинской форме, ни террора 30—40-х годов» (С. Коэн. Осмысливая советский опыт, с. 93).

В целом указанная группа авторов придерживается той точки зрения, что продление жизни нэпу в его сложившейся форме и более плавный переход от нее к социализму не только избавили бы советский народ от «эксцессов» сталинщины, но пошли бы на пользу и самому социализму, который в таком случае был бы в той или иной мере освобожден от тоталитарных пороков.

Все это выглядит достаточно убедительным. Но если с преимуществами «продленного нэпа» дело как будто ясное, то сам он тем не менее сплошная неясность.

Неясно прежде всего, каким образом он мог бы разрешить те коренные противоречия, от которых раньше никак не умел отбиться. Между тем с течением времени они нарастали и найти от них лекарства становилось все труднее.

Неясен, далее, вопрос о средствах. Ведь согласно официальной идеологии нэп — не самоцель, он лишь необходимая ступень на пути к социализму. Да, насильственная коллективизация — это плохо. Но если к осени 1929 года всеми формами артельного труда было охвачено менее четырех процентов крестьянских хозяйств, то на чем могла основываться уверенность, что основная масса крестьянства вдруг ни с того ни с сего повалит в колхозы, не загоняемая туда ни угрозой раскулачивания, ни разорительными налогами? В одном из своих писем (1953) Александр Твардовский, хорошо знавший русскую деревню, высказался в том смысле, что если бы не нажим со стороны государства, она «воздерживалась бы от «коммунии» еще этак лет 200—300». Раз так, то не значит ли это, что и «социалистическое накопление» в необходимых для широкомасштабной индустриализации объемах могло бы сформироваться не раньше?

То же и с частным капиталом. Что с ним было делать? Экспроприировать? Но это был бы «военно-коммунистический», а не нэповский способ решения проблемы. Бухарин надеялся, что со временем кулак «врастет в социализм». Но если понимать под социализмом бесклассовое общество, то, по логике вещей, исчезновение кулака (как и нэпмана в городе) должно было бы стать скорее условием формирования такого общества, нежели его следствием. И как — не на словах, а реально, практически — совместить две задачи: «вытеснение» частника и его «врастание» туда, откуда его «вытесняют»?

Неясно и то, каким конкретно способом будут «преодолеваться» рыночные отношения, если не возвращаться на дорожку, которая однажды уже завела страну в «военно-коммунистический» тупик.

В свою очередь, непроясненность средств в немалой мере объяснялась и неотчетливостью самих целей, во имя которых имело бы смысл «продление» нэпа. Говорили: «социализм», — но что тут конкретно имелось в виду? Какая организационная модель, какая и каким образом функционирующая институциональная структура? Примерно та же, которую строил Сталин, только без присущих ей «недостатков»? Замечательно. Но не напоминало ли это мечтания гоголевской Агафьи Тихоновны об идеальном женихе, собравшем в себе достоинства нескольких реальных? Ведь плохо или хорошо был тоталитарный социализм, он представлял собой внутренне логичную СИСТЕМУ, в основе которой лежал единый принцип, пронизывавший ее с головы до пят, соединявший все ее плюсы и минусы в нерасторжимое целое. Те, кому она не нравилась, должны были бы противопоставить ей не набор добрых пожеланий, а систему же, базирующуюся на совершенно других принципах, однако столь же целостную. Нэповская модель, уже в силу своей «смешанности», этому критерию никак не удовлетворяла: сотканная из противоречий, заложенных в самое ее основание, она не могла быть ни единой, ни прочной. Тогда какая же еще? Каким способом решающая проблемы экономической эффективности и политической свободы?

Все подобные вопросы оставались без удовлетворительных ответов. Не очевидно ли, что при такой туманности целей и средств реализовавшаяся версия нэпа при любом «продлении» была не в силах нащупать свой путь модернизации, принципиально отличный от сталинского, и обречена была чуть раньше или чуть позднее соскользнуть все в тот же тоталитаризм, в лучшем случае менее людоедский?

Переходим к последнему из трех альтернативных вариантов посленэповского развития.

Мы видели, какой роковой для судьбы нэпа результат имело теоретическое заблуждение Ленина — представление о нэпе как о ступени к социализму, этапе его строительства, включавшем ограниченный допуск частного капитала лишь в качестве неизбежного зла, временного **средства** для достижения иной, высшей цели. Положенное в основу первичной, осуществленной модели нэпа, это представление не только в решающей мере предопределило ее противоречивость и недолговечность, но тем самым в конечном счете подготовило почву для сталинской «революции сверху». В этом смысле можно сказать, что не только Ленин Октября, но и Ленин 1921—1922 годов несет определенную долю политической ответственности за будущий тоталитарный социализм.

Теперь нам предстоит выяснить, куда вела начатая Лениным и запечатленная в его последних работах «коренная перемена всей точки зрения на социализм»: идея принципиальной совместимости социализма с «частным интересом», рынком, капитализмом, охлаждение к дальнейшим преобразованиям в общественном строе, фактическое отождествление социализма с нэпом, а «строительства социализма» — с повышением уровня «цивилизованности», «культурничеством», «мирной организационной «культурной» работой».

Для того, чтобы это понять, попробуем представить себе ход событий, противоположный той ломке нэпа, которую предпринял Сталин, зато максимально соответствующий ленинскому лозунгу «не **ломать** старого общественно-экономического уклада, торговли, мелкого предпринимательства, капитализма, а **оживлять** торговлю, мелкое предпринимательство, капитализм». Что получилось бы, если бы в поисках разрешения нэповских противоречий страна пошла именно таким путем, притом вполне последовательно и твердо, следуя изначальному вектору нэпа, но свободно «выходя за рамки» его прежних «параметров», без какого-либо внимания запретительным знакам, расставленным идеологией не только октябрьского, но даже и нэповского (условно говоря, бухаринского) большевизма?

По прошествии некоторого времени социально-экономические результаты такого развития могли бы выглядеть примерно так.

Вместо ограниченного «коммерческого расчета» — полная хозяйственная самостоятельность не только трестов, но и входящих в них отдельных предприятий, при столь же полной их ответственности за результаты своей деятельности. То же и в отношении синдикатов: все свои многообразные операции с клиентами они совершают на взаимовыгодной основе.

Коренные изменения в отношениях собственности. На абсолютно равных правах существуют все ее формы: коллективная (в том числе кооперативная), частная (в том числе акционерная), государственная, смешанная (в том числе концессионная).

В целях создания эффективного, то есть ответственного, собственника-хозяина предприятия большинство отраслей промышленности, как правило, переданы в собственность их трудовых коллективов, которые — непосредственно (на мелких предприятиях) или через своих выборных представителей и подотчетных им администраторов — самостоятельно распоряжаются как имуществом предприятия, так и производимой им продукцией. Поскольку рентабельность предприятия и личные доходы его работников находятся в прямой зависимости от уровня производительности труда, здесь нет необходимости поднимать ее ни приказом, ни агитацией: она и без того является предметом заботы всех членов трудового коллектива.

Сильно вырос частный сектор. Если в условиях реализовавшейся модели нэпа частный капитал и частное производство товаров и услуг были только «допущены» — временно, со всякого рода ограничениями и с перспективой грядущего «вытеснения», — то здесь они полноправные участники хозяйственной жизни. Одним из источников формирования частного сектора стала гораздо более широкая, чем в 20-е годы, продажа в частные руки малорентабельных государственных и кооперативных предприятий. Однако главный источник — и это прямое развитие именно нэповских начал — снятие каких бы то ни было ограничений с малого предпринимательства, неуклонно проводимая политика его «оживления» и поддержки.

В 20-е годы много говорили о концессиях, питали немалые надежды на них, но не смогли придать этому делу сколько-нибудь значительный масштаб — во многом из-за недалекого видного, продиктованного в основном идеологическими соображениями непризнания «царских» долгов иностранным государствам. Между тем при каком-то минимуме доброй воли к поиску компромиссных, взаимоприемлемых решений (рассрочка, расплата товарами, переоформление долговых обязательств в акции тех же концессионных предприятий и т. п.) можно было бы рассчитывать на весьма серьезный приток инвестиций. В условиях «ультранэпа» смешанная форма собственности, будучи свободна от прежних идеологических ограничений, могла бы получить широкое распространение. Что касается собственно государственного сектора, то в нем в таком случае остались бы только базовые отрасли народного хозяйства, от которых в решающей мере зависит состояние экономики в целом: добыча, первичная переработка и экспорт полезных ископаемых, производство и передача электроэнергии, железные дороги, связь и некоторые другие.

Основным принципом «ультранэпа» должен был бы стать полный простор развитию как либеральной, так и социалистической (социал-демократической) тенденции, корни которых заложены в идее нэпа, в требованиях Ленина, с одной стороны, «оживлять капитализм», а с другой — «все, что есть в литературе и опыте западно-европейских стран в защиту трудящихся, взять непременно». Взаимодополняя друг друга, а вместе с тем находясь в постоянном споре, эти два начала в совокупности могли бы образовать такую систему противовесов, которая придала бы рассматриваемому типу общества устойчивость и одновременно высокую степень динамизма.

В первые годы советской власти в социальной политике большевиков господствовал классовый принцип, в жертву которому без колебания приносились любые другие, в том числе экономические, соображения. В период нэпа были сделаны первые шаги к тому, чтобы вместо нескончаемой «помощи бедняку» за счет ущемления «кулака» поддержать «старательного крестьянина» — независимо от его принадлежности к той или иной имущественной группе, участия в кооперации, отношения к власти и т. п. «Ультранэп» мог бы пойти в том же направлении намного дальше, полностью отказавшись от классовых предпочтений, а имея в виду общество в целом (развитая и продуманная система социальной защиты, активная государственная политика доходов и столь же активная деятельность профсоюзов).

Уменьшение массива государственной собственности не могло бы не повлечь за собой крупных изменений в формах и методах государственного управления народным хозяйством (замена администрирования более сложными, в основном экономическими рычагами). При этом характер самого государства в условиях «ультранэпа» был бы совсем не тот, как в 20-е годы. Суть перемен можно сформулировать очень кратко: переход от диктатуры к демократии.

В годы «военного коммунизма» диктатура была всеобъемлющей. Нэп несколько смягчил ее применительно к политико-идеологической сфере и резко — хотя и непоследовательно, с откатами назад — уменьшил ее воздействие на экономику. Возникли предпосылки для дальнейшего движения в том же направлении. Как заметил А. Д. Сахаров, «можно предполагать, что именно нэп мог бы явиться базисом плюралистического развития нашего общества» (статья «Неизбежность перестройки» в сб. «Иного не дано». М., 1988, с. 122). Увы, в рамках известной нам модели нэпа такая возможность не была осуществлена, и только наш гипотетический «ультранэп» способен был бы сделать в этом отношении решительный шаг вперед.

Логика такова: по мере роста частного капитала и хозяйственной самостоятельности крестьянства им все труднее было бы мириться со своей гражданской неполноправностью и отсутствием собственного политического представительства, как бы вернувшись России на многие десятилетия назад. Если исключить меры подавления и устранения, а ведь мы в порядке мысленного эксперимента рассматриваем «либеральный», ненасильственный вариант выхода за рамки нэпа, то на какой-то стадии своего развития указанное противоречие не могло не разрешиться итогом, противоположным сталинскому: многопартийностью, идейным плюрализмом, свободой печати и т. п. — словом, демократией.

Для революции, отвергнувшей с порога все демократические институты и нормы, это был бы результат, конечно, сенсационный, а для Ленина — наиболее удаленный от круга идей его «завещания». Вместе с тем он не заключал бы в себе ничего неожиданного: в той же мере, в какой тотально огосударственной экономике естественно иметь своим политическим выражением тоталитарную диктатуру, именно

демократия представляет собой наиболее адекватный государственно-политический эквивалент свободной рыночной экономики.

Вот примерно так или как-нибудь в этом роде могли бы выглядеть контуры системы, действительно альтернативной и противоположной тоталитарному социализму Сталина. Мы окрестили ее «ультранэпом». Но теперь можно и освободиться от столь экзотического наименования. Ибо, присмотревшись к данной общественной модели, мы без труда узнаем в ней то, что на современном языке называется «демократическим (рыночным) социализмом», или «социализмом с человеческим лицом», или, с несколько иной акцентировкой, «народным капитализмом», «социал-капитализмом» и т. п., — все это лишь разные обозначения одного и того же явления.

Получается, таким образом, что между ленинским «завещанием» и идеей плюралистического социализма существует некая связь. Ее не следует преувеличивать, например, объявлять Ленина автором этой идеи — подобно тому, как его называет автором нэпа. Там он действительно автор, здесь не более чем предтеча. Но он открыл, нащупал самую суть того, на чем полвека спустя сложится концепция «социализма с человеческим лицом», — переосмыслил взаимоотношения между социализмом и капитализмом, указал на их принципиальную совместимость. Это была, конечно, лишь завязь новой, постмарксистской системы социально-философских взглядов, ее исток, ее первичный набросок, которому недоставало целого ряда важнейших элементов, да и многие другие только намечены. Но и это уже было колоссально много. Поставленная в такую связь оригинальность идей позднего Ленина обнаруживает чрезвычайно широкий и перспективный исторический смысл.

13

Тоталитарный (доконвергентный) или демократический (плюралистический, конвергентный) социализм — главная дилемма всей нашей истории после 1917 года. Да, в сущности, и единственно реальная. На протяжении этих восьми десятков лет не раз поднимались панические разговоры то о «реставрации капитализма», то о «реставрации социализма» или, со знаком «плюс», о возвращении в ту «Россию, которую мы потеряли», либо в то счастливое время, когда зарплату и пенсии платили исправно. Но уже после аграрной реформы 1918 года (раздела помещичьих и передела «кулацких» земель) возврат в дооктябрьскую действительность стал практически невозможен, после гражданской войны — тем более. Примерно так же сегодня обстоит дело с угрозой реанимации социализма, которой политические жулики пугают дураков: дескать, «голосуй или проиграешь», придет Зюганов, отменит приватизацию и пересаждает всех в лагерь. Слава Богу, Зюганов не настолько глуп (и слишком «встроен в систему»), чтобы вынашивать подобные самоубийственные планы, да если бы они и возникли, вероятность их осуществления была бы равна возвращению волжской воды из Каспийского моря в озеро Селигер. Поэтому, когда мы слышим от наших ли политологов или из уст западных политиков и дипломатов, что перед Россией два пути: назад, в советское прошлое, или вперед, следуя «курсу реформ», — можно сразу выключать телевизор, ибо ничего более бессодержательного, чем такие речи, ничего более далекого от реального исторического выбора наших дней просто невозможно придумать.

Точно так же на протяжении всего этого восьмидесятилетия не было у нас и сейчас не существует выбора: социализм или капитализм. Оптимизм, которым по поводу якобы начавшегося у нас перехода к капитализму были преисполнены многие наши политики, экономисты, журналисты (назову хотя бы Е. Гайдара, Л. Пияшеву, А. Стреляного, Л. Тимофеева), к настоящему времени, похоже, выветрился. Ошибка этих людей заключалась прежде всего в том, что они не поставили перед собой вопроса, о каком капитализме толкуют. Если о старом, доконвергентном (а именно это вроде бы вытекало из частых ссылок на «период первоначального накопления»), то подобное направление мыслей — не более как реакционная утопия, ибо мир ушел от такого состояния давно и безвозвратно. Если же имеется в виду современный конвергентный капитализм («капитализм с человеческим лицом», по удачному выражению А. Д. Сахарова), то ничего от такого капитализма в нынешней России нет и в помине, да и вектор «курса реформ» обращен в действительности совсем в другую сторону (достаточно вспомнить столь популярные до недавнего времени насмешки над понятием социальной справедливости).

После этого небольшого отступления можно вернуться к вышеуказанной дилемме, заранее оговорившись, что необходимость вести разговор в сослагательном наклонении, сопоставлять с действительным возможное, разумеется, снижает значи-

мость результата. Однако тут уж ничего не поделаешь, и если не упускать этого обстоятельства из виду, то и чисто умозрительное рассуждение, надеюсь, не покажется читателю праздным.

Основная проблема может быть сформулирована так: почему, обнаружив коренные и неустраняемые слабости нэпа, страна пошла от него налево, а не направо — к тоталитарному социализму, а не к тому, что много позднее будет названо «социализмом (или капитализмом) с человеческим лицом»? Потому ли, что первый выглядел более привлекательным, а путь к нему менее тернистым? Вполне очевидно, что нет. Замещение нэпа тоталитарным строем не могло происходить иначе, как насильственно, в форме резкого слома нэповских норм и структур. В свою очередь, демократический строй мог возникнуть лишь в ходе более или менее длительного эволюционного процесса, содержанием которого должно было стать дальнейшее расширение тех же норм, обретение нэповскими структурами все новых степеней свободы. Да что говорить! У же методы «коллективизации» достаточно внятно сказали миллионам людей, что от нового курса им не приходится ждать для себя ничего хорошего. Тогда почему же?

Если не считать ссылок на злую волю Сталина (объяснение явно недостаточное), то в обширнейшей отечественной и зарубежной литературе, затрагивающей данную тему, чаще всего повторяются два ответа. Первый: это было необходимо в интересах модернизации страны. Второй: заставила надвигающаяся война.

Оба эти ответа представляются малоубедительными, но ввиду их важности для нашего исторического сознания от них нельзя просто отмахнуться.

Итак, существовал ли для СССР начала 30-х годов другой, отличный от сталинского эффективный вариант «догоняющего развития»? В рамках традиционного нэпа, то и дело вынужденного спотыкаться о многочисленные идеологические «табу», очевидно, нет. А для нашего гипотетического социал-капитализма? Мог ли он провести модернизацию каким-то совершенно другим путем и, таким образом, совсем по-другому, по-своему обеспечить себе жизнеспособность, а стране интенсивный и устойчивый прогресс? Выяснение этого вопроса нынче существенно облегчено богатством мирового опыта в области «догоняющего развития». Примером теоретического обобщения такого опыта может служить статья В. Г. Хороса в коллективном сборнике «Осмысливая мировую капитализм» (М., 1997). Автор подробно излагает и комментирует взгляды немецкого ученого Дитера Сенгааса, предложившего развернутую классификацию различных путей модернизации, к настоящему времени одобренных человечеством.

Среди многих других мы находим в ней и ту модель, которую использовал в 30-е годы Сталин. Сенгаас относит ее к «разъединительным типам развития, особенностями которых являются «государственное субсидирование тяжелой промышленности, машиностроения, инфраструктуры... длительная закрытость для конкуренции извне, политический авторитаризм» (с. 83). Однако, хотя этот вариант возможен и в известной мере результативен, никакой предопределенности именно такого выбора для «периферийных», аграрных стран, по убеждению ученого, не существует. Особое внимание он уделяет как раз опыту государств, которые избрали принципиально иной путь модернизации: последовали принципу «не ломать, а оживлять», взяли за основу существующий уклад и структуру национального хозяйства и постарались его осовременить, интенсифицировать. К числу таких стран, сознательно сделавших приоритетным, первоочередным развитие сельского хозяйства и аграрно-сырьевой экспорт, принадлежали, например, в последней трети XIX века Дания и Новая Зеландия, позднее — Австралия, Канада.

Сенгаас выявляет — в том числе и на их примере — «некоторые общие закономерности преодоления периферийности. Сюда входят необходимость аграрной модернизации как базы индустриализации (зависимость, обратная той, какую Сталин и его пропагандистский аппарат объявляли единственно возможной.— Ю. Б.)... более равномерное перераспределение национальных ресурсов и доходов (это тоже совсем не по Сталину, скорее по Бухарину.— Ю. Б.), расширение внутреннего рынка (а не его сужение, как это было у нас, особенно в первой половине 30-х годов.— Ю. Б.), стимулирующую (а не командно-запретительную.— Ю. Б.) роль государства...» (с. 94—95). При этом, подчеркивает В. Г. Хорос, «успех в преодолении периферийности во многом определяется тем, насколько естественно, последовательно и в правильном направлении будут сцепляться друг с другом звенья «цепочки развития»: аграрная модернизация — рост индустрии вокруг потребностей аграрного сектора — развитие производства товаров массового спроса — создание производства средств производства и т. д.» (с. 95).

Отметим: создание производства средств производства выступает здесь как завершающее звено «цепочки развития», а не ее начало, подход, опять-таки обратный сталинскому.

Был ли такой подход применим у нас, в условиях «России нэповской»? Я полагаю, нет никаких причин отрицать такую возможность. Тем более что она уже начала было реализовываться. Начиная со столыпинской реформы, а затем — еще тверже — с переходом к нэпу Россия уже, казалось, определилась в своем выборе именно такой «цепочки развития», где исходным звеном должно было послужить оживление сельского хозяйства. Вспомним ленинское «начать с крестьянина» и вытекавший отсюда курс на удовлетворение в первую очередь потребностей крестьянского хозяйства, на повышение его покупательной способности и производительной силы. Вспомним бухаринское «Обогащайтесь!» (1925), в авторской расшифровке звучавшее так: «Наша политика по отношению к деревне должна развиваться в таком направлении, чтобы раздвигались и отчасти уничтожались ограничения, тормозящие рост зажиточного и кулацкого хозяйства. Крестьянам, всем крестьянам надо сказать: обогащайтесь, развивайте свое хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут» (цит. по кн.: Дмитрий Волкогонов. Ленин. Политический портрет, кн. 2. М., 1994, с. 92). Вспомним и такое характерное для 20-х годов явление, как журнал для «старательного крестьянина» «Сам себе агроном».

Надо было идти в том же направлении дальше и дальше, стимулируя расширение запашки, повышение культуры земледелия и животноводства. Надо было во что бы то ни стало добиваться увеличения товарности сельского хозяйства, в том числе его экспортных возможностей. Такие возможности существовали, в особенности по традиционным статьям, где у российского экспорта почти не было конкурентов (лен, шерсть, кожа, рожь, ценные породы рыбы и др.). Кроме того, почти неисчерпаемым источником экспортных возможностей страны могли стать ее уникальные лесные богатства (как стали они, показывает Д. Сенгаас, золотым дном для маленькой, бедной другими природными ресурсами Финляндии). С бурным прогрессом автомобилестроения в развитых странах нарастало экспортное значение бакинской, грозненской, майкопской нефти.

В свою очередь, расширение вывоза, достигаемое на первых порах без значительных капиталовложений, могло бы послужить существенному увеличению импорта улучшенных сельскохозяйственных орудий и машин, что в сочетании с постепенным развитием собственных импортозамещающих производств обеспечило бы новый виток интенсификации в аграрном секторе. А если бы при всем том во внутриэкономическом плане своевременно предпринимались те меры к повышению эффективности народного хозяйства, о которых говорилось раньше, то едва ли можно сомневаться, что в рамках аграрно-экспортного варианта развития государство смогло бы постепенно, но сравнительно скоро аккумулировать достаточно средств и на создание современной тяжелой индустрии.

Разумеется, и такой путь преодоления многовековой российской отсталости отнюдь не был бы усыпан розами. Скорее всего он был бы гораздо труднее, чем для многих других стран, пошедших сходной дорогой, — примерно настолько труднее, насколько по степени «цивилизованности» русский крестьянин в массе своей уступал канадскому, австралийскому или новозеландскому фермеру-переселенцу. Равным образом не следует представлять себе движение по этому пути как бестревожное и бесконфликтное. Оно не могло быть таким хотя бы потому, что на первых порах «открытие шлюзов», предоставление полной свободы частному капиталу должно было существенно увеличить имущественное неравенство различных групп населения, создавая новые очаги социальной напряженности. Да и в дальнейшем, когда конвергентная общественная система успела бы полностью сформироваться, ее нельзя рисовать в виде какой-то идиллии, как вовсе не идиллический и современный западный мир. Освободившись от противоречий, возникших на почве нэпа, она неизбежно столкнулась бы с какими-то другими, может быть, не менее острыми. Преимущество ее нужно видеть не в отсутствии противоречий и конфликтов, а в выработке эффективных механизмов их разрешения, что доступно только демократии, в способности к постоянному саморегулированию и эволюционному саморазвитию.

Итак, ни сталинская «коллективизация» с помощью «раскулачивания», ни индустриализация, проведенная частью силами заключенных, частью — вчерашних крестьян, бежавших от колхозов в бараки и землянки «великих строек», не имеют даже того оправдания, что это был единственный шанс «догнать и перегнать». Модернизацию страны можно было совершить не тем худшим, варварски жестоким и в конечном счете исторически бесперспективным способом, который применил Ста-

лин, а совсем, совсем по-иному. Да, конечно, от народа это потребовало бы большого труда, от общества — высокой активности и сосредоточенности на ясно понимаемой национальной задаче, а от правительства — тщательно разработанной экономической стратегии и высокой точности управленческих решений. Но игра стоила свеч.

Второй, еще более популярный аргумент в пользу однобокой, но ускоренной индустриализации — близость второй мировой войны. К нему всегда прибегали штатные и добровольные защитники сталинизма, и от него их оппонентам (в том числе сторонникам идеи «продленного нэпа») в рамках принятых ими условий задачи довольно трудно было отбиться. Мол, чтобы обеспечить обороноспособность СССР, современную промышленность, прежде всего металлургическую и машиностроительную, приходилось создавать в предельно сжатые сроки. Тут нельзя было считаться ни с какими диспропорциями в народном хозяйстве, равно как и ни с какими жертвами, и единственным режимом, который этому вполне соответствовал, могла быть только безжалостная, железная диктатура. Противоположный вариант модернизации выводил к аналогичному уровню обороноспособности менее тяжелой, но значительно более дальней дорогой; прежде чем он был бы достигнут, страна уже оказалась бы под нацистским сапогом.

В подобных рассуждениях есть известный резон, но сказываются и две крупные логические ошибки. Во-первых, обороноспособность целиком отождествляется здесь с технической оснащённостью армии, во-вторых, сама война рассматривается как нечто фатально неизбежное, во всех отношениях жестко predetermined — от состава противоборствующих сторон до сроков ее начала. Между тем обороноспособность — это не только техника, но прежде всего люди — с их мыслями и чувствами, с их реальным отношением к той власти, что посылает их воевать. А оно в 30-е годы у разных социальных да и просто возрастных групп было, конечно, отнюдь не одинаковым, хотя эта разница и не обнаруживалась открыто. Так, оптимистическое мироощущение городской и сельской молодежи, которой школа, рабфак, комсомол, а главное — сам размах строительства открыли беспрецедентные возможности роста, вероятно, далеко не совпадало с чувствами крестьянина, в памяти которого еще свежи были мрачные картины «великого перелома». Можно предположить, что если бы не это, то в начале войны немцев во многих деревнях не встречали бы как освободителей, а сдача наших солдат в плен не стала бы столь массовым явлением (до февраля 1942 г. около четырех миллионов). Точно так же, если бы не было «большого террора», лишившего страну десятков и сотен тысяч инженеров, ученых и других высококвалифицированных специалистов, задача перевода экономики на военные рельсы решалась бы гораздо проще. А если бы непосредственно перед войной не был вырублен практически весь советский генералитет, до командиров полков включительно, вследствие чего Красная Армия встретила войну без опытных командных кадров, без военной доктрины, без разработанной стратегии и тактики, — она и с меньшим числом пушек и танков могла бы успешнее противостоять гитлеровскому нашествию. И не пережила бы, например, такого позора, как уничтожение на аэродромах в первые же часы войны 1200 самолетов, даже не успевших заправиться, чтобы подняться в воздух.

Все это, повторяю, во-первых. А во-вторых, если бы вместо тоталитарного строя, с его принципиальным изоляционизмом, постоянным противопоставлением себя всему остальному миру, в СССР установился бы демократический, социал-капиталистический строй, вся картина тогдашних международных отношений выглядела бы совершенно по-иному. Действенная система коллективной безопасности могла бы в таком случае сложиться еще в 30-е годы, антигитлеровская коалиция — намного раньше не только 1941-го, но и 1939 года, причем с участием Франции, Польши и других потенциальных жертв фашистской агрессии. При таком соотношении сил вторая мировая война либо была бы надолго отсрочена, либо — что вероятнее — не разразилась бы вовсе.

Изложенные соображения носят, понятно, сугубо гипотетический характер, конкретная историческая ситуация в любом случае определялась бы множеством неизвестных, сравнительная весомость которых не поддается сколько-нибудь точному учету. И все же, если на одну чашу весов положить преимущества ускоренной индустриализации и мобилизационные возможности диктатуры, а на другую — все вышеперечисленное, первая едва ли перетянет.

Так обстоит дело с предлагаемыми обоснованиями необходимости и неизбежности тоталитарного строя. Но если оба главных козыря, находящихся на руках у прежних и нынешних сталинистов, оказались битыми, то почему же обозначенная

выше дилемма разрешилась таким, а не противоположным образом? Почему на месте нэпа у нас утвердился все-таки именно тоталитарный социализм (с адекватным его природе способом модернизации), а конвергентное общество и намного более благоприятный для народа, «щадающий» вариант «догоняющего развития» остались нереализованной (и даже не принимавшейся в расчет) возможностью?

Это очень важный вопрос, значение которого далеко выходит за хронологические и географические рамки нашей темы. Но ответить на него, в сущности, несложно: потому, что сделать иной выбор было просто НЕКОМУ.

Выбор, альтернатива есть всегда, пишет С. Коэн. Это верно. Но столь же верно и то, что не всегда есть те, кто видит возможность выбора и готов ею воспользоваться. Только половина проблемы исторического выбора состоит в уяснении того, из чего выбирать, между какими существующими альтернативами. Вторую половину составляет проблема субъекта выбора (как и любого социального действия вообще): объективная возможность того или иного развития событий должна претвориться в идею, исповедуемую неким кругом людей, в проблему, над которой они размышляют, в их убеждение, цель, программу.

У нашей общественной мысли есть один давний грех. Она чрезмерно любит вопрос «что делать?». Любит составлять всякого рода программы действий, но при этом слишком редко задается сопутствующим, не менее важным вопросом «кому делать?». Кому эти программы адресованы? Кто всерьез, то есть исходя из собственных жизненных интересов, захочет, а захотев, сможет их исполнить? Между тем без этого обсуждать, «что делать», — пустое занятие.

Так что альтернативность — понятие более сложное, чем это можно вычитать из рассуждений американского историка. И вот что еще очень важно. В отличие, скажем, от покупателя в магазине, способного сделать свой выбор, даже если вокруг нет ни души, тот или иной путь исторического развития избирают, как правило, **разные**, спорящие между собой общественные силы — не меньше двух. Когда перед обществом лежат различные дороги и оно выбирает какую-либо из них, это обычно означает, что одна из таких сил возобладала над другой (или другими).

Так, в Новой Зеландии, пишет В. Г. Хорос, «победа на выборах либерально-прогрессивной партии над консерваторами открыла дорогу земельной реформе 1892 г.». Сходное значение имела смена власти в Австралии, где «лейбористское правительство сумело осуществить долгосрочную программу аграрной модернизации» («Осмысливая мировой капитализм», с. 88). Это нормальные, типические ситуации в современном мире: к подлинному выбору общество готово лишь тогда, когда оно плюралистично, то есть когда в нем имеется достаточно мощная ВТОРАЯ СИЛА.

Если бы в 20-е годы в СССР наряду с ВКП(б) она существовала — например, в виде влиятельной крестьянской партии или по-настоящему независимых профсоюзов, — вся перспектива развития страны могла быть совершенно иной. Вот тогда наверняка не было бы ни 30-го, ни 37-го года, тогда поворот к тоталитарному «антинэпу» был бы по меньшей мере сильно затруднен, а движение в сторону конвергентного социализма могло стать вполне реальным делом. К несчастью, «второй силы» не было ни тогда, ни много десятилетий спустя. Ее отсутствие и связанная с этим практическая безальтернативность нашего национального развития — едва ли не главное проклятие отечественной истории после октября 1917 года, не исключая и сегодняшней с его бутафорской «многопартийностью».

Если с такой точки зрения мы подойдем к вопросу о том, почему у нас в 30-е годы возобладал тоталитарный, а не демократический строй, то ответ будет вполне элементарен: потому, что выбор делала единственная в стране организованная политическая сила — ВКП(б) (точнее, ее руководящий аппарат), а для нее никакое другое решение было попросту невозможно.

Большевики пришли к власти как наиболее радикальная часть той «второй силы», которая еще с 60-х годов XIX века стала формироваться в России, а в начале XX обнаружила себя созданием сразу нескольких оппозиционных партий. Но, захватив власть, Ленин и его соратники тут же сделали все возможное, чтобы истребить политических конкурентов (включая другие партии социалистической ориентации) и остаться единственной партией.

Да, в критических для себя обстоятельствах эта партия оказалась в силах — хоть и со скрежетом зубным — отказаться от «военного коммунизма» в пользу нэпа (и то, напомним, лишь частично, только в экономической сфере). В 20-е годы она могла колебаться между левым (троцкистско-зиновьевским) и правым (бухаринско-сталинским) толкованиями своей генеральной линии. Наконец, на рубеже 20-х и 30-х она не без сомнений и без полного единодушия предпочла «антинэп» нэпу. Но эти

узкоамплитудные колебания были пределом ее внутренних возможностей. Что касается социал-капитализма, то он находился где-то невероятно далеко за рамками ее идеологического диапазона, чуть ли не на другой планете.

В самом деле, представим себе, что мы продвинулись несколько дальше того пункта, где остановились, мысленно проследив начальные этапы развития «ультранэпа». А остановились мы на том, что прогресс крестьянского хозяйства и рост частного капитала создали такую плюралистическую социально-экономическую среду, которая потребовала соответствующего ей политического выражения, а значит, и определенных изменений в государственном устройстве. Когда этот процесс успел бы зайти достаточно далеко, соотношение в экономике, да и в обществе в целом, элементов капитализма и социализма могло оказаться не в пользу последнего. Тогда вопрос должен был бы встать ребром: допущение капитализма (в качестве подспорья и «младшего партнера») или допущение его преобладания, «диктатура пролетариата» или демократия, однопартийность или многопартийность и т. п.? Дальше — больше. Рано или поздно это должно было бы привести и к такой постановке вопроса: «удержат ли большевики государственную власть» (любыми средствами и любой ценой) или же проявят готовность уступить ее каким-то другим политическим силам, если таковые окажутся для населения более привлекательными?

С точки зрения норм демократии в подобном итоге не было бы ничего аномального, тем паче катастрофического: в своих правах на внимание и доверие общества все партии абсолютно равны. Так что, пожалуйста, борись, пропагандируй и агитируй, докажи свое преимущество не кулаком, а убедительностью твоей правды. Однако как повела бы себя в такой ситуации партия, давно разучившаяся с кем-либо конкурировать и столь же давно привыкшая только «руководить», то есть повелевать? На сей счет не может быть двух мнений: если исходить из того, что эта партия и ее аппарат остались бы примерно теми же, какими были в 20—30-е годы, они с ужасом отшатнулись бы от демократической перспективы и в случае невозможности удержать власть иными средствами хлынули бы вслед за Сталиным, под крыло к диктатуре — хотя бы и со смертной тоской в глазах от предчувствия, чем это может кончиться для страны, для самой партии и для каждого ее члена лично.

Ну а Ленин? Как отнесся бы он к концепции «социал-капитализма» («социализма с человеческим лицом»), возникни она в его воображении хотя бы с той мерой определенности и законченности, какую мы попытались ей придать? Скорее всего и для самого позднего Ленина она оказалась бы по ряду позиций неприемлемой.

Не раз на протяжении своей политической биографии Ленин, самая недогматическая голова среди большевиков, переживал глубокие мировоззренческие сдвиги, далеко уходя от себя прежнего. Так было, например, после революции 1905 года, когда он новым взглядом посмотрел на русскую деревню, преодолев первоначальное, во многом схематическое, ученически-марксистское понимание таких важнейших тем, как крестьянство, народничество, развитие капитализма в России (об этом в свое время убедительно писал М. Я. Гефтер. «Новый мир», 1969, № 4). Но особенно радикальными превращениями отмечены его пооктябрьские годы, когда масштабы ответственности, тяжесть и неотложность решаемых задач в громадной степени ускорили и интенсифицировали его мыслительный процесс. Мы видели, сколь мало походил Ленин 1921—1922 годов как на того, каким он был всего за несколько месяцев перед тем, в апогее «военного коммунизма», так и на того, каким явится перед читателем в своих последних статьях. Однако, чтобы довести «коренную перемену всей точки зрения на социализм» до принятия возможности мирной передачи большевиками государственной власти каким-либо другим политическим силам, ему пришлось бы словно родиться заново. Это уже было бы явно больше того, чего можно ждать от одного человека. Тем более от человека того времени, когда еще не заросли окопы первой мировой войны, а уже подступала вторая, когда общественная атмосфера была пропитана ненавистью, подозрительностью и страхом, отравлена миазмами шовинизма, нацизма. Весь «дух времени» этой еще в основном доконвергентной эпохи был таков, что если и не исключал начисто возможность подобной метаморфозы, то, уж во всяком случае, не благоприятствовал ей, не предьявлял на нее спроса.

Но Ленин интересует нас здесь не столько как человек, личность, сколько как воплощение определенных исторических тенденций. В этом отношении весьма содержательным представляется его сопоставление со Сталиным.

Среди множества суждений о соотношении этих деятелей господствуют две полярные точки зрения. Первая практически отождествляет Сталина с Лениным, вторая резко и однозначно противопоставляет их друг другу.

Первая в «культовые» времена выражалась формулой «Сталин — это Ленин сегодня». С 1953 года она некоторое время заменялась более скромной — «великий продолжатель бессмертного дела Ленина», а после XX и особенно XXII съезда усложнена была еще больше. В 60-е годы культ Сталина все шире замещается в пропаганде культом Ленина, вызвав у тогдашних остроловов ироническую перестановку «Ленин — это Сталин сегодня». Но тогда же в оппозиционном сознании происходит и неизмеримо более кардинальный переворот смыслов. В «Архипелаге ГУЛАГ» тема «Сталин и Ленин» впервые с огромной силой звучит как мотив преемственности в злодействе: Сталин в этом отношении — порождение Ленина, различия между ними есть, но они не принципиальны, чудовищные преступления сталинщины коренятся в массовых насилиях и беззакониях ленинского периода советской истории. Когда четверть века спустя перестроечная «гласность» не только легализовала значительную трактовку, но и придала ей статус по меньшей мере полуофициальной, антибольшевистские сочинения современных авторов выглядели на фоне Солженицына уже не более чем скучным эпигонством. То, что в «Архипелаге» было открытием, прорывом, что требовало от писателя интеллектуального и гражданского мужества, у этих авторов стало банальностью, демонстрирующей лишь их умение держать нос по ветру.

Суть второй из упомянутых точек зрения может быть выражена названием одной из глав цитировавшейся книжки О. Лациса — «Сталин против Ленина». Ее приверженцы, напротив, акцентируют все то, что противопоставляет эти исторические фигуры. Что ж, и для такого противопоставления материала более чем достаточно, в том числе и в характерологическом, личностном плане. Ленин открывал, Сталин использовал. Ленин был сложен, ибо думал и искал, Сталин был прост и общепонятен: он то и дело хитрил, но всегда умел придать своим хитростям видимость элементарных и самоочевидных истин. В Ленине трезвость политика сочеталась с почти романтическим пафосом, устремленностью к тому, что составляло его идеал, Сталин не знал увлечений, был всегда себе на уме и целиком «от мира сего»... Восходя к выступлениям первых отважных обличителей сталинизма из большевистской среды, таких, как Мартемьян Рютин и Федор Раскольников (не считая Троцкого), «противительная» трактовка дважды в нашей истории получала новые импульсы: в те же 60-е годы и при первых шагах перестройки. Сейчас она встречается сравнительно редко, обычно в форме утверждения, что на рубеже 20-х и 30-х годов в стране произошел контрреволюционный переворот, после которого строительство социализма пошло по ложному пути.

Какой из этих полярных позиций отдать предпочтение? Я полагаю, что в каждой из них есть своя доля правды и своя односторонность.

«Великий продолжатель»? Конечно. Ведь именно Сталин достроил ту систему, фундамент которой был заложен при Ленине — прежде всего сплошной национализацией промышленности и устранением демократии. Вместе с тем Сталин уничтожил нэп, последнее детище Ленина, и на месте «диктатуры пролетариата» выстроил государство ненавистной Ленину бюрократии.

Преемник в эстафете насилия — «красного террора», арестов политических противников, бессудных расстрелов и пр.? Несомненно. Вместе с тем жестокость в условиях той «колошматины и смертоубоины» (Б. Пастернак), какой была гражданская война, когда власть большевиков не раз висела на волоске, и такая же жестокость в мирное время, безжалостность военачальника и садизм палача — все-таки не одно и то же. «Я согласен с высказыванием Бердяева, — замечает А. Д. Сахаров, — что исходный импульс Ульянова — и большинства других деятелей революции — был человеческий, нравственный. Логика борьбы, трагические повороты истории сделали их действия и их самих такими, какими они стали» (Воспоминания, т. 1, с. 56). К Сталину это можно отнести лишь отчасти и с большой натяжкой.

Наоборот: политический антипод Ленина, самый страшный из врагов революции? Опять-таки неоспоримо и это: достаточно взглянуть в энциклопедиях на год

смерти почти всех сколько-нибудь видных большевиков и командиров гражданской войны — 1937, 1938,— и можно, кажется, ни о чем больше не спрашивать. Вместе с тем... и мы заново пойдем по тому же кругу.

Тогда, может быть, следует рассматривать представленные точки зрения как взаимодополняющие и, так сказать, синтезировать их, беря от каждой лишь ее сильную сторону? Что ж, попробуйте дополнить огонь водою... Думается, однако, что вышеизложенное избавляет нас от подобных бесполезных попыток.

Обратим внимание: при полной своей противоположности все названные позиции исходят из презумпции «единого» Ленина. Если ввести в «условие задачи» тезис о «трех Лениных», если видеть в Ленине основателя двух различных общественных устройств и предтечу третьего, принципиально отличного не только от первого, но и от второго, проблема «Ленин и Сталин» приобретает совершенно иной вид.

Действительно, спросим себя: «великий продолжатель», преемник в насилии — с каким, с которым Лениным соотносятся подобные определения Сталина? Ответ очевиден: исключительно или в основном с Лениным Октября, гражданской войны и «военного коммунизма». К Ленину — автору нэпа все это не имеет почти никакого отношения, а к Ленину периода «завещания» — просто никакого.

Если исключить 20-е годы, когда Сталин лишь карабкался на вершину власти и, таким образом, еще не стал вполне самим собою, то с учетом многосторонности Октября и «трехэтапности» исторической роли Ленина объективное отношение Сталина к революции и к Ленину можно охарактеризовать так.

Сталин довел до логического завершения и полного осуществления антикапиталистическую (то есть антирыночную и антидемократическую) направленность октябрьского переворота. Построенная им тоталитарная система явилась естественным продолжением и упорядочением как диктаторского режима, установленного большевиками с первых дней своей власти, так и экономики «военного коммунизма». Сталинский «большой террор» возродил идеологию и во много раз расширил практику массового насилия, изначально свойственного большевистскому режиму. Поскольку ведущую роль в построении такого режима и руководстве им сыграл Ленин, Сталин — его порождение и продолжение, его гипертрофированный политический двойник. В этом смысле он действительно «верный ленинец» и никакого «контрреволюционного переворота» не совершал. Наоборот, сталинская «революция сверху» явилась закономерным продолжением и завершением социалистической революции в России.

С другой стороны, Октябрьская революция не была одномерным явлением. Диктатура и насилие, объектом которого с первых же дней стали отнюдь не только прежние господствующие классы (вспомним хотя бы судьбу всенародно избранного Учредительного собрания), противоречиво сочетались в ней с подъемом активности и самодеятельности масс, поощряемой теми же большевиками, тем же Лениным, в чьих выступлениях и до и во время гражданской войны это один из наиболее постоянных мотивов. По отношению к данной — «выпрямляющей» (если воспользоваться выражением Глеба Успенского), самодеятельной, народной — стороне революции Сталин — полнейшая ее противоположность. Революцию в этой ее ипостаси он не продолжил, а растоптал, целенаправленно уничтожив и всех, кто совершал и защищал ее особенно рьяно.

Что касается нэпа и нэповского Ленина, не говоря уже о Ленине «завещания» и обо всем, что логически вытекало из «коренной перемены всей точки зрения нашей на социализм», то тут Сталин и Ленин в теоретическом плане антиподы, а в политическом — просто враги. Если бы ленинский инсульт вовремя не пришел Сталину на помощь и если бы хватило сил, он, без сомнения, уничтожил бы и Ленина. Когда впоследствии такой умысел приписывался Бухарину и другим обвиняемым на «больших процессах» 30-х годов, это было со стороны Сталина своего рода фрейдовской оговоркой, обнаружившей его собственные тайные мысли. Да, в сущности, такое убийство и было им совершено, только не физическое, а политическое, в форме игнорирования ленинского «завещания», утопления позднего Ленина в «раннем», а затем и превращения его в «безвредную икону», более того — в опору своего трона. Сталин, попирающий сапогами гранит мавзолея,— выразительный и многозначный художественный символ.

Объективно-исторически Сталин как диктатор, как «владыка полумира» и Ленин как вождь Октября при всех существенных различиях между ними представля-

ют в общем одну и ту же тенденцию в социализме; Сталин и поздний Ленин, теоретик мирного, эволюционного, цивилизующего процесса,— представители двух не просто разных, но диаметрально противоположных тенденций: доконвергентной и конвергентной, тоталитарной и плюралистической, обезчеловечивающей и стремящейся иметь «человеческое лицо». И в качестве носителей этих двух тенденций они располагаются друг по отношению к другу совсем не так, чтобы слова «продолжатель», «преемник» могли быть тут хоть сколько-нибудь адекватными, тем более исчерпывающими. Сталин умер почти через тридцать лет после Ленина, но исторически он целиком принадлежит той эпохе в развитии человечества, которую преодолел — по крайней мере в себе самом — поздний Ленин.

Ленин, Сталин — как давно это было, в другую историческую эпоху. Казалось бы, давно пора целиком оставить эти фигуры на попечении архивариусов, историков и исторических романистов. Но нет, не получается. То, что стало достоянием современного мира, нам, в России, оказалось не по плечу. Так что и сегодня тот и другой — увы, наши современники, хотя и в разных смыслах. Если Сталин (вслед за октябрьским Лениным) — наше неизжитое прошлое, то поздний Ленин — будущее, до которого мы и нынче еще не в состоянии дотянуться.

Важно понять — почему. Почему не изжито прошлое, от которого цивилизованный мир ушел вперед на целую эпоху, почему недоступно то, что для других успело стать вчерашним днем? И, главное, как нам, нашему обществу, России сломить печать проклятья, тяготеющего над нашей исторической судьбой? Это самые насущные вопросы. Но это уже предмет другого, отдельного разговора.



Русский формат в конце века

Я теперь совершенно доволен, что на транспарантах написано: «Для тех, кто в бизнесе», а по радио в метро объявляют: «Для коммерсантов и деловых людей...» Я свободен. Никто не трогает меня. Никому до меня нет дела. Никто не лезет в душу со своими восторгами и предложениями. Представляете — транспарант во всю улицу: «Для тех, кто в искусстве!» Кич, дикость. Итак, сыны свободны.

Искусство должно быть одиноко. Ему совершенно ни к чему лезть на глаза и ходить в народ. Потому и ностальгируем по застою, что тогда искусство было на своем месте — в келье для посвященных, на кухне.

Некогда, мы еще помним это, *искусства* было достаточно, чтобы утешить нас. Нам надо было так немного в нашем и так *искусственном* «раю»: пластинку Битлз, новый переводной роман... И мы были счастливы — и лишь просили: еще, еще! Больше света! И дали свет...

Нет, стой, надо еще сказать.

При Союзе, при ровном сердцебиении и в состоянии, похожем на сон, нам не хватало лишь красоты. Потребности были сильно занижены — и в таком виде почти удовлетворены. Чтобы не сдохнуть в этой удовлетворительной скуке, с миллионом мелких, но всеобщих и не смертельных проблем, достаточно было чуть-чуть приоткрыть крышечку — сбегать на просмотр, включить маг, открыть книгу, натянуть холст, — и ты становился другим человеком, приятно возвышающимся над средой. Простая проблема не разрешалась, но исчезала.

Попробуйте теперь какого-нибудь полуголодного обитателя какого-нибудь холодного зимнего Батуми утешить звуками Битлз! Горе и диссонанс стали слишком глубоки. Их уже не снимешь красотой. И «красота» стала иной: *доступной*, словно на панели. Хочешь — мексиканский сериал, хочешь — узкозадые манекенщицы в глянцево-журнале. Американский стандарт доплыл до нас и надолго застрял в голове. Святыне для нас некогда вещи крутятся 24 часа в сутки и продаются на каждом углу — в мусорной куче всякой фигни, замызганные контекстом, захватанные грязными пальцами дилеров, для которых что Битлз, что Алла Пугачева, — все едино. Но Аллочка симпатичнее (и полезнее).

С тех пор как все беспрерывно думают о *личной пользе*, искусство не спасает. Это как проклятие, наказание за измену. Для искусства нужны спокойствие души, определенный балласт ценностей, склонность к романтизму и пусть малый, но свой угол, в котором ты чему-то противостоишь, благородно и обреченно. У тебя или все есть, но нету главного, или ничего нет, и ты единственной вещью хочешь все это заменить.

Дифференциация советского общества была минимальной. Все жили в одинаковых квартирах, получали сходную зарплату, трудились в одно и то же время. Близкие малоотличимые социальные группы хорошо понимали друг друга, скажем, рабочие и интеллигенты.

Советский интеллигент — это просто человек с дипломом. Он, условно говоря, относится к «людям умственного труда», но он и кран может поменять, и машину починить. Уж этот интеллигент куда как глубоко связан с народом. Он и пьет так же, и ругается так же, а после слабых попыток урезонить обидчика словом может и в ухо дать.

Насколько же лучше понимали себя те, кто был внутри группы, те же интеллигенты. Единство быта, единство опыта обеспечивали единство мыслей, увлечений, интересов — и даже политического настроения, в конце концов и погубившего совок (он сам вырыл себе могилу этой жуткой уравниловкой).

Прежнего однообразия уже нет, хоть и до западной дискретности мы не доказались. Общее теперь — телесериалы. Не столько интересны они сами, сколько интересны как повод и пища для *общего* разговора.

Теперь тысячи забот и раздражителей, постоянная смена политической, финансовой обстановки меняют состояние души. Тебе многое стало открыто, ты многое понял, а это плохая почва для *иллюзий*. То есть для искусства. Для искусства, на мой взгляд, хорошо тихое, неподвижное горе.

Мы лишены даже этого. Мы многое завоевали, но сколько мы потеряли! Это плата за *свободу*, на которую мы согласились.

Мировоззрение советского человека было цельно. Мировоззрение современного — атомарно. Советский человек знал мало, но знал это крепко. Он имел смелость иметь мнение — о жизни, политике, искусстве. Он составлял из немногих кусочков информации богатую картину мира — и наслаждался ею. У него были кумиры, и жизнь его поэтому имела смысл и была по-своему полна.

Теперешний человек владеет миллионами кусочков картины, но это не значит, что он видит ее лучше и наконец может завершить ее. Напротив, он совершенно не может ее понять. Она оказалась химерой, чем-то совсем другим, нежели то, что виделось нам издавдала и из мрака. И у нас нет общего мнения на ее счет, как было раньше. Есть лишь частные мнения: о политике, экономике, жанрах искусства — в согласии с политическими пристрастиями, меланхолией, удачно или неудачно сложившейся жизнью.

Да, мы многое узнали, но не то, что капитализм плох. Плохи оказались люди, с которыми мы затеяли его строить. Которые были хороши, пока существовала *общая* картина, в том числе и нравственная. И которые сразу оказались дерьмом, как только картина расширилась и распалась на элементу по интересу.

Прогресс. Думаю, как мало мы приобрели от возможности немедленной связи. Что люди могут сказать друг другу — так неотложно и по существу? И чего *не мог* сказать старец Зосима бабе, у которой умер последний, четвертый ребенок: что вот люди будут искать, и стараться, и через сто лет победят эти болезни, чтобы ни дети, ни матери не страдали.

Во-первых, он не знал этого. Во-вторых, будь он столь всеведущ, он бы знал: да, умирать дети не будут, но и рожать их не будут, предотвращая большую часть их абортата. Вот куда шагнет наука или дух немощи.

От трусости ли это, слабости или в современной малогабаритной двухкомнатной действительно не родишь всех детей, которых посылает тебе Бог? — и умирает, не появившись, этот маленький крик жизни. И лишь люди с сильной религиозной идеей, вроде православных батюшек или сектантов разных уклонов, готовы приносить свою жизнь в жертву: общине ли, семейству, этой маленькой колонии своих. Хорошо, если можно так смотреть на вещи. Тогда получаются свои, а не чужие, когда ничто не вредит единству. Ни общество с его соблазнами, ни собственный порыв к индивидуальной судьбе.

Запад демонстрирует сейчас порыв к нравственности, желание гармонизировать мир, помочь несчастным, разбросанным по всему земному шару. Но не секрет, что нет более озабоченных своим комфортом и покоем людей, чем западные люди. Их жертвенность легко сменяется черствостью и бесчувственностью, когда жизненные хлопоты превышают положительные эмоции.

Таков и западный литературный герой. В русле своей духовной традиции он почти не рефлектирует, не мучается, не бьется головой об стену, не ностальгирует по прошлому. Он не в конфликте с собой. Западный герой почти не воспринимает провалов действительности. Он участник, но он вообще не знает, зачем все это существует. Автор признается за него: «Нравственность победила. Льюисен понял, что может обрюхатить ее, так как у него не было достаточно опыта...» Может быть, неверный перевод, заменивший *нравственность* слово «осторожность»? Западный герой спортивен и интеллектуален, подобно героям Фицджеральда и Хемингуэя: он плавает, боксирует, играет в теннис и воюет. Он знает несколько языков и путешествует по миру, использует экстенсивный тип жизнестроительства. Интеллектуал, но не интеллигент. Он прекрасный любовник и хорошо дипломированный специалист. И даже если он бедный отщепенец, то налета трагизма нет и в помине. Спасают эрудиция и климат, нахальство и пофигизм. И абсолютная уверенность: *личность* — настолько ценная вещь, что ни жертвовать ею, ни даже ограничивать ее ради предрасудков общества ни в коем случае нельзя. Южное солнце, свободный воздух Европы, выросшее благосостояние «излечили» его дух и создали для него новые ценности — сильного, всего добывающегося эгоиста. Это тот новый современный дух, о котором

с восторгом писала Нина Берберова: без традиций, без «гнезда», в принципиальном мировом одиночестве и с правом делать с собой, что хочешь. О том же героиня Пильняка: «Я люблю есть, люблю мыться, люблю заниматься гимнастикой... я верю... солнышку и революции, и я спокойна. Я понимаю только то, что касается меня. Остальное мне даже и не интересно... — Но у тебя есть любимый человек? — Нет, нету. Их было несколько. Мне было любопытно... Почему отдаваться не морально? — я делаю, что хочу, и ни перед кем не обязываюсь». Собственно, этот «дух» и создал «русскую революцию». Запад принял его добровольно, потому уцелел.

В романах Газданова, в последнем романе В. Березина «Свидетель» по существу выведен тот же литературный герой. Нет, он не наслаждается и не добивается всего, чего хочет. У него есть женщины, есть деньги, но счастливее он не становится. Он никак не может найти цену, за которую готов продать себя целиком. Его эгоизм столь непробиваем, а восприятие жизни столь атомарно, что смотреть на мир он может только как на посредственный кинофильм, мелькающий перед его глазами.

Были (да и есть еще) люди, писавшие о России, о войне, об убитых братьях, детях, снесенном вековым жильем, вставшем на пути «прогресса»... Но это — отчасти справедливо — воспринималось как конъюнктура, полунестыдная возможность напечататься. К тому же патриотизм презирался как форма любви к совку, почти доносительство. Над родиной и ее историей можно было только ахать — в конце всех несчастий еще породившей совок, перерезавший столько народу. Какую-то роль сыграла и странная эволюция эстетической парадигмы. *Россия* исчезла уже из писаний символистов, сменившись мифом в ряду прочих общекультурных мифов — на фоне интернациональных стилистических игр. После революции, когда все действительно русское, крепкое, самосознательное пошло прахом, стало и вовсе не до нее. Авангардистам она была не нужна, государственным революционерам — тем более. Даже Платонов отразил и увековечил ее, сорвавшуюся с тормозов, вопреки себе, трепеща и ужасаясь.

Пока Россия агонизировала, в столицах завелся разношерстный творческий бомонд, колония мифотворцев, сперва не желающих воспевать старое и постылое, потом оторвавшихся и забывших все, что знали, насквозь урбанистичных, очарованных книжным знанием и поблажками, не желающих и потому не способных страдать и не способных передать это в текстах. Россия и ее трагедия остались почти незамеченными. Замечен был ГУЛАГ, куда многие мифотворцы попали отнюдь не по своей воле, поэтому отображенный, ставший последней истиной о России. Россия или строила социализм, о чем писали официальные писатели, или сидела в лагерях, о чем писали диссиденты. Кончился социализм, кончились лагеря — и писать стало не о чем. Темы не оказалось. Разве Россия — тема? А если и тема, то уж она вся, от моря до моря, от Гостомысла до Чубайса, где много взлелеянных предрассудков и где не сыщешь людей.

Мы оказались в плену крупных тем, слегка очеловеченных личным несчастьем. Если мы и писали о судьбе человека, живущего на окраине, то лишь для иллюстрации какой-нибудь абстрактной негативистской идеи. Вообще, глядя на предмет в определенном ракурсе, легко серое увидеть как черное. Любой художник усиливает определяющий признак. Но нашими любимыми приемами стали гротеск и пристрастность.

История перекатилась через каждый наш род катком, повиснув на руках тяжестью долга. Однажды я прочел у грузинского писателя Гамсахурдиа: «Писатель — заступник преданных забвению героев». Нет, просто людей, которые погибли не за славу, не за вину, испытав жестокость и несправедливость, достойные только избранных. Испытали трагедию, не будучи героями. Ни за что на свете я не хотел бы испытать такое на себе. Мы все умрем, но зачем же умирать так мучительно и бесполезно, не имея возможности даже воспользоваться плодами опыта?

Чем дальше от войны, тем бледнее литература, искусство, тем поверхностней отношение к жизни. Война всегда была не только катализатором технического развития, но мощнейшей подпиткой души (а не общества и его предрассудков). Война вообще была *всегда* и очень близко.

Война — это еще честь, ответственность, милосердие, самопознание, жертвенность. (Кажется я вышел проповедником войны.) Многого делали воевавшие. И очень многое — дети войны, все видевшие и оставшиеся живы. Мы, родившиеся через пятнадцать—двадцать лет, — пустозвены и абстрактны. Те, кто следует за нами, унаследовали все наше, но еще более веселы, развращены поблажками, неприципиальны.

...Поэтому западная литература и умерла уже давно: она давно не знала войны и гибели. Только тот может быть писателем и учить, кто реально ощущал ги-

бель (впрочем, не обязательно в окопе). Литература — это летопись войны, ожидание гибели и страшная, неправдоподобная надежда. Это отчет о безумии и непрочности жизни, которые можно заслонить только удесятеренной любовью друг к другу. Все остальное — бесплодные слова, не отличающиеся от правил посещения бани.

Вместо литературы — «философия современного человека», теории о «конце истории», постмодернизм в курицыновском понимании... отмена иерархичности, отношение к жизни как к игре или тексту, а к тексту как возможности «показать» жизнь через перемешивание художественных штампов.

Нет никакой «современной философии» — есть «массовое сознание», мелкими зубками поедаящее «массовую культуру». И есть игра — со штампами массовой культуры, есть *пародия* на современное сознание, сатира, сделанная, как подлинник, так что ценители лоятся. Вернее, они теперь и называют это высоким искусством, как было с «Pulp fiction» Тарантино.

Но что же это за штука — «массовое сознание»? Это когда все ценности культуры, миллионы книг и имен, полководья смыслов, лес систем и т. д., оказались современному человеку не нужны, недоступны в силу узкой специализации и нехватки времени — и при этом не забываются, не отменяются совсем как составляющие *цивилизацию*. От них официально не отказываются, их преподноят в школе (в усеченном виде), чтобы больше не упоминать. Они становятся информацией в ряду другой информации. Они становятся просто *знаками*, с которыми действительно можно делать что угодно. Самое почетное для такого знака — быть экранизированным. Тогда сохраняется хотя бы имя. Иногда ставят балет или оперу. Труп знака пляшет и поет, вызывая рожу плескания.

Из этих «знаков» и создают *дайджесты* вроде пелевинских романов, странное гастрономическое блюдо наподобие пирожка, в котором одна часть сделана по рецепту китайской кухни, другая — русской, третья — французской, четвертая — еврейской и т. д., и который можно проглотить двумя укусами между завтраком и обедом и испытать «приобщенность». Пелевин эксплуатирует штампы снобов, он играет со снобистским «массовым сознанием», любящим имена, экзотические учения и заковыристые фразы, понимающим искусство как перечень отличных цитат, некий концентрат мудрости или хитрости и, конечно, раскат остроумия.

Отчасти он делает и доброе дело — приобщает подростков к философскому мышлению, называет неизвестные слова и увлекает в царство рефлексии. Но делает он это менее благородно, чем Герман Гессе, который в своих рассудочных и, на мой взгляд, малолитературных текстах действительно *искал ответ* — и привлекал чужие смыслы. Пелевин лишь играет, развлекает себя и публику. Ни в какие смыслы он не верит или не способен их постичь. (Адепт не посмел бы разглашать и продавать святыни.)

Все современная как «высокая», так и массовая культура — это система «дайджестов»: пересказ, словарная статья, интерпретация, интерполяция, смещение смыслового ударения, игра с основными понятиями, вырванными из контекста. Теперь уже создаются учебники литературы, пересказывающие мировую классику — чтобы не читать ее.

Ролан Барт говорил о «письме» — опредметившейся в языке идеологической сетке, которую культура помещает между человеком и действительностью, приносящая индивидуумов думать в определенных категориях. Можно с уверенностью сказать, что прежняя советская «сетка» разорвана. Взамен на действительность попытались наложить американскую, но она плохо подошла, вызвав приступ раздражения, как очки не с теми диоптриями. Постоянные в последнее время разговоры о «национальной идее» — это попытка создать для нас новую «сетку», глядя сквозь которую, как сквозь зеленые очки, мы бы расслабились и возгордились. Увы, сознательного усилия здесь, видимо, недостаточно. Такие шоры моделируются десятилетиями.

Культура теперь — это даже не кастовая привилегия. Художник — рядовой член общества, неизбежно отовсюду стесненный, тогда как раньше он принадлежал к сословию, имевшему возможность читать и писать в отсутствие иных дел. Утраченный Золотой Век! Нынешний — золотой век дайджестов, подделок, римейков, перелицовок и пародии. Не может быть ничего глубокого, потому что *личность* не может позволить себе быть глубокой, задумываться, погрузиться в меланхолию, ждать невозможного. Современное искусство отняло у церкви прерогативу *утешения* — и так утешило, что человек не то что не боится смерти, а почти желает ее, столь неестественна и плоска стала жизнь. Когда хватаются за любую драму, чтобы смазать пресс, где штампуются «искусство», свежей кровью, сделать массовую де-

шевку и заработать миллион. Смерть принцессы Дианы породила уже, кажется, три фильма, гибель «Титаника» — чуть ли не шесть.

Как часто западное образование, опыт не работают в России. Они словно программы определенного формата — не сочетаются с нашими компьютерами. И не потому, что они так сложны, а наши убоги. Просто всякое образование, всякая практика на Западе очень специализированны. Пути самореализации, пути жизни, пути включения в общество утверждены и упрощены.

Вообще демократизация ведет к усреднению личности; к снижению требований (в первую очередь интеллектуальных). Современные западные — даже университетские — люди не знают иных иностранных языков, кроме нужных им по профессии. Они узко знают свой предмет, но и в него не углубляются чрезмерно. (Поэтому специалисты из России часто бьют их на их же поле.) Они не работают меньше, но и не будут работать больше, чем надо. А для прорыва в каком-либо деле очень часто нужен *надрыв*. Русские люди способны на надрыв, это их повседневное состояние. Русским людям приходится действовать в нестандартных ситуациях, где отсутствуют какие-либо законы и традиции, где нельзя ни на кого положиться, где надо ожидать худшего и все же действовать. Русский человек должен постоянно грести, чтобы не утонуть.

Русские — онтологический бунт против Бога. Это не что-то промежуточное между Западом и Востоком. Это самостоятельное третье. Это нечто вне западного *ratio* и восточного трудолюбия. Россия знает тщету и того, и другого. Россия — самое философское место. Ее нельзя приручить. Она пьет, потому что знает, что истинное творчество не от рассудка. Она достаточно мудра, чтобы постигнуть изобретенное Западом и не соблазниться. У России свой путь не потому, что мы *православные* или кто-то еще. Это лишь одна из возможных идентификаций. *Свой путь* — это коррекция чистого *ratio* и коррекция чистой метафизики Востока. Прав лишь Бог. Но мы не узнаем его правды. И все же хотим его правды. На меньшее мы не согласны.

Россия — самое апокалиптическое место в мире. Бессмысленность, непереносимость, бескомпромиссность — атмосфера сильная для художника. Он действительно брошен, действительно одинок, действительно безумец и странник. Потому что тут все такие. И у него на самом деле нет приемлемых шансов устроиться, затихариться, сойти за хорошего. Потому что пока не сопьешься и не сдохнешь, никто не поверит, что ты был хорошим. Хорошим художником или просто хорошим человеком. Страдания — нормальные будни этого социума, а если верить Гоголю и Достоевскому... Да, очень творческое место: если не сдохнешь и не скурвишься — станешь художником. Во всяком случае, в пространстве своей судьбы.

Для многих (если не всех) западных патриотов России она ценна той формой, которую получила в XIX веке и которую по инерции продолжает отчасти сохранять и теперь. Эта форма выросла из главной ее идеи (как они считают) — преобладания духовного начала над материальным. Так они и разделяют: западный прагматизм и российский спиритуализм.

Мы-то знаем, какой тут спиритуализм! Для спиритуализма необходим один важный компонент — сам «спирит», то бишь дух (душа). Кто, в какие времена видел его в тех, кто заведовал прогрессом этой страны, кто по обязанности должен был заботиться о благе подданных? Российский спиритуализм — это вынужденное смирение, это нищета, махнувшая на все рукой. Когда материальный мир отвратен, совершенно обглодан лишенными всякого «спирита» темными жуликоватыми властями и ничем приятным не грозит, тогда прячутся в «дух» амбициозные трансцендентальные причуды и бесшабашность. Пропади все пропадом, делай, что хошь — все равно померем!.. Отсюда и наша «широта души», когда тот же самый человек в одной ситуации может убить, в другой — отдать последний рубль. Причем и то, и другое он делает абсолютно бессознательно и невольно.

И ничего здесь не меняется. За последние десять лет Россия не стала ни богаче, ни счастливее. А ведь так много ставили на «перестройку»! Почему, почему? Неужели эта страна органически не может меняться? Естественно и бесповоротно. Конечно, вдоль любого загородного шоссе нагло и навязчиво мелькают особняки тех, кто что-то от «перестройки» получил, но это лишь увеличивает нестабильность и конфликтность. Россия в целом не умеет и не хочет зарабатывать деньги. Зарабатывать для себя (все равно придут и отнимут, сгорят, украдут) — стихийно и обреченно следуя христианскому идеалу. Поэтому она будет прозябать, кланяясь удачно поимевшим ее бандитам и мерзавцам, и однажды возьмет топор и сметет всех под корень, виновных с невинными, как обычно...

Двадцать лет назад инерция времени была такова, что заставляла даже совершенно нормальных людей сидеть ночами на кухне и переводить с английского «Бхагавад гиту». Потом они займется более свойственным им духовным делом — пьянством. А потом еще более свойственным и нормальным — зарабатыванием денег. (Не исключен и возврат к «Бхагавад гите».)

Это было интересно всем — открывать, по-видимому, последние неизвестные пласты мировой культуры. В первую очередь неспециалистам. Мы были смелее и любопытнее «специалистов». Это был период дилетантского творчества и дилетантской образованности. Период бескорыстного отношения к знаниям.

Знанию приписывали мистическую роль: оно сильно и опасно, раз его скрывают. И мы победим, если его обречем.

Поэтому образование распространилось удивительно широко, а творчество осталось не выражено. Дилетантский плацдарм для него — неподходящая вещь, особенно в этой стране, где даже музы слетают по расписанию. Да и заказ на творчество был минимальный. Был социальный заказ, диссидентский. И надо было создать что-то новое, открыв новый материал, чтобы строить. Где красота искусства или религии (любой) сочеталась бы с революционностью.

Мы открыли его (этот материал) бескорыстно. Строить из него мы не успели. Или из него нельзя строить, или уже не надо было строить вообще. Мы осуществили социальную, а не художественную функцию. К сожалению. Это было ошибкой, но неизбежной.

Кончу тем, с чего начал. Как мало нам было надо, чтобы быть счастливыми. Мы радовались крохам с западного стола, любой поблажке в нашей скучной, по железной линейке отмеренной жизни. И мы были правы: там, где люди любой нормальной страны не увидели бы ничего, мы находили праздник, для которого, собственно, годится любой повод: и большой, и малый.

Теперь, чтобы быть столь же счастливыми, нам не хватит не только пластинки Битлз, но и всей коллекции на CD с CD-плеером в придачу.

А ведь радовать может любая вещь, любой светлый день за окном. Все это милость жизни. В ней бывает очень плохо, но и *плохо* подтверждает ее наличие. Наличие нас, наше присутствие. И надо радоваться присутствию, а не требовать дополнительной платы и льгот за согласие *быть*.

Поэтому и написать хороший современный рассказ не Бог вещь как сложно. Вроде бы все о том же — уже надоевших трудностях быта, кошмаре разваливающейся жизни в разваливающейся империи. Но пусть этот фон лишь подчеркивает красоту характеров. Подчеркнет мысль, что человек не ломается и не определяется бытом. Напротив, что-то для себя открывает более важное, чем благополучие и покой: важность человеческого участия.

Это открывает для себя, мне кажется, и русская литература, которая снова стала писать о маленьком человеке, об ужасном мире и о душе, в этом мире тем не менее существующей, мучительно и чутко. Трудности жизни и трагедии людей улучшили нашу литературу. Это не спекуляция на трудностях. Мне кажется, авторы действительно учатся переживать за своих героев, пытаются найти оправдание их жизни.

Пожелаю того же и критикам — чаще уезжать из Москвы, но не на Запад, а в провинцию, и не с делегацией, а в одиночку — и смотреть, как бьются с жизнью простые люди. Вот где сюжеты, незамысловатые, но теплые. Вот что излечит их от снобизма и мозговых игр.

Мы входим в двадцать первый век обремененные историей, не залечившие всех ран, еще помнящие обиды и удивительно лишенные оптимистической исторической традиции. С запущенной, дремлющей, предусмотрительно оставленной про запас богатейшей страной... Если только мы не сами во всем этом виноваты, значит, путь наш — загадочен и велик.



Петр АЛЕШКОВСКИЙ

Раз картошка, два картошка

— Крайний Север? Никогда не был севернее Архангельска. Архангельск! Там картошка растет.— И с нескрываемой гордостью: — В Заполярье после распада Союза все быстро меняется. В Норвегии и Швеции сейчас много говорят о «северном измерении». Люди начинают жить по-другому.

— Вы имеете в виду комфорт, Интернет и мобильные телефоны?

— Все вместе. Я бы скорее стал говорить об отношении к жизни, о самообеспечении. Теперь, когда открыли границы, люди много общаются, «северное измерение» приходит и к нам. Это неизбежно. Поезжайте, посмотрите, как там люди живут,— с нажимом на люди. Крепкое рукопожатие. Большой чиновник Госкомсевера России. Человек-гора. Таким в командирском «уазике» или в «Жигулях» тесно. Им бы в «ЗИЛе 130-м» ездить: рука — лапа, стакан возьмет — не увидишь, чекушку заграбастает, только горлышко торчит. Доктор — профессор. Тема докторской: «Выживание в экстремальных условиях». В кабинете на столе и по стенам фотографии: олени — тюлени, яранги — хореи, нарты — эскимосье; резной моржовый клык, дипломы зарубежных научных обществ. Чувствую — любит.

— Вайнштейн вас встретит и все организует — мужик надежный. Они в Апатитах создали университет. Теперь по призыву туда никто не поедет, так что приходится самим ковать новые кадры.

Лет пять, наверное, я не был в российской командировке. Я радостно согласился.

В Москве жара, тополиный пух заменил воздух. Мокрые простыни. Будильник заряжен на раннее утро. Сна нет.

Древним египтянам смерть представлялась тихим путешествием в барке под парусом по Нилу. Тень и речной бриз.

Как я их понимаю!

Недавно я услышал очередную утопию, ее увлеченно пропагандировал один известный академик. Ученые предсказали скорое потепление мирового климата. Льды растают — Россия обретет незамерзающий Севморпуть. Новый Суэц — неисчерпаемые запасы валюты, богатые портовые северные города. Сказка-счастье.

Уже засыпая, я вспоминал последнюю поездку в Архангельскую область — месяц мы сплавились на резиновой лодке по рекам, прорезающим девственную тайгу. Мелкие речки текли с водораздела под видимым глазу наклоном, вода катилась по камням, как брусника по доске, когда ягоду сортируют после сбора. Глубокие озера, в которых тихо шевелилась придонная трава. Нетронутый лес, синие в сумерках боры, глушащий шаги мох, сводящие с ума мошка и комары и тишина, погружающая в состояние счастливой отрешенности.

Кольский был совсем недалеко от Архангельска, и мне мечталось...

Цель командировки была простая — ездить по Кольскому полуострову и смотреть по сторонам. Даже на карте он выглядел грандиозным, почти без дорог и населенных пунктов. Древние новгородцы пришли сюда еще в одиннадцатом веке за драгоценными мехами — основной валютой своего государства. В средние века мех стоил очень дорого, только в России существовали соболи и куницы, высоко ценившиеся тогдашней аристократией. Когда-то в университете я написал диплом об истории северной колонизации. Смотрел карты, чертил пути. Первопроходцы добирались по рекам на небольших кораблях-насадах. Там, где реки близко подходили друг к другу, ставили корабли на катки из бревен, волокли их по суше.

Потом, много позже, на Север бежали от гнета официальной церкви староверы-поморы, вынужденно превратившиеся из обычных земледельцев в рыболовов и таежных охотников. Русская колонизация вытеснила местные финские племена, частью они вымерли, частью перебрались в Финляндию, часть до сих пор гоняет по тундре олени стада.

Последней была волна советских переселенцев. Богатая минералами земля, как некогда соболиные шкурки, кормила советский режим. Что я хотел увидеть или понять там, на Севере? Толком я не знал, но понимал, что ехать надо, всегда придерживался тезиса, что Москва — не Россия, как Нью-Йорк — не Америка и Париж — не Франция. Поэтому, наверное, и напросился в командировку.

Подполковник, точнее, «кап-два», в морской форме на среднем кресле. У окна спит капитан в десантной форме, берет надвинул на глаза. По селектору передают:

— Погода в Мурманске плюс шесть градусов, облачно, дождя нет.

С глупым видом принимаюсь застегивать на все пуговицы легкую белую рубашку, раскатываю рукава.

— Поверил телевизору? Сколько объявили?

— Шестнадцать — девятнадцать.

— Взять бы этих синоптиков да к нам на побережье.— В сторону капитана: — У нас снег сошел?

— Неделю назад лежал, сейчас, наверное, уже нету,— неохотно, спросонья.

— Москве верить нельзя, даже Мурманск теперь часто врет.

— А когда Москве можно было верить?

— Раньше можно было.

Сворачиваем на политику. Москва — развратный Вавилон, качающий деньги, забывший о них, погибающих в снегах. Опять словно ненароком возникает картошка.

— В Мурманске хотя бы картошка родится.

— А у вас?

— Клименко, что у нас родится?

— Дети, долги и скука.

— Платят-то прилично?

— На бумаге. Паек не видим полтора года.

И далее, загибая пальцы, перечисляет непонятные мне надбавки, положенные, но кем-то украденные. Набирается на целую ладонь.

— Выйду в отставку, буду судиться с армией.

Отмечаю про себя: никогда б ты раньше и помыслить не мог — судиться с Красной Армией.

— Я слышал, что за последние два года набор в военные училища заметно увеличился, во многих даже появился конкурс.

— Дураков нет. Получат задарма хорошее инженерное образование да еще стрелять научатся, контракт не подпишут и останутся на гражданке.

Говорит зло, сухо — я ему чужой, как, кажется, все здесь в самолете.

— А нам еще сто пятьдесят километров лететь,— заявляет вдруг капитан.

Прощаемся перед выходом, капитан роняет:

— Приезжай в гости, посидим у моря, подождем погоды, тюленя увидишь — обхохочешься.

Но адреса не оставляет.

Остается гадать: где стоит их часть, чем они занимаются и что у них там, если не родится пресловутая картошка? Дети, долги, долготерпение, растущая злость или просто рутинная служба и вынырывающие из воды тюлени?

Евгения Александровича Вайнштейна я узнал сразу. Светло-серый пиджак, черные брюки. Большой, грузный, широкоплечий. Голос представительный, строгий. Сдержан, корректен — пять или шесть лет пробыл мэром Апатитов. Теперь — замдиректора Кольского филиала Петрозаводского госуниверситета. Сам же его и создавал сотоварищи. Отказываюсь от помощи, качу свой московский чемодан на колесиках к машине, прошу только пять минут на перекур. Достаяю свитер. Счастье, что в последний момент положил его в чемодан.

— Первый раз? Тогда проедем через Мурманск. По пути завернем в Мончегорск.

У машины Вайнштейн вспоминает Москву, где родился и учился в МГУ на мехмате. Хамски иду в атаку.

— Наталья Давыдовна Айзенштадт — вам что-нибудь говорит это имя?

Все разом меняется.

— Тетя Наташа?

Тут уже я не выдерживаю:

— А Изя Вайнштейн вам кто? (Так его звали в доме моей тетки.)

— Исаак Аронович — мой дядя. Он и сейчас преподает в МГУ.

Вспоминаю интеллигентное лицо в круглых очках. Помню, конечно, что без ног — военное ранение. До войны Исаак Аронович учился с моей родственницей на одном курсе. Они дружили всю жизнь.

Евгений Александрович пускается в воспоминания. Его отец работал инженером на руднике в Кировске, он учился там в школе. Затем переехали в соседние Апатиты, возникшие сравнительно недавно в шестнадцать километрах у подножия Хибин.

Подъезжаем к Мурманску. Что я о нем знаю: незамерзающий порт, атомный ледокол «Ленин», английская интервенция времен гражданской...

Слушаю я плохо, больше смотрю по сторонам. Залив, или губа, или фиорд — скалистые берега, преобладающий цвет — серый: серая вода, серые камни, серое небо, серые военные корабли вдалеке, только новый атомоход красно-коричневый. И дома — серые, из местного силикатного кирпича. Ни одного деревянного дома, ни одной печной трубы. Все трубы высокие, промышленные. Железнодорожные пути по берегу. Горы и ущелья застроены типовыми советскими коробками. Где-то далеко на горе — Алеша, двойник болгарского памятника воину-освободителю. Вайнштейн кивает на памятник без гордости, и вдруг я понимаю, что к нему тут привыкли, как, наверное, некогда к Александрийскому маяку. Свадьбы навещают бетонного Алешу, приносят живые цветы. А где их тут еще класть, на холоде, на ветру, в сером-сером пейзаже?

— Смотри, берега только распускается.

Первая неделя июня, а лист с копеечку!

Боже, как же здесь мрачно и... мощно!

Сперва сюда ехали все больше в вагончиках, после войны потянулись за длинным рублем. Теперь бегут.

Много старых иномарок, но много и новых, блестящих — как, впрочем, везде. Рядом Норвегия и Финляндия.

Совершив круговой объезд, съезжаем на трассу Мурманск — Санкт-Петербург. По всей дороге фанерные щиты с надписью: «Семга». Продают норвежского мороженого и малосолевого лосося — солят уже сами. Жгут костры у обочины, иногда строят навесы или спят в старых лежковушках. Своя семга пойдет через две-три недели, норвежской торгуют круглый год.

Дважды промелькнули шесты, увешанные шкурами песцов и чернобурок — в километре зверосовхоз. Зарплату выдают шкурами.

Картина в стиле Комара и Меламиды: «новые новгородцы» собирают дань у лопарей на трассе Мурманск — Санкт-Петербург. Кому здесь нужны эти меха?

До Апатитов еще больше сотни километров. Деревень и сел нет. Севернее Мурманска города, закрытые от случайного посетителя, — базы флота, подлодок, ремзоны, заводы, ориентированные на оборонку. Оборонка развалилась.

Лес за окном мелкий, низенький, но лес — с болотцами, которые я так люблю. Шоссе с хорошим асфальтом. Впереди Мончегорск — черная дыра, экологический кошмар и официальный прием в мэрии. Будь что будет. Холод за окном не страшен — есть свитер, надо будет — Вайнштейн найдет ватник, или куртку, или пальто, что тут они носят в июне? Вайнштейну вон и в пиджаке жарко.

Мэрство «одарило» его инсультом, левая рука потеряла чувствительность, но он курит беспрестанно и рассказывает. Я слушаю.

В центре большого полуострова горные массивы — Хибинские и Мончетундра. Мончегорский обогатительный комбинат давно работает на привозном норильском сырье. В нем много вредной серы. Апатитский перерабатывает свое, добываемое в окрестностях соседнего Кировска.

В Апатитах еще есть наука. Девять академических институтов — Кольский научный центр Академии наук, один академик, несколько членкоров. Докторов немерено. Теперь вот появился университет: история, юриспруденция, финансы и кредит, бухучет. Большая часть местных студентов учится за счет посланных их соседних городов.

Цифры и факты растворяются в задымленном салоне машины, остается одна неприкрытая эмоция, которую толстый немолодой старожил пытается передать толстому и не совсем еще пожилому налетчику из столицы. Это ему удастся.

Он вырос здесь, в Москве ему жарко и неудобно. Здесь его уважают. Отсюда он не уедет никогда.

В мае 1920 года Петроградский исполком создал комиссию для обследования построенной наспех в 1916 году Мурманской железной дороги. Академики А. П. Карпинский, А. Е. Ферсман, Ю. М. Шокальский и геолог А. П. Герасимов отправились на разведку малой скоростью. Дорога была в плохом состоянии. На станции Имандра на берегу бесконечного озера решили сойти с поезда и погулять по Хибинам.

В результате этой прогулки началось научное изучение края. За три последующих года было найдено 90 месторождений редких минералов. В 1929 году был организован трест «Апатит». В краеведческой брошюре, посвященной Мончегорску, местный историк приводит слова Михайлы Ломоносова: «По многим доказательствам заключаю, что и в северных земных недрах пространно и богато царствует натура».

Красивые слова, под стать барочному столетию, что было пышным, показушным и победоносным. Женатый на скромной немецкой барышне гений великороссов всю жизнь пропророчествовал и провоевал за лидерство в Академии наук, оставив нам свои труды, стихи и крылатые слова. Натура на Севере, конечно же, царствует. Та еще натура.

Мончегорск лежит у подножия Мончетундры (если дословно перевести с лопарского, «красивый город» лежит у подножия «красивой тундры»). «Красивая тундра» — это Имандра. Озеро бесконечно. Третье по величине. В мире? В России? Забыл — важно, что красивое, с островами, а по количеству заливов, по причудливой изрезанности береговой линии может сравниться с Селигером.

Меня предупреждали в Москве, и все же то, что увидел, превзошло ожидания. На километры по склонам гор, по обочинам дороги, куда долетает язык выбросов комбината, страшная, словно кислотой протравленная земля. Мертвые, засохшие в мучениях деревья, стволы белые, без коры, как выставленные напоказ язвы профессиональных нищих, что призваны вызывать сострадание, а рождают лишь отвращение и желание бежать без оглядки. Сера, содержащаяся в норильском сырье, попадая в атмосферу, сжигает все вокруг. Здесь становится понятно, почему «ад» и «сера» — слова из одного ряда.

Мэр Мончегорска на мгновение утонул в мощных объятиях Вайнштейна, но, ловко вынырнув из-под его руки, повел нас в стеклянное здание, похожее на дворец культуры и районную поликлинику одновременно. Лестницы здесь были чисто вымыты, а вахтерша-пенсионерка радостно заулыбалась при виде нас. Где-то в городе шел праздник, автомобильное движение в центре закрыли. Народ гулял на улицах. Самодеятельность плясала и пела. Вечером обещали концерт бардов. Сославшись на занятость, мы от приглашения отказались.

В длинном кабинете мэр вскипятил кофе, достал из спецзапасов коробку конфет. За стеклами шкафа расположилась коллекция местных камней. Тут же висели вымпелы и стояли памятные сувениры: подводная лодка, сработанная в свободное от вахты время, шлифованный розовый минерал с наклеенными на него каменными тучами и дальним лесом и просто елочка, составленная из каких-то колючих кристаллов. Про нее мэр специально заметил: «Вот, держу под стеклом, все же фонит».

Мэр сетовал на отсутствие денег, на всеобщие неплатежи и бардак, но не без гордости признался, что мончегорских ребятишек сумел отправить на лето в Крым в спортивный лагерь. Стали собираться — мэр спешил на дачу, где мне была обещана встреча с первопроходцами комбината.

Завернули в магазин и поехали — мэр на старом джипе, мы на «Волге». Скульптуру бетонного лося, попавшую в местный герб, конечно же, объехали по кругу. Он стоял на постаменте из диких валунов и грустно смотрел в сторону сожженного леса.

Минут двадцать петляли по скудной растительностью дороге и наконец оказались на берегу того же озера Имандра. Мэр строил тут дачу — маленькую, никаких каменных хором. Основной дом, как он признался, припасенный на пенсию, дожидается их под Череповцом, на родине жены.

Участки садового товарищества, как сказали бы мы в Подмоскowie, те же пресловутые сотки, а вот земля под огороды, похоже, привозная. Мужики с соседних дач здоровались на равных, словно вел нас начальник цеха, а никак не глава местной власти. В этот выходной мэр приехал с семьей посадить картошку. Районированную. Приспособленную к местным условиям. Предмет всеобщей гордости. Мне показали проросшие красные клубни, и я повертел их в руках.

На соседнем участке шла гульба. Грузин Игорь, он же Яго, русский дядя Боря и печальный безымянный осетин жарили шашлыки. Целое ведро свинины, лес самодельных шампуров, стол, ломящийся от закуски. При виде нас общество восторженно завопило. Поднял стаканы. Дядя Боря начал вещать про некую трубу, которую он строил в далекие годы, когда Игорь-Яго еще под стол пешком ходил, и построил так крепко, что она стоит до сих пор. Яго принялся мечтать вслух, как он скоро уедет в теплую Грузию к маме. Осетин молчал, а потому все над ним подшучивали. Шашлык получился вкусный.

На мои глупые вопросы относительно профессиональных болезней и загубленной природы громко смеялись и сообщали, что в некоторых цехах работают только в противогазах. Дружно вспоминали, как раньше ездили отдыхать на юга — отпуска на Севере суток по пятьдесят. Теперь вот стали строить дачи — денег на перелеты больше нет.

Натура царствовала здесь пространно и богато. Зарплаты им задерживали, пенсия у дяди Бори была как у всех, но откуда-то взяли ведро свиного шашлыка, и водка, и закуска на столе. Когда затанули песню, мы с Вайнштейном потихоньку ретировались. Стоял душный вечер. Кусались большие комары.

Дорогу до Апатитов я проспал. Помню только, как Вайнштейн сказал: «У меня дачи нет и никогда не будет, а картошки я себе всегда куплю на базаре, сколько потребуется».

На следующий день была суббота. Я проснулся в трехкомнатной квартире, принадлежащей университету. Дневниковая запись того дня скупа: «Туман. Дождь. Обещана рыбалка». Она не состоялась, так как Миша из горсовета, специалист по выездам на природу, в пятницу как на грех допоздна провожал шведскую делегацию в местном ресторане. Мы отложили рыбалку на воскресенье. В какой-то момент днем на пороге квартиры возник Вайнштейн и повел меня гулять по городу. За час с небольшим мы обошли его весь. Цены на базаре были московские. Барахолка рядом наводила уныние стандартным турецким набором, которым забиты все города и села России.

Баллончики с краской были здесь в ходу, но граффити оказались не так часты и изощренны, как в Москве. В основном красовался на стенах Цой, кажется, порядком забытый в столице, и таинственная «Продиджи», презираемая моим тринадцатилетним сыном, а значит, в определенных кругах молодежи весьма модная.

Мы шли по главной улице Апатитов — улице академика Ферсмана, мимо здания РАН, выстроенного еще в сталинских традициях. Здание было оштукатурено и даже покрашено в коричневый цвет, чем отличалось от серо-силикатного города. Жилые дома делились тут на три категории по годам застройки: шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые. Семидесятые были улучшенной конструкции и планировки, а восьмидесятые — еще более улучшенной. Определить снаружи разницу было затруднительно.

Несколько раз выныривали недостроенные здания. Громадная больница — такая и в Москве была бы к месту.

— Денег не хватило, о ней я больше всего жалею, — пожаловался Вайнштейн. И тут же честно добавил: — Правда, как всегда, заболели гигантоманией. Зачем было такую здоровенную строить?

Гигантоманией болел и какой-то быстро прогоревший банк — его коробку Вайнштейн мечтает в скором времени приспособить под здание университета. Долгострой присутствовал и в пейзаже моего двора: великая китайская стена — многоквартирный дом без крыши, зияющий пустыми окнами. Его покой стерегли два гигантских ржавяющих крана.

— Академстрой. У нас теперь такой острой проблемы с жильем не стало, люди драпают.

Вайнштейн довел меня до порога и оставил одного. Я сварил картошки, выпил чаю и принялся смотреть в окно на далекие предгорья Хибин. Передо мной развернулась бесконечная промзона обогатительного комбината. Трубы и коробки заводских зданий. Из одной трубы тоненькой, но упорной струйкой вырывался черный дым.

На переднем плане царствовали частные гаражи. Остовы покореженных машин на крышах, трубы вентиляции. Я насчитал пять надстроек — вторые этажи с телевизионными антеннами, своего рода ателье, где местные мужики скрывались от жен.

Небо по-прежнему было низкое, свинцовое, запечатанное тучами. Я завалился на койку и принялся читать роман Кундеры «Невыносимая легкость бытия».

Рыбалка не состоялась и в воскресенье. Уже в одиночестве я побродил по городу, закрепляя увиденное вчера, отведал кольского пива, настойчиво рекомендованного мне гражданами у ларька. Пиво оказалось и впрямь свежее.

Отведать чудодейственного напитка мне не удалось, может быть, он оказался бы кстати.

Зато несколько раз среди дня проглядывало солнце.

В 17.00 зазвонил телефон.

— Але, это в четвертый домик я попала?

Полчаса я гадал, о каком домике шла речь. Вынужденную медитацию прервал женский голос с соседнего балкона:

— Хочешь на улице остаться? Да! Да?

— Дя-дя! — детский рев.

Хлопнула дверь, рев прекратился.

Дым из далекой трубы вдруг стал белым и повалил как из самовара, который покачали сапогом.

Утром в понедельник я пришел в университет. Крепкое пятиэтажное здание с высоким крыльцом, ведущим сразу на второй этаж. Оно словно стояло на подклете, как поморская изба. Коридоры, стай студентов, абитуриенты с родителями, изучающие доску объявлений. Дешевый и вкусный буфет со своей выпечкой. Библиотека — небольшая читальня и подсобки, забитые книгами, еще не расставленными полностью по стеллажам: библиотека недавно переехала. Да и всему-то заведению, кажется, два года.

Вайнштейн повел меня в компьютерный класс. Сам он читает здесь математику. Компьютеров было много.

— Кадров, конечно, не хватает, вот взяли хорошего парня из школы — преподавателя истории, обязали срочно защитить кандидатскую. А это наш большой лекционный зал!

Помещение человек на пятьдесят от силы. Чувство Вайнштейна передалось и мне. Нам часто нравятся картины в мастерской художника, мимо которых на выставке прошел бы, не заметив. Сколько же сил стоило все это пробить, согласовать, утрясти, привезти, расставить? Нужно ли такое образование? Вайнштейн уверяет, что нужно. Оплатить учебу детей в больших городах, даже наскрести денег на проезд нынешние родители не в силах.

Вскоре появился водитель Сергей, и мы отправились в Кировск — сердце Хибин, к главному городу-руднику, с которого все тут начиналось. Из туч вынырнуло солнце и так и стояло весь день. На мосту я заметил человека в одних плавках — он шел медленно, закинув голову, блаженно ловил солнечные лучи.

Солнце и электроэнергия — две главные проблемы Севера. Энергией край пока снабжает Коляская атомная станция, нехватку солнца раньше восполняли поездкой на юг, к теплому морю. Теперь для северян осталось только море — свое, холодное.

Сталинских строений в Кировске было больше, чем в Апатитах, — мелькнула грандиозная лестница, она вводила куда-то в гору к белым колоннам и лепному фризу, но машина взяла крутой поворот, и видение исчезло. Слева и внизу возникло озеро, окруженное старыми горами. На берегу мертвый завод, те же трубы, корпуса, подъездные пути — первый обогатительный, теперь не работающий, законсервированный. Рыбы в озере, как мне объяснили, давно нет.

Скоро Кировск кончился, и тут же возник ряд домиков, принадлежащих ботаническому саду, заложенному в Заполярье еще академиком Ферсманом.

Выметенные дорожки, кустики, травки, цветы, уникальные деревья. Милая девушка-аспирант, занимающаяся березой в условиях крайнего Севера, повела нас в теплицу. По красивому мостику перешли ревуший поток, несущийся с гор.

Невысокий смешанный лес заползал на склон горы. Дышалось легко, отовсюду слышен рев обезумевшей воды. Контраст с городом налицо, все тут ублажало глаз, радовало и успокаивало, стало понятно, почему сам Ферсман жил здесь, а не в Кировске.

— Это сейчас, когда тает лед, река такая красивая, — призналась девушка, — летом тут течет едва заметный ручеек.

Выходило, что мне повезло, я задержался на мостике, уходить не хотелось. Кругом шла работа — женщины в синих халатах удобряли почву, высаживали в грунт рассаду, пропалывали ряды каких-то едва пробившихся из земли ростков. Над отъединенным уголком заповедной земли высилась громадная гора, ее голая светлая вершина блустила, как лысина, на фоне яркого солнечного неба.

В теплице — духота, пальмы, агавы и рододендроны. Кофейное дерево, лимонное с проклевывающимися плодами и что-то еще и еще — редкое, даже ядовитое, с красивыми цветами. Девушка увлеченно рассказывала: в Норвегии несколько лет назад устроили подобный сад, до этого Кировский был уникален — единственный в Заполярье.

Я подобрал странный лист, чуть отливающий воском, — древний японский предок сосны, уронил его на мокрый песок, сунул украдкой в блокнот. С потолка свисали тропические лианы.

Дальше, за ботаническим садом, дорога уходила в горы. Мы проехали километр-другой по грунтовке, остановились в большой котловине. Внизу, в самом центре ее, лежало круглое аккуратное озеро. Мы были одни, дорога тянулась куда-то вверх по ущелью к таинственному домику спасателей. Кругом низенькие березки, сосенки и высокие, покрытые трещинами скалистые Хибинь. Светило солнце, под ногами лежал жесткий, сухой мох. Небо было высоким и отливало бирюзой.

Кое-где еще лежал потемневший снег. Мы стояли молча. Погода начала портиться. Небо вмиг утратило изысканную чистоту, превратилось в пепельно-грязное, а кое-где и с разводами сажи. Вслед за небом в угрюмые и мрачные тени укуталось все вокруг.

Открытый карьер — главный рудник — мне показали во второй половине дня.

Рудник находился над Кировском высоко в горах. По дороге в машину села корреспондентка местной газеты, она же выступала в роли гида и проводника. Ехали по серпан-

тину. С левой обочины лежал пласт слежавшегося снега-льда полутораметровой толщины, из-под него бежал ручей, с правой стороны — дали: леса, болотца, небольшие озера. Одно было ярко-изумрудного цвета.

Наконец поднялись на плато. Красный кирпич в двухэтажных домиках-бараках крошился от холодов. Поодаль цеха и ремонтные мастерские, утонувшие в ненужном металлломе. Хлопающие двери на сильных пружинах и пронизывающий ветер.

Главный инженер рудника посадил нас в свою «Ниву», подвез к смотровой площадке. Ограждение, сваренное из тонких труб, напоминало изголовье пружинной кровати, под ним зиял четырехсотметровый провал. Змеящаяся под краям карьера дорога походила на террасы для выращивания риса — два широких «БелАЗа» легко расходились на ней. Отвалы, бульдозеры, редкие точки — люди. Четыре зацементированных колодца — шахты, по которым вниз спускают руду. Горы, начинающиеся прямо от противоположной стены рудника и уходящие за горизонт, позволяли сравнить грандиозный провал с детской игрой, с конструктором — так произвольно были набросаны в нем непонятные сооружения, техника и едва различимые люди. Горы съедали размер совершенного, и только при взгляде прямо под ноги, вниз, начинала кружиться голова. Здесь, у нулевой отметки, дул свирепый ветер и было неуютно стоять на отгороженном пятачке и слушать цифирь со многими нулями, что с удовольствием перечислял любящий свое дело главный инженер. Ветер, налетая из соседней долины, ворошил на склоне справа, где устроила помойку столовая рудника, бумажные ошметки, чесал лоскуты порывами снизу вверх, как гладят животное против шерсти. Поверх тряпичных и бумажных остатков валялись ребра и белые кости, словно сдвиг горы выдавил на поверхность остатки ископаемых чудовищ. Мелкий песок, носившийся в воздухе, неприятной дробью хлестал по ногам.

— Когда двадцать пять лет назад я начинал, с места, где мы стоим, можно было спокойно ходить до противоположной горы, — сказал главный инженер рудника.

Не то чтобы я не поверил, просто не сработало воображение. Посредине горного массива зияла дыра, и хотелось думать, что она вечная, всегда была такой, люди лишь слегка подтесали стенки, проложили для своих нужд спуски и пробрили глубокие штольни. Разница заключалась в том, что он еще видел и помнил.

В Новгороде Великом, где я работал студентом в археологической экспедиции, мы тоже рыли глубокие, до десяти метров, раскопы. Туристы высыпали из автобусов, располагались на смотровой площадке, отгороженной кое-как скрепленными спинками кроватей, мы специально собирали их на помойках. Туристов мы не любили — мы работали внизу, в забое, они отдыхали и любовались.

— Посмотрите, — доносилось до нас, — вот перед вами деревянная мостовая улицы двенадцатого века, к ней примыкают частокол боярской усадьбы и остатки древних срубов.

Сказки гидов мы знали наизусть и смеялись над ними. Когда же в редкие минуты после окончания рабочего дня нам случалось забрести на пустой раскоп и постоять у края, иногда исподволь воображение рисовало древнюю жизнь, и это было незабываемое чувство.

Здесь, на плато, в центре Хибин, я был туристом, и, несмотря на старания гида, увиденное не захватило и не потрясло. То ли масштаб был слишком велик, то ли слишком мелок по сравнению с окружающей природой, а скорее еще и потому, что котлован был мертв, как вывозимая порода, а мелкие инженерные тонкости, наверняка спасшие не одну сотню человеческих жизней, расчеты, догадки, интуиция, связанные с этой профессией, были мне недоступны в меру моей необразованности.

Яму выгрызали двадцать пять лет. Породу спускали по специальным шахтам-стволам вниз, в Кировск, отвалы ссыпали с горы в долину. Они расплзались на километры, как вулканическая лава, подминая и затопляя своим серым веществом все живое и зеленое. Зимний лед благодаря природным законам даже затащил часть серого камня вверх, на склон противоположной горы. Всюду, куда ни падал взор, валялись черные автомобильные покрышки.

Я вдруг вспомнил, как в Изборске, недалеко от Пскова, где мне тоже довелось поработать в экспедиции, на вершине горы на праздник Ивана Купалы разводили большие костры. В котловине меж двух гор вытянулось озеро, речка связывала его с другим, уже не видимым от стен древней славянской крепости.

Мы приходили к костру, усаживались рядом с местными, глядели в ночь. В ней полыхали высокие костры. Все ждали. Наконец где-то на противоположной стороне запускали большое тракторное колесо. Горящий круг неся, разбрызгивая огненные искры,

и это древнее действо завораживало. После первого следовали другие, конечно же, и мы запускали свои. Колеса в Изборске катают с гор с незапамятных времен — раньше запущали промазанные дегтем и отслужившие свое тележные колеса.

Здесь, на Кольском, в Хибинах, покрывки «утилизировали» — не жгли, а просто и безрадостно спихивали с откоса, вывозить их вниз было дорого да и зачем? Лопари не знали колеса, и я пожалел, что не нашлось заезжего изборчанина: он бы научил мужиков, как надо катать с гор отслужившую резину.

Черные круги лежали на серых языках отвала, кое-где вмерзнув в нерастаявший лед, напоминая замусоренные подмосковные леса, куда горожане наезжают на выходные. И лишь далеко-далеко, там, куда не дотянулась мертвая лава, продолжалась еще живая долина — зелено-бурая, с редким лесом и блестящим посередине синим ручейком. Кругом стояли скалистые горы, с треснувшими от собственной тяжести камнями. Местами они поросли жестким хвойным лесом. До них черед не дойдет, цены на сырье упали, комбинат, как и все кругом, переживает глубокий кризис.

И снова разговор с главным инженером зашел о деньгах, о зарплатах, не соответствующих труду, о том, что начальство не хочет закупать японские многотонники «Комацу», чей моторезерв в четыре-пять раз больше отечественных «БелАЗов»; конечно, и стоят они вдвое дороже. Впрочем, и новый «БелАЗ» купить теперь непросто — как и везде, нет денег.

В ремонтном цехе я вспомнил, как мальчишкой ходил с отцом на ВДНХ, лазил по выставочному «БелАЗу» — нас уверяли тогда, что подобных машин не делает никто в мире. Но сейчас я осознал, что в детстве машина не так поразила меня, как теперь, — одно дело увидеть слона на природе, другое — в зоопарке. Эти горбатые страшилища — здесь, среди пронизывающих ветров, холода, вымораживающего кирпич, на плато, где невозможно поставить столбы электропередач, так как их завалит ветер. Энергию подают по наземному кабелю. Тут грызут апатит — сырье для производства суперфосфата. Грызут, перевозят, сваливают вниз, обогащают и отправляют куда-то на юг, чтобы лучше росла пшеница.

Меня удивило: машины доставляются в ящиках, по частям, здесь их собирают, сваривают из двух половин многотонный кузов, надевают двухметровые колеса — домкратом служит подъемный кран. Я не смог отказать корреспондентке и сфотографировался на память у высоченного колеса, хотя вдруг понял, что не полезу по лестнице в кабину, не стану вертеть руль и разглядывать кнопки на приборной доске. Я был сыт по горло этой впечатляющей помимо воли, грохочущей мазутной промзоной. Людей сослала сюда жизнь. По привычке цепляясь за прошлое, они гордятся своим нечеловеческим трудом в царстве льда и полутораметровых сосулк, которые ветер вытягивает на проводах. День за днем люди проживают среди серых глыб и механизмов, в краю, где рождаются и умирают «БелАЗы», а медведи кормятся у столовских помоек.

На следующий день Вайнштейн пригласил меня в Снежногорск, где он с коллегой должен был провести собеседование с заочниками, желающими поступить в университет. За двадцать пять лет существования город трижды менял имя — сначала назывался Вьюжный, потом — Мурманск-60 и лишь затем стал поэтическим Снежногорском.

Ехали долго по уже знакомой дороге мимо Мурманска, затем взяли севернее, по противоположной стороне залива, где сквозь нескончаемый камень, лишайники и тундровые деревья была проложена дорога к городкам-базам. Рядом со Снежногорском — Скалистый и Полярный, туда необходимо выписывать отдельные пропуска.

Шлагбаум, пост, охраняемый моряками-десантниками, проверка паспортов. Каменная глыба слева — дорога выбита прямо в скале, справа — длинный забор, закрывающий вид на бухту, — в ней ремонтный завод. Вокруг него и создавался город. На заводе, естественно, работает большая часть из двадцати тысяч оставшихся жителей.

Трубы ТЭЦ — первое, что вынырнуло из скал. На диком камне стоят побитые ветром, покрытые трещинами дома, они похожи на космические корабли из романов о покорении галактик, после долгих скитаний спустившиеся на промежуточную станцию на дозаправку.

Мэр Снежногорска, подвижный, живой, с моржовыми усами и повадками главы большого назойливого семейства, легко влетел в кабинет, впечатался в крутящееся кресло и только после, отметившись, вскочил и пожал нам руки. Вайнштейн с коллегой, наскоро выпив чаю, отправились работать — принимать экзамен у будущих заочниц, за учебу которых платит мэрия.

Развлекали меня видеofilmом, повествующим о нелегкой жизни соседнего городка.

Представьте себе любительскую съемку с рук — камера скачет по улице. Почти ничего не видно — вьюга швыряет в объектив снег, бьет по окнам. Улица обледенела. Су-

гробы... Появляется пожилая женщина с хозяйственной сумкой. Она едва бредет и, конечно же, скоро падает. Пытается встать, падает снова, теперь уже на спину, и сползает по льду куда-то вниз, видимо, на проезжую часть.

— Смотри, смотри, нет, ну как они там живут! Семь тысяч человек осталось, атомные лодки стоят на приколе, никому на хрен не нужные.

Фильм показывали потому как комичный.

Мэр в своем кресле уже двенадцать лет.

— Ну, пошли, покажу наш город, а точнее — ЗАТО.

— ЗАТО?

— Закрытое административно-территориальное образование. То есть кормимся за счет госбюджета. Иначе здесь всем крышка!

— А завод?

— Завод посмотришь позже. Любочка, позвони директору и свяжись со старостой, пусть церковь откроет, я через часок буду. Мы тут храм построили в честь Георгия. Строили-то в честь Жукова, на День Победы освящали — он же наш Георгий Победоносец, верно?

Выходим на воздух. Почти все дома в Снежногорске можно охватить глазом, если встать на месте и повернуться вокруг своей оси. Мы идем к храму. На блочных домах, по стенам, висят на таях рабочие и латают трещины.

— Профилактика. Ребята из Питера, из альпинистского клуба. Хорошо зарабатывают летом, зато зимой не работают — ходят в свои походы. Молодцы! Вот покрасим — будут дома как новые.

— Это что же, их так ветер и вьюга?

— Нет, зачем, при перевозке блоков, при установке долбанули маленько, образовались микротрещины, со временем проступают.

В центре города здоровенная ложбина в скале, бывшее озеро. В ней копошатся школьники, выносят мусор на носилках, укрепляют стенки.

— Смотри, осушили озеро — раз! Будет теперь где собак выгуливать — два! Детям площадка — футбол, хоккей — три! А сейчас — трудовой семестр для старшеклассников, малышей мы в Крым отправили греться. Сложно было, но деньги пробили.

Ветерок гуляет среди домов, по ущельям. А кругом, куда ни кинь глаз — голые скалы и ни травинки на них. И никуда отсюда ни уехать, ни уйти. Даже на выходной.

— Сейчас рыбу ловят, в заливе селедка пошла, разрешили людям, пусть на зиму заготовят.

— А какой тут досуг?

— А мы куда идем? В храм, а потом во Дворец культуры. Теперь, правда, я звезд пригласить не могу, один тут попросил за выступление двадцать тысяч. Я б и рад, да где взять? Но справляемся своими силами. Конкурсы самодеятельности, танцы, кино — это у нас есть. Спортивные секции. Бассейн.

Заходим в церковь. Большая и крепкая, стоит на высоченном диком валуне, напоминающем постамент памятника Фальконе.

— Что-что, а церковь мы в первую очередь отстроили. Мурманский архиепископ приезжал. Я, между прочим, в Совете Федерации состою в комиссии. Лужкова вашего лично знаю, Строева. Патриарх мне грамоту отписал. Денег не густо, но на храм Христа Спасителя перечислили!

Несколько раз звонит телефон. Не сотовый, дальнего действия.

— Почему лифт не пустили в «трех ягодках»? А люди пешком должны ходить? А я знаю? Нет у вас допуска? А ремонтники есть! Мне тебя учить? Пусть чинят, и быстро, а потом протокол, и я подпишу, и все в порядке будет.

Из помятого «фольксвагена» навстречу нам вылезает адмирал. Лицо мясистое, желтое, в красных прожилках.

— Какими судьбами?

— Сыну приехал помочь окна покрасить, у него же прибавление.

— Хорошо, хорошо, а как вы там?

— А, мать...

— Держись, адмирал!

— Это адмирал, дизельные подлодки у него, а кому они теперь нужны?

Киваю головой. Вроде никому не нужны.

— Что теперь кому нужно? А с людьми мне что делать? Им же жить надо. Им по десять месяцев зарплату не платят. Учинили тут забастовку. Если по всей стране бастуют, у нас сам Бог велел, ведь на скалах картошка не родится.

— Так ведь и вправду теперь не нужно.

— Мое дело — люди, людей же я не брошу!

Заходим в Дворец культуры. Мэр первым делом бросается к батарее отопления. Женщина у входа открывает было рот, но он ее опережает:

— Знаю. Знаю! Знаю!! Два месяца трубы не работают, думал, уже сделали. Вы на очереди, на той неделе сниму бригаду.

Женщина радостно кивает и ведет нас в глубь пустынного здания, в музей города, где мы смотрим на любительские фотографии передовиков и старожилов. Женщина в теплом пальто.

— Смотри, люди! И многие живы, городу-то четверть века. Как строили? Героически!

Понимаю, что героически. И слушаю истории. Ветер, вьюга, нет энергии. Холод. Взрывчатка отмокает, придумали ее завертывать в презервативы, а их по квоте отпускают. Через обком пробили.

Скалистый. Полярный. Снежногорск. Подводные лодки. Оборонка. Адмирал, что на дизельных явно пьет горькую.

— Мафия у вас есть своя?

— Здесь нет, я б их в бараний рог скрутил. Рыпнулись заезжие мурманские, матросиков на них натравили, и баста!

Возвращаемся в мэрию. В кабинете зама накрыт обед. Заместитель мэра показывает мне схему. Машины «ГАЗ» меняют на муку, муку на сахар, сахар на болты, болты на рубероид, рубероид на мазут. Без мазута не работает ТЭЦ. Без ТЭЦ — нет тепла. Без тепла тут всем крышка.

— Почему-то я думал, что бартера уже давно нет.

— Москвич... Все по взаимозачетам, с каждым звеном цена удорожается, но результат налицо.

— Крадут?

— В каждом звене и безбожно. Ты можешь достать мазут по-другому?

— Ничего я не могу.

— То-то!

— Север держит, только приехал — раз, и жизнь прошла!

Директор завода по ремонту кораблей «Нерпа». Молодой украинец из Винницы. Окончил питерский кораблестроительный.

Едем на новенькой «Ниве». Чтобы как-то завязать разговор, спрашиваю:

— Что, тоже нет денег?

— Именно. Сейчас увидишь женщин у кабинета — как им в глаза смотреть? Ну, поставили нам американские ножницы — любой металл режут замечательно, а дальше что? Будем резать атомную подводную лодку. А она под парами, ты это хоть понимаешь? Ракеты еще в шахтах. На кнопку нажал — и хрен с ней, с Америкой! Подлодке плавать и плавать. Красавица! А ее под нож. Мы бы могли отремонтировать корабли, а они предпочитают чиниться за рубежом. Почему? Команда отдыхает, суточные в долларах идут, и начальство с инспекциями наведывается. А подлодки хватит на пятнадцать месяцев от силы, дальше что? Знаешь, сколько в США такая работа стоит? Тридцать — сорок миллионов долларов, а нам — объедки.

Потом в Москве я посмотрю видеофильм о Снежногорске. Там снята забастовка на «Нерпе». Женщина с пафосом кричит в толпу:

— Мы, заводчане, приученные к организованности и терпению, продолжаем верить в то, что о нас кто-то будет думать и заботиться — это качество всего русского народа, воспитанного на социалистических ценностях.

Кто бы стал спорить, я не стану. Заповедник? Реформами здесь и не пахнет — царствуют бартер и взаимозачеты. Как они живут? ЗАТО, бюджет...

Сироты, кругом сплошные сироты.

На домах с торца нарисованы большие и яркие клубничины — две на втором корпусе, три — на третьем. Когда дом заново покрасили, все население восстало — пришлось нарисовать вновь.

Единственный в городе светофор поставили, чтобы дети знали, что это такое.

Водитель Сережа заехал за мной рано, и мы выехали из Апатитов на сей раз на юг, на Терский берег, в районный центр со старым названием Умба. Наконец-то я ехал на природу.

Наставляли меня, конечно, по заведенной программе: леспромхоз, мраморный завод, но я просился к рыбакам, хотелось тишины и рыбы — желательно семги или на худой конец свежей трески. Мэр Умбы, на счастье, был занят приготовлениями к празднику — в надвигающиеся выходные поселок собирался отметить свое столетие.

Дорога предстояла длинная — через Кандалакшу до Умбы километров двести пятьдесят, и, конечно же, никакого жилья по пути. Кругом лес — он менялся на глазах, гус-

тел, набирал знакомые северные цвета — деревья, вырвавшись из каменного пояса, становились выше и стройнее. Ягодные болота тянулись вдоль шоссе — здесь, чувствовалось, живут глухари и по ночам стоят лоси.

Мой водитель был парень лет тридцати пяти — сорока, жилистый, сухой, предупредительный, на редкость воспитанный. Машину он вел легко и уверенно. Работой своей Сергей явно дорожил — график свободный, начальники — люди культурные, зарплату, хоть и небольшую, платили исправно.

Впрочем, я скоро понял, какие он заканчивал университеты. На руке красовалась татуировка: женщина, обвинявшаяся вокруг обоюдоострого кинжала. Не удержавшись, я спросил:

— За наколки сегодня отвечают, или каждый лепит что пострашней?

— Знаете, — не без изумления ответил он, — мы тут с женой были на похоронах тещи в Новгороде, так что меня поразило — племянник, двенадцатилетний пацан, такой же вопрос задал. Смышленный, да?

Затем три часа он рассказывал о своей отсидке. Женился он рано, вырвался с Севера к жене под Ленинград, пошел в дальнобойщики и как-то раз не вовремя вернулся домой...

— Я тут читаю про тюрьмы и лагеря — такое пишут! У нас на зоне был порядок, не то что теперь на воле. Я не благовал, просидел весь срок работягой, но если голова есть — никто тебя не тронет.

В тюрьме он заочно закончил школу. Никакой романтики, выдалось оттянуть десять лет — оттянул, но теперь жил с оглядкой, знал цену времени. Деловитый, умный, сдержанный, точнее, глушащий взрывной темперамент — десять лет приучили сперва подумать, потом говорить.

— В Новгород к теще не хотите перебраться, здесь же холодно?

— Нет уж, здесь я всех знаю, а сначала начинать — пороху не хватит.

Вот она, главная формула, что держит людей на Севере.

Умба — деревянный поселок с вкраплениями кирпичных пятиэтажек. Стоит на берегу морской губы, цветом вода напоминает озерную — стальная, не прозрачная. Никаких водных просторов — узкая полоска залива, вокруг домики, бани, сложенный в штабеля лес — привычное северное село. Церковь построили недавно, чем, конечно, гордятся. Еще есть свой музей. Туда я и направился.

В большой поморской избе меня уже ждала заведующая. Сколько-то лет назад она закончила в Петрозаводске филфак.

Настороженность с нее спала, когда я упомянул, что шесть лет проработал археологом в реставрационной мастерской, в том числе и на Соловках. Пустились искать общих знакомых и нашли одного.

Я побродил среди чучел представителей местной фауны, оглядел лопарскую утварь и археологические побрякушки, вежливо выслушал краткий рассказ о проникновении новгородцев в эти земли еще в двенадцатом веке. Вспомнил про свой диплом, что еще больше расположило ее ко мне, москвичей она, как водится, не любила.

— А Умбе сто лет. Выходит, это не старое село?

— Почему? Конечно, старое — из самых первых, в писцовых книгах и летописях упоминается. Отмечают ведь не столетие села, а столетие поселка — обычный повод вытянуть из Мурманска хоть какие-то деньги. У нас же все стоит — и мраморный карьер, и леспромхоз. Как все растащили, так и не могут теперь наладить, еле-еле жизнь теплится.

— Чем же живете?

Она недоуменно пожала плечами и вдруг спросила:

— Что у вас в Москве говорят об экуменизме?

— Разное говорят.

Прошлый батюшка, погибший недавно в автомобильной катастрофе, был из монахов, паству содержал в строгости и просвещал соответственно.

— Он нас хорошо окормлял. Нет, и сегодняшний хороший, но поп. А это другое дело.

Дальше, по нарастающей в ее речи зазвучали апокалиптические нотки. Запуганная временем, она готовила чистые одежды к Судному дню. В церковь стала ходить сравнительно недавно.

Человек, встретивший меня на пороге своего дома, являл собой тип не частый, но встречавшийся мне и ранее. Крепкий, невысокий, с обязательной бородкой, в просторной рубахе с закатанными по локоть рукавами, что выгодно подчеркивало его мощные руки, в крепких рабочих штанах, отливающих в белизну, с обязательным ножиком в чехольчике, болтающимся на поясе, обозначающим, вероятно, статус мастера. Ножичек, конечно же, был самодельный и особенной стали, хорошо держащей заточку, о чем позднее было сказано особо.

Хозяйство здесь было устроено основательно: гараж с двадцать четвертой «Волгой», прицеп (под навесом), навερняка где-то был припрятан и «Буран» для зимних передвижений, сарай-мастерская, где сохло деловое дерево и лежал здоровенный сварной железный крест, выкрашенный черной краской. У забора стояла маленькая часоуенка, похожая на внезапно выросший улей. Маковка была аккуратно покрыта лемехом из блестящей жести. Поморы устраивали кровлю из дерева, как в Древнем Новгороде, откуда они и пришли в эти края. Я упомянул словечко, оставшееся в памяти с реставрационной юности.

— Лемех? — Мужик, смакуя, повторил незнакомое слово. — Не знал, что так называется. Форма сама продиктовала. Я с этой часоуенкой полгода провозился, пока сообразил, как ее собрать. Вот крест, например. Косая перекладина справа налево или наоборот? К попу ходил, книги изучал — разобрался. Во всем разобраться можно.

Водку он пил, но запоями не страдал и, научившись в детстве по-доброму изумляться, сохранил эту способность до сих пор. Просидел десять лет под землей на вредной шахте и заработал небольшую пенсию. К тридцати годам вдруг понял, что жизнь впереди еще длинная и прожить ее следует так, чтобы не было скучно. Он удачно женился на враче-дерматологе, женщине тихой, симпатичной и хозяйственной — цветник, огород и громадный парник, под крышу забитый зеленью, подтверждали это. Жена родила ему двух детей. Разбогатеть здесь, в Умбе, немисливо, да и жил он не ради денег. Его влекла история и истории. А потому он собирал досье на упавшие на Кольском полуострове самолеты, за тонувшие в ближайших водах суда... Их было много — папок и просто стопок бумаги: документы, фотографии, какие-то выписки, показания очевидцев. Он собирал свой архив — государству не верил с детства. Манилов, Собакевич и кто-то еще третий, трезвый и рукастый, не описанный Гоголем, слились в нем в невычлслимых пропорциях. Он не только собирал, но, что важнее, и создавал. Например, часоуенку. Городское начальство узнало о ее существовании за несколько дней до праздника и тут же включило освящение «объекта» в план праздничных мероприятий.

— Сам не знаю, зачем ее слепил — интересно было построить. Пусть будет. Красивая же, правда?

— Красивая.

— А то! Видал памятники погибшим воинам?

— Доводилось.

— Пойдем в дом, я тебе мои памятники покажу, я их по Кольскому много наставил. У нас же война была зверская — до сих пор во многих местах кости прямо на камнях лежат. И техника, и оружие. На Рыбачьем с сорок первого по сорок четвертый без остановки стреляли.

— На Рыбачьем воевал дедушка моих знакомых. Он говорил, что было так страшно, что хотелось умереть.

— Понятно: голые скалы, окоп — щель в камнях, укрыться негде, все так и осталось, только это мало кого волнует. Вот и приходится восстанавливать справедливость, перезахоранивать останки, а потом инструмент на плечи — и на сопку. Памятники я из нержавеющей стали делаю, чтобы навечно стояли. И, между прочим, не только нашим. Крест в сарае видел? Это немцам, он же лютеранский, без косой перекладины. Я сперва поставил деревянный, но понял — снесут доброхоты, теперь буду менять. Почему б, думаю, не поставить немцам — не фашистам, простым летчикам. Они до войны разбились, а я место нашел, и самолет там рядом лежит. Крупновское железо крепкое, так что вполне подлжит восстановлению.

— ?

— Да просто. Вот этими руками. Я два самолета восстановил — один в Норвегии стоит — памятник нашим военным летчикам. Норги попросили — мы с ребятами и собрали в самом начале перестройки. Теперь, конечно, я б не взялся, теперь бы нам таможенная всю душу вынула. Такой самолет на «Сотбисе» тысячу двести фунтов стоит. А мы за бесплатно, ради интереса и памяти. У меня теперь в Норвегии много друзей, но я туда больше не езжу. Как стали наши барахольщики страну чесать, в магазинах везде табличек по-русски наставили: «Здесь установлена скрытая камера слежения». И прочая ерунда. Стыдно. Я себе сказал: «Мужик, ты туда больше ни ногой!» Мои друзья говорят: брось, это же не про тебя. Но я сказал — и не поеду.

Речь его лилась беспрешанно, он спешил хоть конспективно охватить всю свою жизнь. Он жил в вечной спешке, работал руками одно, думал уже о следующем, а мечтал о третьем, четвертом...

Дом, а меня обязательно повелили и по дому, был не хуже норвежских, которые я увидал на его фотографиях: рубленый из мощных бревен, с уютными, маленькими комнатами, с печками, камином, крепкой лестницей на второй этаж, с чистой, отделанной свежим деревом кухней. На втором этаже — комната мастера: письменный стол, простая, узкая кровать, полки по стенам. На них — минералы, лимонки, противотанковые

гранаты, штыки трехгранные, немецкие тесаки, выцветшая летняя пилотка, заржавленные пистолеты, действующая, отреставрированная его руками немецкая ракетница. В углу, рядом с письменным столом, нашлось место и для ржавого самолетного пулемета.

Впрочем, и снаружи дом украшали: олени рога, из самых исполинских, что мне доводилось видеть, рында с немецкой подложки, она же — звонок в дом, и какая-то самолетная пушка, экспонированная таким образом, что позавидовал бы сам Эрнст Неизвестный.

В свободное от главных работ и раздумий время он возил на своей «Волге» товар для местных предпринимателей в Кандалакшу, чем, думаю, зарабатывал больше, чем средний умбянин, трудящийся на погибающем предприятии.

Он — положительный, свободный, гордый своей независимостью. Это за версту читалось на его здоровом, розовощеком лице. Он жил в своем северном измерении, стараясь как можно меньше зависеть от властей предрежущих.

— Я предпочитаю, чтобы меня называли чудиком, — сказал без ложной скромности.

Когда закончили осмотр частного музея, он накормил меня супом, причем и сам поел с аппетитом, а затем вдруг резко посуровел и строго сказал:

— Ладно, ты иди, мне работать надо. Обещал им часовню к празднику — значит, поставлю!

В подтверждение слов он принялся строгать какую-то сосновую плашку. На улице шел мелкий дождик, деревяшка отсырела.

— Куда с таким материалом, ну просто беда! — услышал я напоследок.

Шофер, присланный за мной из мэрии, поглядел на его крепкий дом и произнес с нескрываемой завистью и восхищением:

— Да, домик он себе важный отгрохал!

Вечером мэр Умбы сел за руль «уазика» и мы выехали на дачи. В местном лесу умбяне поставили летний поселок: с одной стороны большое лесное озеро, с другой — морская губа, где в домике рыбаков мне предстояло переночевать две ночи.

Местный предприниматель, владелец магазина, в прошлом спортсмен и учитель физкультуры, ждал нас на своей даче. Артель рыбаков ловила в озере и в море, а он сбывал пойманную рыбу.

— Разрешили людям ставить неводá, — сказал мэр, — раньше этого не было, ловил только Гослов, но не помирать же с голоду.

Были у них в Умбе мраморный карьер и заводик. Приехали итальянцы, создали совместное предприятие. Погрузили мрамор на корабль и повезли его в Японию на ярмарку. Но хитрые японцы покупать по предложенной цене отказались, пришлось мрамор сбрасывать в море.

— Итальяшки нарочно угробили завод, уничтожили конкурентов. Теперь дело не поднять — субсидий нет, налоги дикие...

Я слушал дивную сказку, похоже, подслушанную у писателя Лескова. Гадал: по Северному морскому пути сквозь ледяные торосы плыл тот умбский мрамор в Японию или вокруг всего света, минуя бурный Босфор, жаркий Суэц и пряную Индию? Одно в сказке было неподдельно — горестная интонация.

За крепким самодельным столом сидели два здоровых мужика: мэр и предприниматель, разводили руками, жаловались на отсутствие в стране власти и порядка. В воздухе носились цифры с длинными нулями и уплывали через форточку поверх холодного моря в далекие зарубежные банки. Я смотрел в окно и мечтал, чтобы меня поскорей оставили одного.

Среди моих знакомых в Москве многие в последнее время стали легко разбираться в экономике. Не имеющие высшего образования люди уверенно судят о макроэкономике и микроэкономике, о талибах и Муталибове, о падении цен на нефть и спекуляциях Сороса, о выгодности того или иного транша. Не важно, что через неделю точка зрения может в корне измениться.

Я в этой серьезной науке ничего не понимаю, то же, что вижу глазом, выглядит печально. На смену трактору приходит лошадь (там, где могут и хотят накопить на зиму сено). Фермеры, мечтавшие о чистой сельской жизни, со своих трудов почти поголовно разорены и бросили дело. Спасает картошка, картошка и еще раз картошка. И рыба — там, где водится, и — грибы.

Наконец они уехали. Два паренка повели меня через лес к рыбацкому домику. Шли мы с полчаса, под ногами хлопала вода. Солнце спряталось за тучу, но дождь перестал.

Избушка была большая, с сараем-дровником, соединенным с домом одной кровлей. На берегу — железная казанка без мотора, на воде — поплавки сетей. Чаек над ними видно не было.

— Рыбы пока нет, — серьезно сказал старший, — когда ее много, вся вода от чаек белая, а то немного, что заходит в сеть, выедает тюлень.

Младший снял с плеча сумку, достал целлофановый пакет:

— Папа просил передать на уху.

В пакете лежали озерные окуни и плотва.

Со своей свежей рыбой я постучался в дверь рыбацкой избушки. Борис, с которым предстояло провести день и две ночи, вышел из-за избы — строгал там новое лодочное весло.

Борис любил поговорить. Историй он знал множество и, кажется, спешил рассказать их мне все. До пенсии работал на тяжелых грузовиках, теперь скрывался от жены в рыбацкой артели. Работал он в надежде на «рыбу». Рыбой здесь называли семгу, любая другая имела обычное название: камбала, треска, навага, селедка. Я приехал неудачно, сети почти не ловили.

— Через неделю-другую пойдет селедка и треска, а за ними и рыба пожалует.

С продажи семги ему и должно было немного перепасть. Все же главная его забота была о сыне. Тот служил мичманом в Полярном, но из-за какой-то темной истории вылетел с флота по решению офицерского суда чести.

— Капитану рожу набил или обматерил прилюдно, я так думаю. Молодой. Смолчал бы, отслужил еще пять лет — и пенсия в кармане, а теперь где деньги искать? Пошел в рыбаки. Не пьет, учится сети вязать, за ум взялся. Я им тут дело поставить помогаю. Сколько помню, рыбаки с голоду не помирали.

По его словам выходило, что тот, кто не пьет, ловит рыбу. Мужики вернулись к коренному поморскому промыслу. Только в отличие от начальства Борис на жизнь не сетовал. У него была другая беда — женщина, которую любил с юности, после школы пошла учиться в институт, а он, лапоть деревенский, испугался, что не сможет жить с такой образованной.

— Раз спасовал, всю жизнь маюсь.

Он изливал душу, как часто плачутся незнакомому человеку, с которым завтра расстанутся навсегда.

Устав слушать его истории, я ушел к большому камню у воды, сел на него. Стояла северная ночь, солнце на полголовы утонуло в дальних деревьях. Было светло, тихо и холодно — все те же шесть градусов выше нуля.

Утром поехали на рыбалку: Борис греб, я бросал блесну. Как дорогого гостя меня и здесь выгуливали, после неоднократных предложений поменяться местами я сдался и принялся яростно крутить спиннинг. Море здесь было неглубокое, тройник часто цеплял морскую капусту и зеленые водоросли. Все же несколько рыбешек я поймал, обеспечил ужин.

Мы медленно двигались вдоль берега. Как водится у рыбаков, каждое дерево на земле, каждый поднимающийся с отливом из воды камень были связаны с историей, смешной, печальной или бытовой. Скоро я был в курсе всех здешних смертей, катастроф и неудачных адюльтеров.

Борис сыпал именами — они, как сноски в монографии, должны были засвидетельствовать правдивость рассказанного. Кольки Сундаревы, Васки Постоевы, Максим Борода и Катька «с-фермы» — передо мной разворачивалась одна большая сага, только герои в ней не воевали, не путешествовали по чужим морям, а все больше тонули по пьянке, рубили друг друга из-за неразделенной любви, замерзали у собственного сарая в пургу или, как Дважды Рожденный, чудесным образом возвращались с того света.

— Дважды Рожденный, его по имени никто не зовет. Учудил мужик, ты, может, не поверишь, но факт, в Умбе всем известный. Короче, отплыл он в море на банку за треской. Это километрах в двух-трех от берега, там треска за килограмм — обычное дело. Половил, выпил, половил, выпил — сентябрь же, ветер холодный. А был в лодке один.

Стал заводить мотор, ясное дело — не заводится. Встал на корме, дергает за шнур, взмок весь, ну и завелся мотор неожиданно — на скорости стоял.

Как был, в ватнике, плаще, сапогах, сыграл через мотор в море. Лодка пошла своим ходом, мужик начал тонуть. И утонул. Лодку потом на берег выбросило, тело искали, но не нашли. Догадались. По нашему морю не выплывешь, вода — холодный кипятком.

Умер мужик. «И вдруг, — рассказывает, — очнулся я, мама дорогая, кругом свет какой-то неясный, как лампы люминесцентные горят, только глуше, дрожит все, вибрирует, гул какой-то утробный. Лежу голый, холодно. Рукой пошевелил, вздохнул, мать честная — все ребра поломаны. Я и заорал с испугу. А надо мной двое нависли, прямо над лицом: «Молчи, гад, лежи не двигаясь!» Потом пришла телеграмма из Северодвинска: «Вышлите срочно денег на морской госпиталь».

Так было: он стал тонуть, а рядом шла подлодка. Всплыли, выслали водолазов, подобрали его и опять на глубину ушли. Когда сделали искусственное дыхание, ребра ему и поломали. Но откачали же.

Другая из запомнившихся историй куда типичней.

— Поехали мы в лес на дальнюю делянку за хлыстами. Январь. Холод страшный. Снегу по грудь. На полдороге напарников «ЗИЛ» заглох — мотор накрылся. Зачалил я его грузовик, дотащил до избушки.

А у нас с собою было. День пьем, два пьем, три. Опухли и устали. На улице ужас: ветер, крутит. Лесорубы пьют вместе с нами. Вот лежу я на койке и тихо так говорю:

— Колька, ты деток своих любишь?

— Иди ты, гад!

— Нет, Колька, врешь, любишь ты своих деток.

— Ага! — говорит.

Встал и вышел на улицу. Ну и я за ним. А движок уже снегом завалило. Размели. Два дня возились, костры кругом разожгли. Разобрались, что к чему, запустили. Нагрузились, поехали домой. А, поверь, так на морозе лезть в него не хотелось, но сделали.

В скольких-то километрах Умба, гараж, может быть, и не теплый, но со стенами и крышей. И тягач, вероятно, нашелся бы. В голову не пришло. Пили со страху три дня, а оклемались — вспомнили, что детей кормить надо. И починили. На морозе, среди дикого леса.

Предлагаю детям в школе тему сочинения: «Нужен ли нам такой подвиг?»

В последнее утро, часов в пять, я вышел на крыльцо. Кончилась первая неделя июня. Шел мелкий косой дождик. Было ужасно холодно.

На воде качались поплавки, рядом с ними маячила веселая усатая морда — тюлень. Дважды, а то и трижды в день он приплывал к сетям, как в магазин наведывался, съедал и без того скудный улов и довольный отбывал на отмель напротив дома. Лежал там, блаженно поворачивался с боку на бок, блестел жирной, лоснящейся шкурой.

— Гляди, парень, скоро тебя порешат, — сказал я ему и поспешил укрыться в теплой избе.

Тюлень был приговорен. Борис специально собирался съездить в Умбу за ружьем.

— Печенка у них вкусная, а остальное мясо есть нельзя, ворванью воняет.

— Его бить, что зайца, любой дробью, легкий на убой. Жалко только, иногда они тонут, так что брать его надо с мотором, на отмелях.

Такой совет выдал мне Борис на прощание.

Две ночи и день пробыл я в рыбацком домике, а казалось, прошла неделя. Я снова ехал в Апатиты. Где-то в глубине громадного Кольского полуострова остались старые лопарские и поморские села, деревянные церкви, дикая тайга и стада северных оленей — туристический рай, до которого мне не довелось добраться. Дороги в те края не на «Волгу» рассчитаны.

Меня уверяли, что лопари еще существуют. Может, так оно и есть. На Севере бытует легенда о чуди белоглазой, что под давлением новгородских колонистов ушла под землю. Думаю, что так произошло и с лопарями, — на деле они давно там, в другом, своем, измерении, гоняют по подземным пастбищам оленей, собирают ягоду и грибы, а наверх отсылают ленивых и проштрафившихся. Те пьют водку и представительствуют.

Ехали мы в промышленные Апатиты на новой «Волге», а столкнулись с древним и неистребимым, как не виденные мною лопари. На пустом шоссе, на продуваемой ветром открытой автобусной остановке, мы подобрали юридического.

— Братия во Христе, подвезите хоть немного вперед.

В легком пиджачке, в сандалиях, небритая щетина чуть оттеняла впалые скулы. Глаза горят, пальцы длинные и негнущиеся, на них висит то ли мешок, то ли торба.

— Куда тебя?

— В Кировск, добрые люди, вы меня отвезите, а я в долгу не останусь. Денег у меня сейчас нет, но я с вами рассчитаюсь, на небесах долг отдам.

— Откуда бредешь?

— В отпуск ездил, на родину, в Армавир. А здесь у батюшки в церкви работаю. Батюшка мало денег на отпуск дал, вот и еду на перекладных.

— Сколько же дней едешь из Армавира?

— Неделя, добрые люди, неделя сегодня пошла. На разных машинах, уже и со счету сбился. Но ничего, это мне за мои грехи...

То лепетал как младенец, то рассуждал, как вполне трезвый и взрослый человек.

— Женатый?

— Нет, болен я, не могу жену содержать. А хлебушка нет у вас, я бы поел, два дня уже голодаю.

— Извини, брат, мы домашние, с собой еду не возим.

— Ничего, батюшка накормит, скоро уже.

- Машина у твоего батюшки есть?
- Есть, есть, заграничная, хорошая машина.
- Что же он на такой машине ездит, а тебе денег на дорогу жалеет?
- Это за грехи мои, я не жалеюсь, все хорошо.
- Хитрый, лукавый, простоватый, больной.
- Скоро он заснул. Сергей, интервьюировавший его через плечо, сказал:
- Я в церковь даже не захожу, страшно.

Потом был еще один день — последний. Попрощались с Вайнштейном, Сергей отвез меня в аэропорт. Рейс Апатиты—Москва выполнял старенький АН-24, принадлежащий компании «Воронеж-Авиа». Рядом в кресле через проход сидела старушка, везла внучат в Вологду.

— Квартиру по отселению получили?

— Конечно, как же еще, и хорошая квартира, живи — не хочу, так не хотят, а одна я там не справлюсь.

— Что же не хотят, все же не Заполярье?

— Так здесь же всё, куда уж нам деваться.

Что всё оставалось здесь, в Апатитах, я расспрашивать не стал. По существующей, но больше на бумаге, программе отселения с Севера государство обязано предоставить квартиры в центре России всем тем, кто выработал свой стаж в Заполярье. Мне говорили, что сегодня во главе списков стоят старушки со стажем более сорока лет. За ними, естественно, тянется весь клан, вплоть до малолетних внуков. Бабушки, получив ордер, выезжают в Вологду или Кинешму, оформляют владение квартирой и затем преспокойно возвращаются домой — доживать, туда, где осталось их всё. Молодежь полученной квартирой гордится, мечтает о спокойной пенсии в умеренном климате, но пускать корни в новом месте не спешит, квартира используется как дача для детей на летний период, нечто вроде не существующих теперь профсоюзных путевок в крымские санатории. Правда, мне рассказывали историю некоей Люськи, что получила квартиру в подмосковной Балашихе и умудрилась с доплатой обменять ее на Москву. Теперь, говорят, она живет в самом центре столицы и даже нашла приличную работу. Но каких только чудес не бывает!

Что же до северного измерения, признаюсь честно — не нашел, не увидел, особая поморская культура перекочевала в музей, лопари мне не явились, а так — живут себе люди, хлеб жуют и, конечно же, картошку. Картошка выручает — там, конечно, где ее можно посадить.

Может, все от того, что проехал я Кольский бегом-наскоком, пожил бы год, другой, третий — и меня бы приняло и проняло, как некогда коренного москвича Евгения Александровича Вайнштейна, как многих и многих других, и стал бы я тогда иным, но это была бы другая история.



Дневник сочинителя

1

«Знал бы кто-нибудь, что скрывается на дне моих романов! Какая сумятица чувств стоит за этими тщательно отделанными страницами. Меня самого воротит от моих хищных инстинктов. Лишь когда я работаю, они оставляют меня в покое... Надеюсь, этот Дневник, который я собираюсь вести по возможности без перерывов, поможет мне разобраться в самом себе. Я хочу раскрыться весь, ничего не тая, с абсолютной искренностью и точностью... Что из этого выйдет? Не знаю. Но я буду доволен уже тем, что такая рукопись существует» (Жюльен Грин. 17—18 сентября 1928 г.).

«Любопытный опыт — перечитать Дневник, который ты вел сорок лет, от начала до конца... Уйма вопросов встает перед автором. В эти книги он вложил добрых две трети своей пролетевшей жизни. Что изменилось за эти годы — в нем самом и вокруг него? Когда, читая эти страницы, вспоминаешь детство, то видишь себя поднимающимся по лестнице с подсвечником в руке — странный образ, не правда ли?.. Я спрашиваю себя, что это за средневековое занятие, которому я предаюсь, когда рука моя скользит по бумаге, выводя мелкими буквами строчку за строчкой. И, остановившись, смотрю в окно, ветер качает деревья, и я пытаюсь взглянуть на себя сквозь ночь времен глазами читателя из какого-нибудь 2010 года,— если на минуту допустить химерическую мысль, что этот Дневник, начатый сорок лет назад, сумеет одолеть такое же расстояние до будущего. Будут ли тогда вообще читатели? Будут ли еще расти деревья? Абсурдные вопросы. Но абсурдных вопросов больше не бывает... Поистине, мы влачимся навстречу невообразимому»* (Предисловие к Дневнику, 1969).

Писатель Жюльен Грин на восемь месяцев моложе нашего века. Его фамилия напоминает об англо-саксонском происхождении, он сын американцев-южан. Но вырос он во Франции, учился и воспитывался в протестантском лицее. Подростком, начитавшись Паскаля, Грин решил перейти в католичество. В первую мировую войну он был санитаром на фронте. После войны учился в Соединенных Штатах; хотел стать священником или художником, увлекался буддизмом и учением о переселении душ, в конце концов вернулся в лоно римской церкви. Семидесятилетним стариком он занял кресло во Французской академии, освободившееся после смерти Франсуа Мориака. Грин написал несколько томов мемуарной прозы и множество романов, некоторые из них давно закрепили за ним репутацию классика европейской литературы XX века. Похоже, однако, что его Дневник, который ныне составляет четырнадцать томов и все еще не завершён, затмил его беллетристику.

Мысль вести Дневник была подсказана, как это часто бывает, чтением другого Дневника. Согласимся, что знаменитый Журнал братьев Эдмона и Жюля Гонкуров — одна из самых увлекательных книг французской литературы. Но эта хроника литературной и общественной жизни Парижа времен Второй империи и последующих лет была для Грина скорее отрицательным примером. В его Дневнике поразительно мало «исторических» реалий, общество смутно вырисовывается на заднем плане; перед нами документ внутренней, а не внешней жизни. Дневник Грина — это нескончаемая песнь одиночества. В лучшем случае — одиночества перед лицом Творца.

* Все цитаты в переводе автора статьи.

«Минувшей ночью я стоял один на лужайке в саду, было холодно, я вперялся в черное небо — тысячи сверкающих звезд. Я был весь охвачен — со мной это случается — восторгом и тревогой, сам не знаю почему; и мне почудилось, что молчаливый голос произнес: зачем искать в глубинах неба то, что в тебе самом?..» (7 августа 1956 г.)

Ровная и непоколебимая вера в Бога — такой же неблагоприятный материал для художественной литературы, как и счастливая любовь. Великие книги настояны на сомнениях и невзгодах, темных страстях и отчаянии. О Грине можно сказать приблизительно то же, что сказал о себе Мориак: *catholique et romancier, mais non pas romancier catholique* (католик и романист, но не романист-католик).

Смысл этих слов, возможно, состоит в том, что человек, чей духовный мир непредставим вне религии, становясь писателем, погружается в магу жизни, над которой религия не властна. Нужно отдать себе отчет в том, что творчество не есть «путь к Богу». Искусство не обещает прозрения, не склоняет к обращению или чему-нибудь в этом роде, романы пишущего католика — отнюдь не душеполезное чтение. Искусство съезживается, едва только в книге появляется отдаленное подобие указующего перста. Невозможно, оставаясь художником, служить Богу в общепринятом церковном смысле — или придется перестать быть художником; таково первое противоречие, с которым принужден жить верующий писатель.

Но Дневник! В своих записях Жюльен Грин, которому мысль о глубокой греховности искусства — мысль русских писателей, мысль Гоголя и Толстого — в общем-то чужда, предстает человеком, чей ум и совесть преодолевают другие сомнения. Сомнение в истинности веры: было время в жизни писателя, когда он вообще порвал с Богом. Невозможность примирить реальный мир со сверхреальным. Грин сравнивает себя с человеком в лодке; уплывая все дальше в океан, он не может отвести взгляд от земли. Центральный мотив Дневника — вечное как мир противостояние духа и плоти. Точка короткого замыкания — жизнь пола. Диарист цитирует пятую главу Марка, где говорится о бесноватом, который жил в гробах и вышел навстречу Иисусу, когда тот причалил к берегу Тивериадского моря. «Эти гробы — это моя память, кладбище запрещенных радостей».

И мы как будто догадываемся, о чем конкретно идет речь. Мальчику-лицеисту, взрослому человеку и, наконец, старику искушения плоти, которым он, по-видимому, подвержен в сильнейшей степени и которым не в силах противостоять, кажутся вратами погибели, но дело не только в этом. Довольно часто разговор идет о гомоэротизме, осознанном достаточно рано (об этом можно судить по небольшому автобиографическому роману «Другой сон»). Постепенно борьба с демоном принимает сверхценный характер; Грин мечтает стать отшельником, святым; необычайно сильное чувство жизни порождает желание бежать от жизни.

«Этой ночью, когда я собирался потушить свет — было около двенадцати, — в дверь постучались. Семь ударов. Резкие, отрывистые. Я встал и спросил: кто там? Никакого ответа. Как ни странно, это меня ничуть не испугало. Я подождал, потом пошел открывать — никого не было.

Начинаю новую тетрадь... Для меня это всегда некое событие, и причина его — мистическая белизна чистых, еще не исписанных страниц, которые, кто знает, может, так и останутся белыми. А так как эта тетрадь совершенно такая же, как и та, первая, в 1928 году, у меня странное искушение писать так, словно жизнь начинается сызнова...

*Все эти дни я недомогаю. Я чувствую себя, как орех в щипцах, которые медленно сжимаются... О *beata solitudo*, блаженное одиночество! Как тяжело его переносить. Десять часов, в доме никого нет. А мне хочется слышать голоса, разговоры, смех, шаги в соседних комнатах, — лишь в кабинете, где я работаю, я хочу быть один. Это оттого, что я вырос в большой семье. Нас было восемь или десять, бесконечная болтовня, пение; и вот теперь эта тишина. Мне нужны эти отсутствующие и чтобы кто-нибудь меня искал...» (27 сентября 1962 г. — 13 марта 1963 г.)*

2

«...Собор св. Павла. Орган. Назад в такси вдоль Темзы. Чай у Стюартов. Примерка у портного (превосходная ткань). Шляпное ателье, друг-ирландец. Четверть часа у него. Назад пешком. Читал; спал; поднялся в половине десятого. В Новый театр. N уже там...»

Это выбранная наугад запись из Дневника Клауса Манна.

Вот один день из жизни этого человека. 13 декабря 1932 г. Накануне он прибыл в Лондон, поселился в отеле «Плаза». Проснулся в полдень. Плотный завтрак, «не такой, как в Париже». За завтраком он читает, потом долго говорит по телефону; визит к парикмахеру; встреча с приятелем, вместе выходят из гостиницы; потом он возвращается, чтобы повидаться с двумя знакомыми, вместе обедают; снова чтение; появляются другие друзья. Прогулка по Лондону, чаепитие у каких-то новых знакомых, примерка у дорогого портного, новая шляпа, снова отель, чтение, короткий сон, кто-то заходит за Клаусом, чтобы ехать в театр, приезжают ко второму действию, после спектакля новые встречи, ужин в ресторане, споры и сплетни о литературе, затем он едет ночью в турецкую баню, там собирается особенная публика, он не находит никого, кто мог бы его заинтересовать, поздно ночью у ярко освещенной витрины на Пикадилли знакомится с каким-то юнцом, угощает его, вдвоем едут в гостиницу... И все это завершается на рассвете тем, что, проводив гостя, полуодетый, он заносит происшествия еще одного дня своей жизни в черную коленкоровую тетрадь.

Какой контраст с Жюльеном Гринном. Начать с того, что это совершенно нелитературный Дневник: наспех, кое-как, телеграфным языком с множеством сокращений набросанный отчет о том, где был, кого видел. Никаких «переживаний», разве только изредка, сквозь зубы — упоминания о душевном разоре, одиночестве, отчаянии.

Вот образ жизни, который дал повод Жану Кокто, старшему другу Клауса Манна, сказать о нем: «Это было существование без цели и смысла». Заблуждение: за свою короткую жизнь Клаус Манн — романист, драматург, мемуарист, издатель журналов, эссеист и публицист — сделал чрезвычайно много. Но когда он успевает писать? Он почти не живет в Германии, мотается по Европе, кочует по всему миру, один или с любимой сестрой Эрикой, у него нет дома, временами он гостит у матери и отца, знаменитого писателя, обыкновенно же обитает в отелях и пансионах. Войдя в номер, он ставит на стол пишущую машинку, раскладывает бумаги, расставляет несколько фотографий — и хватается за телефон.

«Москва, гостиница «Метрополь»... Княжеское гостеприимство. Осмотр города, строительство метро, колхоз. Ужасное впечатление от посещения магазина. Необычайный интерес к литературе в этой стране, зато вечно не хватает бумаги... После обеда открытие Съезда советских писателей. Невероятная помпа, толчея, восемь тысяч заводов — сделал чрезвычайно много. Но когда он успевает писать? Он почти не живет в Германии, мотается по Европе, кочует по всему миру, один или с любимой сестрой Эрикой, у него нет дома, временами он гостит у матери и отца, знаменитого писателя, обыкновенно же обитает в отелях и пансионах. Войдя в номер, он ставит на стол пишущую машинку, раскладывает бумаги, расставляет несколько фотографий — и хватается за телефон.

«Москва, гостиница «Метрополь»... Княжеское гостеприимство. Осмотр города, строительство метро, колхоз. Ужасное впечатление от посещения магазина. Необычайный интерес к литературе в этой стране, зато вечно не хватает бумаги... После обеда открытие Съезда советских писателей. Невероятная помпа, толчея, восемь тысяч заводов — сделал чрезвычайно много. Но когда он успевает писать? Он почти не живет в Германии, мотается по Европе, кочует по всему миру, один или с любимой сестрой Эрикой, у него нет дома, временами он гостит у матери и отца, знаменитого писателя, обыкновенно же обитает в отелях и пансионах. Войдя в номер, он ставит на стол пишущую машинку, раскладывает бумаги, расставляет несколько фотографий — и хватается за телефон.

Клаус Манн — красивый парень, у него славное, открытое лицо, светлый взгляд, волнистые волосы. Он необыкновенно умен, рассудителен, наделен необычной для его возраста и его круга житейской и политической трезвостью, и вместе с тем — типичная богема. Рано созревший подросток и вечный юноша. Он погружен в события времени, жадно впитывает впечатления каждого дня, всех знает, со всеми знаком, вообще живет чрезвычайно интенсивной жизнью, легко и быстро, почти лихорадочно пишет — и втайне борется с искушением покончить с собой.

«Нападение Гитлера на СССР — событие такого масштаба, что я почти не решаюсь обсуждать его даже в этих заметках. Не говоря уже о печати. И все же хочу записать: моей первой, инстинктивной реакцией было чувство облегчения. Конечно, мы возмущены, потрясены, озабочены. (Как долго сможет продержаться Россия? Взовьются ли флаги со свастикой над Кремлем, как он развивается над пражским Градчином или над Парижем?) И все-таки — вздох облегчения. Воздух очистился. Этот пакт Сталина с Гитлером, одно из величайших извращений ми-

ровой истории, теперь ушел в прошлое... Никто не знает, что будет. Но даже если допустить, что Красная Армия действительно так слаба, как, по-видимому, все думают, вторжение дорого обойдется Гитлеру... Это начало конца» (29—30 июня 1941 г.).

В первой из приведенных записей мы застали автора накануне его тридцатилетия; через три месяца Гитлер приходит к власти, и Клаус Манн окончательно расстается с Германией. Борьба с нацизмом и угрозой войны, статьи, книги, напумевший роман «Мефистофель» (единственное произведение Клауса Манна, переведенное на русский язык), роман о Петре Ильиче Чайковском, замечательные мемуары «Поворотный пункт». Война, служба в американской армии, попытки отказаться от наркотиков и отказ бросить наркотики, труд, скитания и самоубийство в Каннах весной 1949 г. на сорок третьем году жизни. В номере гостиницы остался ворох бумаг, среди них — Дневник Клауса Манна, опубликованный через сорок лет после его смерти.

3

Литературный жанр, который представляет собой протест против литературы с ее жанрами и приемами; протест против самой сути художественного творчества — его условной, игровой природы. Вот что такое Дневник, который ведет писатель.

Дело в том, что он больше не хочет быть писателем. Ему надоело играть в прятки, надоело толкаться среди вымышленных героев, в искусственной, изобретенной среде, он хочет вернуться к самому себе, как хозяйке хочется уйти от гостей в соседнюю комнату и посидеть там одной. В самом деле, в Дневнике писатель намерен быть только самим собой. Он возвращается к собственной личности, если угодно — пытается убедить себя в том, что он существует как личность; он решил быть правдивым до конца, но не в том смысле, который имеют в виду, говоря о правде искусства, а в буквальном смысле: правдивым перед самим собой.

Теперь он пишет не для других — для себя. И все же рано или поздно встает вопрос о публикации. Такая мысль не может не прийти в голову писателю Дневника — на то он и писатель. Допустим, он ее отвергает. Он отнюдь не намерен разоблачаться перед читателями, «снять штаны со своей стыдливости», как выразился однажды Мопассан. Тем не менее независимо от намерений автора, подчас против его воли интимные заметки приобретают статус литературного текста; писатель убеждается, что извечный парадокс и проклятие литературного ремесла не минуют его и теперь: под его пером все становится литературой.

Как если бы он уподобился фригийскому царю Мидасу: все, что он берет в руки, превращается в золото. Как если бы балерина с ужасом обнаружила, что она не может ходить нормальной походкой: каждый шаг — танцевальный па. С ужасом, потому что писатель чувствует, что литература его обманывает. «Ведь я сочинитель, — сказано у Блока, — человек, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка».

Привычка распоряжаться языком как материалом, отбирать слова и строить фразу подводит писателя, ведь он собирался просто фиксировать свои мысли, чувства, впечатления, старался всего лишь не грешить против истины. Что такое истина? Разве чернила не действуют на нее, как кислота на белок, разве литературная запись не денатурирует действительность, подобно тому как присутствие наблюдателя в физическом опыте искажает то, что предстоит наблюдать?

Он хотел уйти к себе, но и там его подстерегает литература. Он полагал, что остался наедине с самим собой, допустим, что так оно и есть, — но вдумайтесь в двусмысленность этого выражения. Дневник адресован тому, кто его пишет. Дневник — двойник. «Спокойной ночи, г-н Музиль», — этой фразой поздно вечером Роберт Музиль заканчивает свой день. Фраза написана дважды. Как эхо, живущее вне того, кто его породил, отзывается голос второго «я»:

«Gute Nacht, Herr Muzil».

4

Тут встает вопрос: для чего, собственно, пишется Дневник? Для кого?

Мы сказали: сочинитель не может не думать о публикации. Во всяком случае, не может не считаться с вероятностью того, что Дневник будет обнаругован посмертно. Сочинитель принимает превентивные меры. Стопки тетрадей запираются на ключ, папки, облепленные сургучом, отправляются в банковский сейф. Не вскрывать, не печатать прежде такого-то срока. Завещания в этом роде выражают двой-

ственное отношение писателя к своему внебрачному детищу. Он знает: Дневник имеет сверхличную ценность. Если не сам автор, то его наследники, издатели, литературоведы когда-нибудь предадут гласности эти тайные письма.

Хотел ли он этого? Есть только один способ предотвратить посмертную публикацию — или способ превозмочь искушение самому опубликовать Дневник. Незадолго до смерти Александр Блок предает огню значительную часть личных записей. Жюльен Грин, регулярно выпускающий в свет томы своих дневников, сделал исключение для самых ранних записей: они уничтожены.

Вопрос, поставленный выше, задает себе сам диарист, но едва ли он сможет дать однозначный ответ. Эротика писания Дневника не всегда ясна ему самому. Дневник порожден нарциссической тягой разглядывать себя; Дневник есть особая разновидность самоудовлетворения. Дневник отвечает заложенной в глубинах личности почти биологической потребности выразить себя, запомнить себя, остановить поток своей жизни, оставить следы своего существования. Дневник подобен страсти фотографироваться. Дневник — сражение со смертью, с ежедневным отмиранием.

Дневник ведут для себя и только для себя. Это исповедь перед самим собой, бегство в собственный мир, документ самоанализа, саморазоблачения, самоучительства, самоупоения; писание Дневника напоминает хождение голым в запертой квартире. Изданную в семидесятых годах книгу Густава Рене Гокке (Hocke) «Европейские дневники четырех столетий» украшает эпитафия из Петрарки: «Nec metuit solus esse, dum secum est» (И не страшится одиночества, покуда сам с собой).

Дневник писателя — это его мастерская. Здесь намечаются планы, фиксируются этапы работы. Сюда заносятся сюжеты и наброски. Регулярная дань литературе. (Слово *diarium* первоначально означало ежедневный рацион римского легионера, а также раба.)

Дневник — это другое «я», двойник, и соглядатай, и тайный собеседник, которому можно поверить все тайны, на которого хочется взвалить все тяготы, все неудачи, все разочарования, всю вину и ответственность; Дневник, подобно наркотику, есть способ освободиться от самого себя.

Дневник ведут не столько для себя, сколько для других. Дневник похож на любовное письмо: сказать все в лицо, признаться прямо в своих чувствах невозможно, а на бумаге язык развязывается. Письмо, присланное с того света. В Дневнике можно поведать близким обо всем; покойнику все разрешается. Призрак Банко на пиру у живых — посмертно опубликованный Дневник.

Дневник пишется для современников. Дневник есть орудие мести, особый и коварный метод сведения счетов. Дневник пишется для историков, для будущих биографов, для авторов диссертаций.

Печальная доля — так сложно,
Так трудно и празднично жить,
И стать достоянием доцента,
И критиков новых плодить.

В зависимости от того, какому из этих ответов отдано предпочтение, можно было бы выстроить классификацию писательских дневников. Дневник-исповедь; Дневник — хроника собственной жизни, светской жизни, литературной жизни, политических событий или чего угодно; Дневник — литературная лаборатория; наконец, Дневник как самоцель, как дело жизни и основной род творчества.

5

Томас Манн впервые совершил акт саможжения в юности: в одном письме 1896 г. он сообщает о том, что намерен истребить свои записи, которые вел с гимназических лет.

После этого Дневник был начат заново, и к февралю 1933 г., когда Томас Манн уехал из Мюнхена, не зная, что покидает его навсегда, накопилось, вероятно, не меньше пятидесяти тетрадей. История спасения Дневника из «столицы движения», как именовался Мюнхен после прихода Гитлера к власти, известна: Дневник, хранившийся под замком в доме Маннов на Пошингер-штрассе, должен был переправить за границу младший сын писателя Голо, но шофер семьи Маннов (давно уже «стучавший» на своих хозяев), вместо того чтобы доставить чемодан с бумагами на вокзал, отвез его в Управление гестапо. Умелому адвокату удалось выручить Дневник, после чего он был тайком вывезен в Швейцарию.

В июне 1944 г., в эмиграции, в калифорнийском городке Pacific Palisades Дневник был уничтожен; свидетелем аутодафе был тот же Голо, который видел, как отец

швырял тетради в печку для сжигания мусора в саду за домом. И все же кое-что сохранилось.

Это «кое-что» — четыре толстых пакета, перевязанных шпагатом. Три пакета были запечатаны красным сургучом и надписаны: «Daily notes from 1933—1951, without literary value, but not to be opened by anybody before 20 years after my death» (Дневниковые записи 1933—1951 гг., литературной ценности не имеют, никому не вскрывать ранее чем через 20 лет после моей смерти). Вместо цифры «20» сперва стояло «25». Надпись рукой Томаса Манна была сделана в июне 1952 г., когда супруги Манн переехали из Америки в Швейцарию; пакеты сданы на хранение в Швейцарский банк. Четвертый пакет, с Дневником 1952—1955 гг., был упакован и запечатан Эрикой Манн после смерти отца и тоже снабжен пометкой: «Личный Дневник, без литературной ценности. Согласно воле Томаса Манна, вскрывать после 12 августа 1975 г.». Что и было сделано в двадцатую годовщину смерти великого романиста.

В четырех пачках обнаружилось тридцать две тетради, свыше пяти тысяч рукописных страниц. Кроме того, нашлось еще четыре тетради с записями 1918—1921 гг. Ныне, в печатном виде, Дневник Томаса Манна представляет собой солидное многотомное издание, в свою очередь, породившее целую литературу.

«Неопределенная, неуверенная жизнь на колесах, в виду враждебно-настороженной, коварной, грозящей бедами родины,— продолжается. В шесть вечера прибыли в Лугано... Симпатичная гостиница, хозяйство ведется в наивно-итальянском стиле, но меня угнетает недостаток комфорта, мелкие неудобства. Нервы напряжены. Первый вечер провели у Германа Гессе. В номере скверная постель, нет горячей воды...

Побрелся, переоделся, обед в столовой, общество спокойное и ненавязчивое. Дамы, старики. Форель, фазан, неплохое вино. Затем с Фюльдой в салоне для игр, сигары, многочасовой разговор о неслыханной, жуткой ситуации в Академии литературы. Фюльде 71 год, еврей, совершенно сломлен. Облегчение после беседы с ним. Дал ему прочесть гранки статьи о Вагнере. Нескончаемые толки о преступном и омерзительно безумии в Германии, об этих патологических садистах — новых прavitелях... Подлая и гротескная лига о поджоге рейхстага...» (27 марта 1933 г.).

«Перед обедом начал писать д-ра Фауста» (23 мая 1943 г.).

«Ясная погода. Сегодня в половине двенадцатого дописал последние слова «Доктора Фаустуса». Все-таки — событие... Прогулка вдоль всей Амальфи-драйв. Катя поздравила меня. Основания? Признаю за собой по крайней мере моральное достижение. Почты почти не было... Ужин с шампанским «Вдова Клико». «Зимнее путешествие» Шуберта. Очень устал, переволновался» (29 января 1947 г.).

«Литературной ценности не имеют». Это значило, что речь идет о деловых записях, свободных от какой бы то ни было стилизации. Конечно, и такой Дневник оказывается продолжением традиции: ближайшим образом служат эфемериды (поденные записи) Гёте.

Тем не менее... в отличие от писем, к которым Томас Манн очевидным образом относился как к литературным текстам, — Дневник не был предназначен для посторонних глаз. Конечно, писатель знал себе цену, прекрасно понимал, что все, что вышло из-под его пера, со временем станет достоянием литературоведов, критиков, просто читателей. И все же его ежедневные записи — это действительно не литературный документ. Ничего похожего на обстоятельный, текучий, вспыхивающий там и сям, изощренный, величественно-иронический и многосмысленный слог его романов и эссе. Совсем другое дело — Дневник. Короткие сухие пометки. Педантизм ежедневных сообщений о погоде и здоровье. Жалобы старого ипохондрика, вечно одно и то же: плохо спал, глотал снотворное, утомлен, старая погода. После обеда гулял. И, наконец, — писал... Читаешь и думаешь — счастливый человек. Прекрасно налаженный немецкий бюргерский быт. Книжки, музыка, друзья; жена, взявшая на себя повседневные заботы; благословенная возможность работать, целиком отдаться своему призванию. Даже в изгнании, когда огромное большинство беженцев из Германии с трудом сводило концы с концами, он вел беспечную жизнь.

Но когда читаешься в эти дневники, когда расшифровываешь лаконичные признания, вкрапленные там и эям, процеженные сквозь зубы, то видишь, что это благополучие было роскошной кулисой, позади которой шла необыкновенно сложная, смутная, подчас мучительная жизнь. Начинаешь понимать, почему в ранней новелле «Смерть в Венеции» Томас Манн сделал своего героя писателем, чей девиз был — выстоять. Выстоять, продержаться во что бы то ни стало, вытерпеть свою жизнь и вопреки всему, вопреки жестокому веку, вопреки разочарованиям, депрессиям, физической слабости и старости, которая уже на пороге, — делать свое дело.

Первое вышедшее в свет в 1920 г. произведение Эрнста Юнгера «В стальных грозах» было снабжено подзаголовком: «Из дневника командира ударной части». Всю войну, в окопах и госпиталях, автор вел дневниковые записи. Позже, по совету отца, он обработал их и выпустил в виде книги.

Дневник остался центральным жанром этого писателя. Восемнадцатилетний волонтер первой мировой войны, отчаянный храбрец, удостоенный высших военных наград и встретивший перемирие 1918 г. в госпитале после четырнадцатого по счету ранения, агрессивно-националистический публицист 20-х гг., путешественник, энтомолог, офицер вермахта, близко связанный с участниками антигитлеровского заговора 20 июля, философ, эссеист, романист, классик немецкого языка, Юнгер был живым свидетелем трех эпох европейской истории. Он говорил, что намерен прожить в трех веках. Юнгере оставалось меньше трех лет до нового тысячелетия; он умер, не дожив одного месяца до ста трех лет, в феврале 1998 г. Но слова о трех столетиях намекали и на некоторую экстемпоральность; мифологическое число «три» указывает на это стремление подняться над временем; он хотел жить в вечно длящемся настоящем; и Дневник был для него инструментом преобразования актуальности в некий неиссякающий полдень.

Здесь не ставится задача охарактеризовать все творчество этого автора (интересующихся могу отослать к моей статье «Век Юнгера» в журнале «Рубежи», 1996, № 7). Ограничимся краткими замечаниями применительно к нашей теме. Писатель вел свои записи чуть ли не до последнего дня. Сгруппированные в книги, они носят разные названия: «Авантюрное сердце», «Листы и камни», «Сады и улицы», «Первый парижский дневник», «Заметки с Кавказа», «Второй парижский дневник». К ним примыкают многочисленные путевые записки. Завершением этого монумента европейской диаристики является пятитомный цикл «Семьдесят — мимо», где можно найти такое высказывание:

«К числу моих добрых дел, возможно, принадлежит то, что я кого-то вдохновил вести дневник. Дневник всегда представляет двойную ценность — историческую и личную. Вдобавок он удовлетворяет внутреннюю потребность обозначить путь. Здесь присутствует и нечто сакральное: человек — наедине с собой. Хорошо, когда писать дневник начинают рано, еще лучше — когда доводят его до конца, до самой смерти».

В Дневнике Юнгера окончательно стерта грань между хроникой и литературой (точнее, эссеистикой). Записи накапливаются, обрабатываются, отшлифовываются и выпускаются в виде отдельных законченных произведений. В результате Дневник, оставаясь документом биографии писателя, теряет всякие следы интимности, непосредственности, теплоты. Невозможно не заметить холодную отстраненность заметок Юнгера. Взамен утраченной спонтанности Дневник обретает иное качество: он становится произведением искусства, образцом и даже манифестом литературного стиля.

«Безупречно построенная фраза обещает нечто большее, чем удовольствие, которое она доставит читателю. В ней заключено — даже если язык сам по себе устаревает — идеальное чередование света и тени, тончайшее равновесие, которое выходит далеко за ее словесные пределы. Безукоризненная фраза заряжена той же силой, которая позволяет зодчему воздвигать дворцы, судье различать тончайшую грань справедливости и неправды, больному в момент кризиса найти врата жизни. Оттого писательство остается высоким дерзанием, оттого оно требует большей обдуманности, сильнее искусства, чем те, с которыми ведут полки» (Предисловие к «Излучениям», 1949 г.).

Еще одна запись, относящаяся к тридцатым годам, — описание сна. Страничка, которая прочитывается как недвусмысленное свидетельство отношения этого война-эстета к нацизму, чей приход Юнгер накликал — отрицать это невозможно — в определенную пору своей жизни.

«Я сидел в большом кафе, играл оркестр, вокруг скучали хорошо одетые посетители. Мне понадобилось вымыть руки, я вышел через дверь, занавешенную красным бархатом, в заднее помещение, но заблудился в коридорах и на лестницах и в конце концов очутился в другом крыле здания, в элегантно убранных, но запу-

ценных покоях... Очевидно, там или работы, в углу медленно поворачивалось колесо с трансмиссией, раздувались и опадали кузнечные мехи. Выглянув в пыльное окно, я увидел заросший, одичавший сад. Там было что-то вроде кузницы: при каждом движении мехов сноп искр вылетал из горящих углей, на которых лежали раскаленные, диковинного вида инструменты; каждый поворот колеса приводил в движение какие-то странные механизмы. На моих глазах сюда приволокли из кафе двух человек, мужчину и женщину, и стали срывать с них одежду. Они отбивались, и я подумал: «Пожалуй, они еще могут откупиться, пока у них есть дорогие вещи...» Мне удалось незаметно ретироваться, я вернулся в кафе. Сел за свой столик, но оркестранты, кельнеры, красивое убранство предстали передо мной уже в другом свете. Я понял, что гости испытывали не скуку, а страх».

7

В дни, когда телевидение и печать комментировали известие о кончине 103-летнего Юнгера, одна швейцарская газета поместила отрывки из Записной книжки знаменитого романиста и драматурга Макса Фриша. Дневник Фриша был напечатан еще при его жизни; Записная книжка в значительной части остается неопубликованной.

Запись о Юнгере датирована июлем 1949 г.: Фриш размышляет о соотношении между творчеством и диаристикой.

«Читал дальше его Дневник; этот человек, думается мне, так умен, порой прямо-таки прозорлив, он так много видит,— если бы только он не был таким ловкачом, если бы не наводило такую скуку его чванство, отдающее садистическим сладострастием... Слишком многое здесь щекочет читателей, одержимых языческим страхом, как бы не оказаться мещанами; молитвенник для бюргеров, ставших вояками, чтобы не быть бюргерами. Война как приключение буржуа... Но буду читать дальше.

Форма Дневника: даже когда имеешь дело с мастерами этой формы, а к ним можно отнести и самых серьезных писателей нашего времени, задаешь себе вопрос: а что они вообще-то делают, кроме того, что пишут Дневник? Если за ним стоит какой-то другой творческий труд, стихи или какое-нибудь дело, тогда все в порядке; если же человек ничего другого не выдает, только свой Дневник, пусть даже этот Дневник — вершина мастерства, то тогда все, для чего предназначена дневниковая форма — заметки по ходу дела, мысли, наброски,— все остается, если оно не подкреплено свершениями другого рода, чем-то неполноценным, чем-то свидетельствующим о немощи; врач, делающий свое дело, или художник, занятый своим искусством — хорошим или плохим, не важно, или Марко Поло, который ведет путевые записки, или Дон-Жуан, когда он рассуждает о женщинах, или узник, которого обрекли на безделье,— все они могут стать настоящими, подлинными авторами Дневника; ибо мы чувствуем, что они делают и кое-что другое, что они не только писатели дневников, но и еще что-то; они встают утром с постели не ради того, чтобы царапать Дневник, и едут в Париж или в Афины не за тем, чтобы сделать очередную запись; прежде всего они живут, а жить — значит действовать; их Дневник — это вехи пути, и вехи ставятся не ради того, чтобы о них написать в Дневнике; другое дело, что для нас этот Дневник может оказаться важней, чем все, что они сделали; но зато в нем есть подлинность, а иначе он непереносим: писатель, который способен только на одну форму, только и может, что писать Дневник,— это все равно что писатель без произведений, человек без жизни; и не случайно Юнгер, о чем бы он ни рассуждал, всегда появляется в солдатской шинели, в ней он чувствует себя всего вольготней — ведь тогда и он, и читатель будут знать, что для другой литературной формы, кроме Дневника, у него просто не было времени.

...Но я спрашиваю себя, действительно ли Юнгер — солдат, действительно ли солдачество принадлежит к его сущности, как он это демонстрирует всю свою жизнь,— или оно лишь повод, подмена и отговорка, а по-настоящему он создан, чтобы писать Дневник; без своего офицерского мундира — и он это знает — он был бы писателем без произведений».

Тот, кому принадлежат эти строки, сам был автором многого Дневника, обрабатывал и регулярно печатал свои записи. Не упрекает ли он заодно с Юнгером и себя?

Внебрачное дитя романиста становится законным, когда оно выходит в свет и занимает свое место в собрании сочинений, бок о бок с его прозой. Но иногда, как мы видели, дело обстоит наоборот, беллетристика выглядит чем-то побочным по отношению к главному писанию жизни — Дневнику. Дневник — мы не говорим о стилизациях в собственном смысле, о заведомо фиктивных дневниках, повестях, написанных в дневниковой форме, или о таком своеобразном произведении, как «Дневник оболстителя» Сёрена Кьеркегора,— Дневник не «сочиняют». Дневник «пишут». Но любое писательство для писателя более или менее приближается к сочинительству. Дневник, ничего не попишешь, есть квазилитературный жанр. Сама биография литератора со временем становится — и с этим тоже ничего не поделаешь — органической частью его творчества. Вся жизнь начинает выглядеть как функция литературы, и можно в конце концов сказать, что не сочинитель сотворил свои тексты, а тексты — рукописи и книги — сочинили сочинителя.

Русская литература знает Дневник Льва Толстого (даже два Дневника: один полуофициальный, другой сугубо интимный), знает околотитературный Дневник цензора А. В. Никитенко; уничтоженный Чернышевским интереснейший Дневник Добролюбова — от него сохранились обрывки; дневники Серебряного века. И все же длительное и регулярное ведение Дневника мало характерно для русского писателя. Во всяком случае, тот тип diarиста, о котором говорилось выше, писателя, который видит в Дневнике легитимный литературный продукт, готовит его к печати, подчас относится к нему как к главному своему труду и рассчитывает на такое же отношение читателей, чужд нашей литературе.

Может быть, это связано с особым свойством отечественной классики XIX века, которое отметил Эрих Ауэрбах, автор известной книги «Мимесис», — непосредственностью восприятия жизни. Представление о литературном творчестве как о некотором виде лицедейства, как о высокой игре, опосредованное отношение к литературе, столь обычная для западноевропейского писателя рефлексия в себе и своем творчестве, потребность самоидентификации и «самофиксации» к русской традиции не привились.

Это особо относится к Дневнику, который собираются публиковать. Дневник в том роде, какой мы встречаем у Жюльена Грина, Андре Жида или Эрнста Юнгера, Дневник, написанный как бы для себя, но, как выясняется, не только для себя, русской литературе, в сущности, неизвестен. Если оставить в стороне Василия Розанова, чьи книги — «Уединенное», «Опавшие листья», «Мимолетное», отчасти «Апокалипсис нашего времени» — хотя и напоминают Дневник, но скорее представляют собой приближение к нему с противоположной стороны,— это не Дневник, который становится литературой, а литература, которая хочет стать Дневником, выскочить из самой себя, стать «до-литературой», хочет остаться мыслью, пока мысль еще не успела остыть и превратиться, по слову Тютчева, в «ложь»; итак, если не говорить о Розанове и его подражателях, то придется признать, что для русских писателей всегда существовал водораздел между литературой и диаристикой. Литература — это *Dichtung*; Дневник — *Wahrheit*, документ, первичность которого не терпит обработки и усовершенствования. Не то чтобы писатель в России был менее склонен вести хронику своих трудов и дней. Но Дневник как продукт вторичной литературной рефлексии, как тайная комната, куда удаляются, чтобы заняться самим собой, как средство самопознания, вольно или невольно облекаемое в литературную форму, Дневник, над которым сидят, как над романом, отшлифованный и врученный читателю в качестве литературного произведения *sui generis*, фиктивный в своей подлинности и откровенный настолько, насколько вообще может быть откровенной литература,— такой Дневник, как мы уже сказали, чужд обычаям нашей словесности, может быть, оттого, что в лице своих корифеев она была одновременно и целомудренной, и слишком непосредственной. Русская традиция не поощряет писателя предаваться флирту с собственной личностью.

Немногие исключения подтверждают это правило; недавно опубликованный неспроста нашумевший Дневник Юрия Нагибина — одно из них. Правда, мы говорили о литературе досоветского времени. Нагибин — писатель советской выделки; тем замечательней его Дневник.

Незачем подробно объяснять, почему советская литература радикально покончила с легальной диаристикой. Дневник несовместим с природой этой литературы и

с условиями ее существования. Вести Дневник в этих условиях можно лишь под покровом тайны; таким образом, он исключен из функционирующей литературы. Как всякий интимный документ, как свидетельство пагубного «копания в своей душе», Дневник писателя заведомо предосудителен. Как все недозволенное, он крамолен, хотя бы в нем не было ни одного словечка крамолы. Найденный при обыске, он становится уликой, служит орудием шантажа.

Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы его напечатать: Дневник не достоин гласности уже потому, что представляет собой личный документ; все личное является более или менее антигосударственным. Но даже если вообразить «публикабельный» Дневник — мы тотчас заметили бы, что автор подверг его внутренней цензуре, опередив все цензурные инстанции. Впрочем, типичного советского писателя как-то даже трудно представить в роли diarиста. Он привык изображать из себя представителя общечеловечности, народа, партии, чего угодно — и отвык быть самим собой. Культура дневников вымирает оттого, что она вольно или невольно противостоит режиму, и оттого, что вымирает культура рефлексии, самоуглубления, индивидуализма, духовного суверенитета, независимой мысли.

Первые записи в Дневнике Юрия Нагибина сделаны на фронте; они немногочисленны, присутствие внутреннего цензора очень заметно. Возобновленный через три года после войны, Дневник доведен до 1986 г. Этим годом заканчивается публикация. Нагибин умер летом 1994 г.; перед смертью он подготовил Дневник для печати. В предисловии к книге он называет его полумемуарами, имея в виду обработанный, литературный характер своих записей. Тем не менее редактора не лишила Дневник «подлинности»; напротив.

Дневник обнаживает человека литературы, писателя до мозга костей. Все, что он пишет, — литература. Другими словами, он так или иначе отчуждается от самого себя и всегда видит перед собой читателя, даже если единственный читатель — он сам. В предисловии говорится об искренности и беспощадности к самому себе; так оно и есть. Пожалуй, он искренен, говоря о собственной искренности и в самом Дневнике; искренен в том смысле, как говорит о себе персонаж «Фальшивомонетки» Андре Жиды, писатель по имени Эдуард, который пишет роман «Фальшивомонетки» и ведет Дневник: «Искренность! да я только о ней и думаю. Но когда я оглядываюсь на самого себя, то перестаю понимать, что значит это слово. Я всегда то, чем воображаю себя...»

Литературная одаренность Юрия Нагибина превратила его в персонаж произведения под названием «Дневник». Может быть, это лучшее из всего, что он написал.

«Видит Бог, не я это затеял. Она обрушилась на меня, как судьба. Позже она говорила, что все случилось в ту минуту, когда я вышел из подъезда в красной курточке, с рассеянной щечкой, седой и красивый, совсем не такой, каким она ожидала меня увидеть. Я был безобразен — опухший от пьянства, с набрякшими подглазьями, тяжелыми коричневыми веками, соскальзывающим взглядом, шрам на щеке гноился. Хорошим во мне было только одно: я не притворялся, не позировал, готов был идти до конца по своей гибельной тропке.

Я долго оставался беспечен. Мне казалось, что тут-то я хорошо защищен. Уже была близость, милая и неловкая, были слова, трогающие и чуть смешные, — не мог же я всерьез пребывать в образе седого, усталого красавца, — были стихи, трогающие сильнее слов и не смешные, потому что в них я отчетливо сознавал свою условность; было то, что я понял лишь потом, — стремительно и неудержимо надвигающийся мир другого человека, и я был так же беспомощен перед этим миром, как обитатели курльского островка перед десятиметровой волной, слизнувшей их вместе с островком» (1960 г.).

«Ночью пошел в лес. Полная луна размыто желтела в мутной наволочи, и тени деревьев на снежной дороге были жидкими, бледно-серыми. Полянки светлы почти дневным светом; красиво курчавы инеем ветки молодых берез. Холодный ветер не проникает сюда, в просеку. Я опустил воротник, отер надрванное морозом и ветром лицо и почувствовал, как замерзли ноги в коленях. И от этого собственного холода одуряюще сильно вспомнился холод Машинных ног, когда она приходила ко мне в Подколокольный. Она надевала чулки с круглыми резинками, верхняя часть чулка немного подворачивалась на резинку, оставляя незащищенную полосу тела. Эти чулки были мне добрым знаком, гарантией близости. И я так любил ледяной холод у нее под коленями, который долго не исчезал в тепле постели. Она была уже вся горячей, лицо так и пылало, а на ногах оставались ледяные обручи. И как же я был тогда молод!» (1962 г.).

Литературность не повредила Дневнику Нагибина, напротив, сделала его чело-веческим документом большой силы и убедительности; интересен он и в других от-ношениях. Исследователь советской литературы не обойдет вниманием эту книгу, несмотря на то, что собственно литературных проблем автор Дневника почти не ка-сается, так называемая «литературная жизнь» его не интересует, скандальные от-зывы о собратях малоинформативны, сообщения о собственной работе скупы. За-то бросается в глаза черта типичного — при всей его оппозиционности — представи-теля этой среды.

Не то чтобы мы имели дело с саморазоблачительным документом наподобие Дневника драматурга Александра Афиногенова, погибшего в самом начале войны, который с восторгом сообщает в записях 1938 г. о том, как его восстановили в пар-тии, как друзья, вчера еще не замечавшие его, подбежали пожать ему руку, — и чув-ствуется, что он сам на их месте вел бы себя так же. Нагибин — не энтузиаст, не ком-мунист и не конформист; да и время другое.

Несомненно, перед нами честный писатель, который старается по возможнос-ти уклониться от участия во всеобщей и узаконенной лжи. Не занимая важных по-стов, он чувствует себя аутсайдером. И, однако, остается этаблированным членом писательской иерархии. Как всякий советский литератор, он находится на содержа-нии у государства. Но сам он этого как будто не замечает. Он ведет привилегирован-ный образ жизни, принимая его как нечто само собой разумеющееся. Он — писа-тель. Никто к нему не придерется, не потребует у него отчета, почему он нигде не ра-ботает, милиция не будет преследовать его за туеядство. Ему не нужно изо дня в день вскакивать утром ни свет ни заря, брать штурмом переполненный автобус, вти-скиваться в метро. Не нужно толкаться в очередях, обедать в скверных столовых, до-бываться по благу продукты и вещи, барахтаться посреди неустроенного быта, подоб-но миллионам рядовых граждан. Он писатель. У него благоустроенная городская квартира, подмосковная дача и уйма свободного времени. К его услугам дома твор-чества и закрытые санатории. Он может наслаждаться прогулками в лесу или отпра-виться на охоту куда-нибудь в Мещерский край. Может ездить за границу; в одном месте Нагибин сообщает, что посетил тридцать стран. Он государственный писатель и, не слишком жалуя государство, не задумывается над вопросом, чем оплачена эта праздная жизнь.

10

«Я был молодой человек, только что написал Вареньку Олесову и «Двадцать шесть и одну», пришел к нему, а он меня спрашивает такими простыми мужицки-ми словами: <...> где и как (не на мешках ли) лишил невинности девушку герой рас-сказа «Двадцать шесть и одна». Я тогда был молод, не понимал, к чему это, и, по-мню, рассердился, а теперь вижу: именно об этом и надо было спрашивать. О женщинах Толстой говорил розановскими горячими словами — куда Розанову! <...> Цветет в мире цветок красоты восхитительной, от которого все акафис-ты и легенды, и всё искусство, и всё геройство, и всё».

Двухтомный Дневник Корнея Ивановича Чуковского, опубликованный в 1991—1994 гг., должен был стать выдающимся литературным событием. К сожа-лению, он подвергнут систематической цензуре. Только что процитированный рассказ Горького о Толстом приведен в Дневнике Чуковского под 18 апреля 1919 г.; запись выглядит связной и законченной, но на самом деле в двух местах сделаны пропуски. Дневник, главное достоинство которого — откровенность, пе-стриг многоточиями в угловых скобках. Вот еще несколько выбранных наугад примеров старательной редакторской работы с ножницами в руках: записи, пре-рванные купюрами.

«Мои воспоминания о нем плохи. Надо бы написать другие: он со мной все вре-мя советовался, жениться ли ему на Книппер <...>» (Рассказ Шалапина о Чехове. 18 апреля 1919 г.).

«Память у Горького выше всех его умственных способностей. Способность логически рассуждать у него мизерна, способность к научным обобщениям меньше, чем у всякого 14-летнего мальчика <...>» (4 декабря 1919 г.).

«Лекция о Блоке прошла оживленно. Слушали хорошо, задавали вопросы <...>» (5 мая 1921 г.).

«Сегодня событие: приезд Ходасевичей <...>» (6 августа 1921 г.).

«Вечер у Маяковского <...>» (27 февраля 1923 г.).

Дневник охватывает почти семьдесят лет. По своему значению для истории русской литературы он может быть сопоставлен с Дневником цензора Никитенко. Напрашивается и сравнение с братьями Гонкур. Как и Журнал Гонкуров, Дневник Корнея Чуковского не является документом внутренней жизни — если не считать привычных жалоб на тяготы жизни, обычного для писателя недовольства собой, сострадания к самому себе, наконец, грустно-торжественных и потрясающих предсмертных записей. Основное содержание Дневника составляют встречи с собратьями по перу, разговоры, слухи, сплетни, война с редакторами, литературные сплетни, литературные нравы — все, что находится за кулисами официальной словесности. Примерно с середины 30-х годов появляются следы собственноручного вмешательства — меры на случай, если тетради попадут в чужие руки: вырезанные страницы, записи, прославляющие вождя; ни слова о страшных событиях времени, в крайнем случае — глухие намеки. Вместе с тем диарист отдает себе отчет в том, что оставляет потомству памятник большой исторической ценности.

Только ли исторической? В этой статье мы пытались внушить читателю мысль, что «ценность» писательских дневников не ограничена их статусом документального свидетельства. Дневник писателя есть особый литературный жанр. Эфемериды Чуковского снова убеждают в том, что писатель остается писателем и тогда, когда он хочет быть только самим собой. Быть «самим собой» означает для него быть писателем. Летучие силуэты, наблюдения, свежесть иных пассажей в Дневнике старого Корнея не уступают его лучшим эссеистическим страницам.

«По реке серенады, всеобщая ярь. Даже я, дедушка, вскочил с постели с таким возбуждением, словно мне 18 лет. Смирная плоть, выбежал голый в сад — и, кажется, кхе, кхе, простудился, лег у себя в будке — в солариш. Но зато приобщился к красоте бессмертия. Луна, деревья как заколдованные, изумительный узор облаков, летучая мышь, в лесочке соловей — и дивные шорохи, шепоты, шелесты, трепет лунной, сумасшедшей, чарующей ночи. И пусть меня черт возьмет — пусть я издыхающий, дряхлеющий дед, а я счастлив, что переживаю эту ночь» (10 июля 1925 г.).

11

В заключение — еще одно имя, важное для нашей темы, но сравнительно малоизвестное в России; скажем о нем совсем кратко. Анри-Фредерик Амьель, умерший в 1881 г. в возрасте шестидесяти лет, уроженец Французской Швейцарии, где он провел почти всю свою жизнь, был профессором философии в Женеве, ничем не замечательным, писал стихи, литературно-критические этюды, еще что-то; все забыто за исключением одного стихотворения, ставшего национальным гимном франко-швейцарцев. Амьель вел замкнутый образ жизни, коллеги смотрели на него свысока, женщины разочаровались в нем, друзья считали его неудачником. Сам себя он оценивал еще ниже.

Он оказался «писателем без произведений» — говоря словами Макса Фриша. Выше мы приводили рассуждение Фриша о том, что Дневник, за которым не стоит подлинное творчество, будто бы немногого стоит. Случай, о котором идет речь, опровергает этот тезис, хотя Фриш был, конечно, знаком с колоссальным наследием Амьеля. Это наследие, посмертно открытый клад — 173 или 174 дневниковых тетради ин-кварти, 16 900 страниц.

«Спасибо тебе, Дневник! Мое смятение улеглось. Я спокоен, я снова настроен миролюбиво. Только что перечитал мою тетрадь, и за разговором с самим собой незаметно прошли утренние часы... Правда, эти страницы вовсе не предназначены для чтения, я писал их, чтобы прийти в себя и создать опору для памяти. Это вехи моего прошлого, но иногда вместо вех стоят могильные кресты, надгробные памятники с медальонами, на крестах лежат камушки, кругом зеленеют кусты, и все это помогает мне отыскать тропинку в Елисейских полях души. Это мой путеводитель; и если некоторые места могли бы оказаться полезными для других, если даже я что-нибудь опубликую, то как нечто целое эти тысячи страниц представляют ценность лишь для меня одного, да еще, пожалуй, для тех, кто когда-нибудь после меня вникнет, может быть, в историю моей души, тайно жившей вдали от суеты и славы... Правда — вот единственная муза этих страниц, единое оправдание, единая цель» (16 декабря 1847 г.).

«Пол и все, что с ним связано, — моя Немезида, моя казнь с детства. То, что я так ужасно робок, стесняюсь женщин, мои дикие желания, пыл воображения, чтение дурных романов в годы отрочества и, наконец, это вечное несоответст-

вие между жизнью в мечтах и реальной жизнью, моя гибельная склонность отвергать естественные привычки и чувства моих сверстников... Все это происходит от врожденного стыда, оттого, что я идеализую запретный плод, короче говоря, от ложного представления о сексуальности... Думаю, что это одна из ран нашего поколения. Вся физическая жизнь женщины вертится вокруг этого пункта; да и жизнь мужчины тоже, хоть и не столь очевидно; что тут удивительного? Но тот, кто не в состоянии ни производить, ни воспроизводить, тот не живет» (25 февраля 1861 г.):

«Женитьба, которая отвлекла бы тебя от твоего призвания, от твоей задачи, помешала бы тебе постоянно взглядываться в себя, короче говоря, не улучшила бы тебя,— такая женитьба дело скверное. Брак, что видится тебе как цепь, как рабство, брак, который душит тебя, ничего не стоит...» (7 апреля 1850 г.).

«Так скользит моя жизнь все дальше, словно кораблик, волны качают его вправо и влево, вверх-вниз, соленые брызги окатывают его, и пена стекает с бортов, он несется к берегу, и встречающая волна снова относит его прочь. Такова по крайней мере жизнь сердца и страстей, та жизнь, которую осуждают Спиноза и стоики; совсем по-другому выглядит жизнь безмятежно-созерцательная, неизменная, как свет звезд... по-другому проходит и жизнь совести, где один Бог говорит и всякая личная воля смолкает перед откровением его воли. Я блуждаю между тремя видами существования, и эти шатания лишают меня преимуществ каждого из них. Сердце кипит упреками, душа не в силах подавить воледеяния сердца, а совесть дичает и не может уловить в хаосе противоречивых желаний голос долга и Божьей воли... Я боюсь субъективной жизни. Всякое предприятие, всякий акт волеизъявления, всякое обещание и отказ от обещания пугают меня; я шарахаюсь прочь от любой деятельности и чувствую себя вольготно лишь в безличном, незаинтересованном, объективном мире мысли. Почему? Из робости. Откуда же эта робость?» (27 июля 1855 г.).

В предисловии к вышедшему в 1894 г. первому (и, кажется, последнему) русско-му переводу избранных отрывков из *Journal intime* Амьеля, выполненному дочерью Льва Толстого Марией Львовной, Толстой писал об авторе Дневника, что вся его жизнь была охотой за Богом; следить за этими поисками тем более поучительно, что они никогда не кончаются. С этим суждением можно согласиться, можно почувствовать и его недостаточность. Очевидно, что Дневник Амьеля есть прежде всего свидетельство отчаянной погони за самим собой, неутолимого любопытства к собственной личности, вечно неудовлетворенной страсти познать себя. То, что эта страсть захватывает читателя, — верный признак литературной удачи.

В ряду писателей-диаристов, тех, для кого Дневник был частью литературы и понежному оттеснял литературу, Амьель помещается на крайнем фланге. От его «литературы» вообще ничего не осталось. В записях он без конца упрекает себя в безволии; Дневник демонстрирует железную волю к самоосуществлению на бумаге. Корит себя за неспособность что-либо делать; Дневник — его деяние. Писатель без произведений, сказали мы. Но Дневник — это и есть его единственное Произведение. Бесмертный труд, в который он вложил весь свой оказавшийся столь недюжинным — к удивлению ничего не подозревавших современников — литературный дар. Амьель стал классиком дневниковой прозы, титул не менее почетный, чем звание классика художественной прозы. И о нем можно сказать, что он вел Дневник не для того, чтобы увековечить события своей жизни, но жил для того, чтобы писать Дневник.

Павел БАСИНСКИЙ

Выйти из круга

Те, кто находился вечером 11 декабря прошлого года в Театре на Таганке, где впервые была представлена театральная версия романа Солженицына «В круге первом» Юрия Любимова, могли не только по достоинству оценить отличие премьеры от просто спектакля, а также юбилея известного человека от его обычного дня рождения, но и почувствовать разницу между юбилеями Солженицына и кого бы то ни стало еще.

80-летие Солженицына начали отмечать гораздо раньше пятницы той недели, на которую пришелся, собственно, день рождения писателя. Газеты пестрели его портретами. Телевидение, будто внезапно проснувшись, посвятило ему два фильма — сокуровский на ОРТ и парфеновский на НТВ (четыре серии). Но безусловного апофеоза чествование достигло на Таганке. Репортеров и телевизионщиков было столько, что простым зрителям в фойе места уже не нашлось, они вынужденно жались по стенам. Впрочем, простых зрителей в тот день почти не наблюдалось — разве что за стенами театра и в поисках лишнего билета. Небольшое здание Таганки лопилось от всевозможных звезд и политических авторитетов, имена которых, как говорится в хорошем фильме, «слишком известны, чтобы их называть». Но и звезд едва не пошибали с ног наши отечественные папарацци, когда в театре появился сам юбиляр.

Временами возникало странное чувство, что Солженицын именно в тот день и вернулся в Россию после двадцатилетнего изгнания. Не было ни его путешествия по стране, ни Ярославского вокзала, ни откровенного хамства депутатов, встретивших его в Думе зевочками и ухмылочками, ни конфликта с Ельциным, ни отлучения от ТВ. Не было ни первой, ни второй книги о том, как можно было бы обустроить Россию и как ее тем не менее не обустроили, но развалили.

Такие искренние восторг и изумление были на лицах многих его здесь встречавших.

Законы театра сработали мгновенно, спектакль начался, еще не начавшись. Солженицын вдруг оказался в центре всеобщей любви. Его любит Евгений Примаков, приславший поздравление, из которого следует, что он читал Солженицына всего-всего, даже небольшие и в общем-то случайные заметки о Чехове в «Новом мире». Его обожает Леонид Парфенов, снявший о Солженицыне весьма стильный, но, на мой вкус, бессердечный фильм (не менее стильно он снимал и про Брежнева). Русская Патриархия в лице митрополита Антония вручила Солженицыну свой орден. Орденом (Андрея Первозванного) наградил его и Президент.

С последним вышла осечка. Солженицын от президентского ордена отказался, объяснив это тем, что «не может принять награду от верховной власти, доведшей Россию до ее нынешнего гибельного состояния», когда бастуют и голодают шахтеры и учителя. Скандал вышел по вине или, вернее сказать, по бесчувственной глухоте власти: о своем нежелании принять какую-либо награду от нее Солженицын предупредил заранее.

Это — еще не ад, говорит герой «Круга первого». Это — почти рай. Это такое место, куда Данте поместил великих языческих мудрецов (Платона, Сократа), сочинив для них специальное место в Аду. Чтоб, не раздражая церковников, одновременно выразить уважение к мудрецам.

Солженицын всегда был в круге особого внимания, особой любви и особой ненависти друзей и врагов, поклонников и любопытствующих. С того момента, как «особисты» высветили его в Восточной Пруссии, превратив вчерашнего капитана артиллерии в зека, это стало (после главного — взятого на себя долга перед жертвами ГУЛАГа), центральной темой его судьбы. Юбилей Солженицына не похож на

другие юбилеи. Всякий, кто соприкасался с этим событием, поневоле начинал играть какую-то роль. Это происходило не потому, что событие было заранее срежиссировано, — общественные события такого масштаба нельзя идеально срежиссировать. Нет, это было потому, что сам театр происходит от жизни, в которой бездна всего театрального. Иван Денисович в лагере исполнял свою роль, чтоб выжить, но и Цезарь свою — чтоб остаться Цезарем. Абакумов разыгрывал перед Сталиным свою роль. Но и отец народов не мог ни на минуту забыть о своей.

Сам по себе театр жизни не плох и не хорош. Он естествен, как и сама жизнь. Но важно различать жизнь и театр. Плох не тот, кто играет, но кто играет не свою роль. Кто режиссирует не свою судьбу, но чужие судьбы. Кто согласился играть в дурно поставленном спектакле, зная о том, что это спектакль и что он дурно поставлен.

Почему-то эти отвлеченные мысли приходили во время просмотра любимовской премьеры. О том, насколько способен каждый человек срежиссировать свою жизнь и сыграть свою роль даже и в чужой пьесе, — не важно: роль ли это «маленького человека», Сталина или Наполеона. Юрий Любимов все же первоклассный режиссер! — говорю это тем более искренно, что никогда не был поклонником Театра на Таганке. Он сумел сделать из романа не просто пьесу, но — *свой театр*, расположив актеров и зрителей так, что исторический — по времени — роман стал современным театральным действием...

Юбилей Солженицына вписался в него с неожиданной органичностью. Вот Нержин разрывает круг, выходит за его пределы вопреки воле главрежа Сталина (играет сам Любимов и, надо сказать, отменно играет!). Но уже через несколько минут он вновь на сцене — в силе и славе — в облике... Солженицына. Он произносит слова о Руси ушедшей, которой он в своем творчестве дал заговорить, не позволив ей остаться *лагерной пылью*. Благодарит актеров, садится в кресло. На сцену выходят политики, деятели культуры. Поздравления, поздравления... Слова, слова... Актеры в зековских одеждах наблюдают за ними, о чем-то переговариваются.

Солженицын не играет. Или все же чуть-чуть играет, ровно настолько, чтобы выглядеть самим собой даже и в театре. Мизансцена такова, что он и актеры следят за поздравляющими со стороны. Вот Лужков. Он очень неплохо играет Лужкова. Министр культуры — министра культуры.

Любимов высветил прозу Солженицына с неожиданной стороны. Она театральна. Думаешь как блистательно можно было бы поставить его «Теленка», какая бездна возможностей для актеров! Какой подлинно драматический конфликт: Солженицын и Твардовский. Как замечательно можно разыграть Хрущева. Но на этот спектакль — вряд ли отважится.

...Возле театрального подъезда милиционер лихо крутил палочкой, прогоняя случайные авто, чтобы позволить выбраться на проезжую часть «Ауди» какого-то депутата. Милиционер был при исполнении... Депутат — тоже...

Вертелось сумасшедшее Садовое кольцо. Вертелась, несмотря на столь поздний час, сумасшедшая московская жизнь. Но: «Это — еще не ад. Это — почти рай».

Чтобы выйти из круга, кому-то надо стать Солженицыным, пройдя все круги ада и почти рая. Кому-то — просто посадить дерево или родить ребенка. В любом случае — надо остаться самим собой. Вот это самое трудное.



К сведению авторов

К сожалению, редакция не имеет возможности рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Леонид ЛИХОДЕЕВ. СЕМЕЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, ИЛИ ЖИЗНЬ ОТ КОНЦА ДО НАЧАЛА. ЯБЛОНЬ МЕЖДУ ЛЕСНЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ. М., «Урания», 1998. Тир. 2000 экз.

Странно видеть известного фельетониста в роли сочинителя романов. Это можно было бы назвать «булгаковским синдромом», тем более роман явно не мог быть опубликован при жизни писателя и выходит посмертно. Что заставляет автора с определенной репутацией менять жанр: глубокая разочарованность (ведь фельетон рассчитан на немедленное прочтение и немедленное же реагирование, исправление упомянутых в нем фактов и обстоятельство) или надежда, что роман в трех огромных книгах сильнее воздействует на ум и душу читателя, чем коротенький фельетон, воздействует хотя бы при помощи магии «исторической памяти», ведь любой роман в русской литературе — это пособие по пребыванию в мире, старательно разработанный самоучитель. Но, кажется, человеческая природа не изменилась — пять минут полистав умную и нужную книгу, читатель со вздохом откладывает ее на потом (уговаривая себя, что с такой книгой следует знакомиться обстоятельно) и берет в руки газету с очередным фельетоном.

Иван ЕЛАГИН. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВУХ ТОМАХ. М., «Согласие», 1998. Тир. 5000 экз.

Будто в землю глядел:

Из могилы вырывают,
реабилитируют,

особенно если учитывать, что две предыдущие строки менее хлесткие, а горше их не придумаешь:

Он теперь, как прочие,
Ждет, занявши очередь...

Не толкаясь и не вопрошая «кто крайний?», дождался, но для мертвого поэта это не меняет уже ничего, а для умирающей нашей, хоть и воссоединившейся, поэзии появление Ивана Елагина опасно, разрушительно. Он не от нашего мира. Изживая драму насильственного разрушения семьи и отрыва от родины, он перевел ее в принцип художества. С детства оказавшийся в литературной среде, лично знакомый с лучшими российскими писателями, он ничего у них не заимствовал. Напротив, отталкивался, и названия его сборников (которые он сам обыгрывал в одном из стихотворений) указывают и на отталкивание, и на возникшую вследствие этого траекторию движения: «По дороге оттуда», «Косой полет», «Отсветы ночные», а далее, преодолев тяготение, — «Под созвездием Топора», «Тяжелые звезды», «В зале Вселенной». Елагинская поэзия способна уничтожить, пожрать индивидуальность даже очень сильного стихотворца, пусть Елагин вовсе не гений, а маргинал. «Дракон на крыше» — это он сам, вдруг взмывающий и потом парящий между мирами.

ОТ А ДО Я. 300 лет американского афоризма М., «ТЕРРА — Книжный клуб», 1998. Тираж не указан.

Уже прочитав перевод афоризма Амброза Бирса: одно-единственное слово «Черное», набранное обычным шрифтом, помещенное под выделенное жирным заглавие «Белое», понимаешь принцип построения этой книги. Переводчик во что бы то ни стало хотел организовать разрозненный материал (пусть тематически или по алфавиту), при том разрушая авторский замысел, даже композицию чужих сборников, откуда взяты афоризмы. У Бирса не так, в его «Дьявольском словаре» тот же афоризм выглядит совершенно иначе: «Белое, прил., см. Черное». Но тут, верно, вина не переводчика, а сказалось общеродовое свойство афористического жанра. Вырывают из целого часть, например, из романа хлесткую фразу. Так из забора выламывают доску, чтобы ударить побольнее, а доска часто держится столь сильно, что весь забор разносят в щепки.

Георгий АДАМОВИЧ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ БЕСЕДЫ. Книги первая и вторая. СПб., «Алетейя», 1998. Тир. 2000 экз.

Жанр, придуманный Адамовичем, с которым он регулярно выступал в парижском журнале «Звено» на протяжении нескольких лет, столь хорош, что невольно хочется ему подражать. Но его критические миниатюры, по большинству состоящие из двух частей, не связанных между собой (одна посвящена писательской неудаче, другая — удаче другого автора), вряд ли возможно взять за образец для подражания. Откуда у нас столько писателей — хоть хороших, хоть плохих? Писатель (по затаенной этимологии) — тот, кто пишет

новые книги, а не тот, кто переиздается. В наших условиях писателями (уже не по этимологии, а по функциональному соответствию) следует назвать критиков: нет-нет да и сочинят что-нибудь (а издать отдельно даже лучшие статьи и заметки, о том и речи быть не может).

Георгий ВЛАДИМОВ. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ. М., «NFQ/2Print», 1998. Тир. 10 000 экз.

Внезапное огорчение, впрочем, тут же искупленное ожидаемым удовольствием. Лучшему владимовскому роману «Три минуты молчания» предпослан чрезвычайно безвкусный эпиграф, который то ли не замечался прежде, то ли он отсутствовал в советском издании, прочитанном от корки до корки несколько раз. Но публицистика Г. Владимова, будь это портрет Эдуарда Лимонова, сделанный одним росчерком пера, или обстоятельные возращения В. Богомолу, превосходна. Насколько было бы хорошо, если б дидактика, повредившая даже «Верному Руслану», сделавшая из замечательной прозы некую умозрительную аллегорию, перекочевала в публицистические статьи, здесь ей место, здесь она, смешанная с иронией, создает особую взрывчатую смесь, наподобие пороха.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. XX ВЕК. Т. 1, 2. Спб., «Университетская книга»; «Алтейя». Тир. 2000 экз.

При ближайшем разглядывании двухтомник оказался расширенным переизданием словаря «Культурология. XX век», выпущенного в прошлом году и благополучно пылящегося в магазинах. Скука (вкуче с академическим занудством) не убывает с количеством томов, а прибавляется. Причины тут разные. Желаящих разобраться отсылаю к словарной статье «Культурный пессимизм», где даны сразу три варианта толкования этого понятия (статья «Конъюнктура» в двухтомнике, отпечатанном большим форматом, отсутствует).

АНГЛИЙСКАЯ АБСУРДНАЯ ПОЭЗИЯ. Эдвард ЛИР. Хилэр БЭЛЛОК. Сэр Уильям ГИЛБЕРТ. Роальд ДАЛЬ. М., «Carte Blanche», 1998. Тир. 3000 экз.

От издания к изданию добавляя все новых авторов (сперва это был только Эдвард Лир с «Книгой бессмыслиц»), переводчик упорно именует поэзию нонсенса «абсурдной поэзией». В связи с чем вспоминается стишок, правда, не английский, а местного происхождения, в определенном смысле характеризующий этакое упорство:

К зырянам Тютчев не придет,
а коль придет, так не застанет...

Смешивать абсурдизм с нонсенсом — это, и верно, отдает бессмыслицей. Всё искупают иллюстрации, великолепные рисунки, принадлежащие, по счастливой случайности, не автору переводов М. Фрейдкину, а самому Э. Лиру, Н. Бентли и Б. Т. Б. Впрочем, фрагменты кое-каких переводов совсем недурны.

Николай ЕВРЕИНОВ. В ШКОЛЕ ОСТРОУМИЯ. М., «Искусство», 1998. Тираж не указан.

Написанное им не собрано воедино, а потому и не переиздано, как то следует. Книгу, дошедшую сейчас до читателя, нельзя назвать и малой частью его сочинений, это лишь крупица. И даже доведенные до печатного станка страницы не есть главное. Личность автора, жившего по законам игры, остается за пределами печатного поля. Ее следует воссоздать, но каким образом воссоздаются личности подобного рода, не могущие жить без особой среды, которая тоже утеряна? Ведь он не литератор, не писатель, а лицедей.

Алексей ДУНАЕВСКИЙ, Дмитрий ГЕНЕРАЛОВ. ИСТОРИЯ КАННСКОГО ФЕСТИВАЛЯ. Винница, «Аквилон», 1998. Тираж не указан.

Римская крепость, построенная для защиты от пиратов, дала имя городу. И так повелось — Канн защищается от набегов посторонних: сколько бы здесь ни присутствовало людей во время очередного фестиваля, все они свои. О самом фестивале в подробностях можно узнать из этой очень легко написанной и по-своему любопытной книги. Примечателен тот факт, что она издана не в Москве и не в Ленинграде. Примечателен для Винницы, а не для упомянутых выше столичных городов. Анекдот, пришедший к случаю, превосходно описывает сложившуюся ситуацию. «Мадам, откуда такая кофточка?» — «Из Парижа». — «А далеко ли это от Жмеринки?» — «Не знаю, сколько-то там тысяч километров». — «Поразительно, такая провинция и такие вещи!» Москва и Ленинград все больше превращаются в культурную Жмеринку, а местами, где умеют думать и сочинять, становятся другие города.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Читайте в следующем номере

РАННИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

(к 100-летию со дня рождения)

« — Нам нужен писатель — умный и душевный паренё. Я требую пользы и доброты от чтения, а мне дают пудру и пыль: прочтешь и ничего не упомнишь, как ветром сдуло! А почему же я Пушкина и Гоголя помню?

Короче говоря, если писатели не хотят писать, чтобы нам интересно и увлекательно было, чтобы я, когда хочу выругать жену, вспомнил книгу — и не выругал, если граждане писатели этого дела не хотят, то тогда мы сами будем писать, тогда читатель станет писателем, а теперешним писателям мы объявим бойкот: пусть тогда читают читательские сочинения!»

*Премий журнала «Октябрь»
за 1998 год
удостоены:*

Борис Хазанов

за роман

«Далекое зрелище лесов»

«Октябрь» № 8

Юнна Мориц

за книгу

«Рассказы о чудесном»

и книгу стихов

«Дивный какой я зверь...»

«Октябрь» № 5 и № 10

Леонид Филатов

за народную комедию на темы Аристофана

«Лизистрата»

«Октябрь» № 9